

*В. Шульгин.*

**1920 год. Очерки.**



Содержание

Предисловие

Вместо предисловия

Новогодняя ночь

Ангел смерти

«Отрядомания»

Исход

Стесселиада

Звезды

У Котовского

По шпалам

Resurgens

Страхи

Курьер

«Котик»

Письмо от Главнокомандующего

У моря

«Speranza»

Маяк

«Лукулл»

«Лукулл», второй вариант

Севастополь

Тендеровский рецидив

Константинополь

Рассказ поручика Л.

Взгляд и нечто

Новогодняя ночь

## Предисловие

Воспоминания Шульгина «1920 год» во многом отличаются от его воспоминаний «Дни». Прежде всего, в «Днях» преобладали крупные политические моменты. Сам Шульгин в дореволюционной России играл, если не крупную, то, во всяком случае, шумную политическую роль. Революционные бури сбросили Шульгина с его привычной трибуны в Государственной Думе, вырвали у него из рук и уничтожили редакцию «Киевлянина». Сами социальные группировки, вступившие в смертельную схватку в годы гражданской войны, далеко сбросили от себя крайне правого националиста и монархиста Шульгина. В годы гражданской войны сталкивались и боролись, с одной стороны, защищавшие советскую власть, строящие новый мир пролетариат и крестьянство, с другой стороны — стремящиеся к реставрации дореволюционных порядков — буржуазия и дворянство. Если в социальной своей программе буржуазия и дворянство стремились к полной реставрации дореволюционных отношений, то в политической области вопрос о монархии и самодержавии не являлся боевым и насущным в тот момент ни для одного из руководителей контрреволюционного лагеря.

Новые организации, новые группировки, создавшиеся и руководившие вооруженной борьбой буржуазии и дворянства в Советской России, оставили в стороне Шульгина, предоставляя ему роль публициста и барда белого движения, но не предоставляя ему роли ни руководителя ни организатора. Это новое положение Шульгина в период гражданской войны наложило печать на содержание его [4] воспоминаний. От активной роли Шульгин не отказался. В годы гражданской войны, не играя руководящей роли, он все же играл чрезвычайно активную роль, принимая посильное участие и пером и оружием в борьбе белогвардейцев всех рангов и калибров с Советской Россией. Эта активность дала Шульгину большой круг наблюдений, массу фактов и впечатлений.

Его воспоминания «1920 год» как раз и интересны тем, что они характеризуют быт белогвардейских организаций. Шульгин в них описывает быт занятой белыми Одессы перед ее занятием Красной армией; подробно описывает он быт белогвардейцев в советском подполье, свою жизнь в той же самой Одессе, описывает переход из Одессы в Крым, к Врангелю и обратно и т. д. Словом, «1920 год» Шульгина в центральной своей части основной массой своих показаний захватывает, затрагивает и описывает жизнь активного рядового белогвардейского стана. Он описывает жизнь и в момент боя, непосредственно после боя и в момент работы в подполье. Этот колоссальный размах бытовых наблюдений приводил Шульгина к определенным построениям и выводам. «1920 год» написан Шульгиным после совершения событий; на нем отразились, в нем сформулированы не только те настроения, которые переживались Шульгиным в момент совершения событий, но в «1920 год», несомненно, отразились и те настроения, которые владели Шульгиным тогда, когда после краха белого движения, после потери сына он подытожил результаты того движения, певцом и бардом которого он состоял долгие годы в дореволюционной России.

В деятельности белых в 1920 году Шульгин увидел на практике тот национализм, тот монархизм, всю ту третьейиюньскую Россию, которой он с огромным энтузиазмом и пафосом служил все дореволюционные годы. В своих воспоминаниях «1920 год» Шульгин описывает не только быт белых, но он дает и характеристику тех «красных», с которыми ему приходилось сталкиваться, дает характеристику советского режима, при котором ему приходилось жить в подполье. Очень небольшое количество мест в записках Шульгина содержит не только бытовой материал, но проливает свет и на политические комбинации и [5] столкновения этого периода.

Описывая белых, сочувствуя белым и белой идее, Шульгин все же приходил к печальным для белого движения выводам. В описании белого движения в книге Шульгина можно выделить два крупных момента: это характеристика действий белых и отступление их из Одессы и те столкновения с белыми организациями, те впечатления от них, которые Шульгин получил во время поездок своих из Одессы в Крым и обратно, и от тех и от других фактов впечатления и выводы Шульгина, в сущности говоря, одинаковы. Они совершенно безрадостны, они знаменуют собою полный крах, полное падение и уничтожение белого движения.

Приводя массу фактов и описания того, как действуют, в какой обстановке живут участники белого движения, Шульгин констатирует полный организационный распад белого движения и полный его идеологический крах. По свидетельству Шульгина, белое движение организационно все время расслаивается и распадается, в нем нет связи, нет руководящего центра, нет охватывающей, объединяющей людские фаланги определенной идеологии, определенной идеи, определенной формы существования того класса, из которого рекрутируются кадры белого движения. Идеологически пустое, вырождающееся, объединенное только лишь ненавистью по отношению к большевикам, белое движение не имеет, по свидетельству Шульгина, своей собственной программы. Участники его идеологически не связаны одной целью, одними стремлениями. Все их помыслы сводятся лишь к реставрации потерянного положения, а это в процессе борьбы обрекает белых на борьбу не столько с большевиками, сколько со всем окружающим морем рабоче-крестьянского населения. Идеиная пустота, отсутствие программы, борьба со всем окружающим миром за восстановление потерянных позиций, отсутствие связи и отсутствие организационной формы существования приводят белое движение в том его виде, как его описывает Шульгин, к вскрытию и проявлению чисто зоологических зверских требований, выражающих классовые требования потерявших свои места дворянства и буржуазии. Крестьянство и рабочие против них; белое движение окружено врагами [6] со всех сторон. Отсюда не попытка привлечь к себе, не попытка расширить свои социальные позиции, а лишь попытка удержаться, удержаться среди враждебного многомиллионного моря. Это приводит к организационному распаду, это приводит к сепаратным воздействиям на окружающий мир в виде грабежей, самосудов, убийств из-за угла отдельными кучками и т. д. и т. п. Отсутствие единства, отсутствие внутренней связности не дает белому движению создать даже единую форму военных выступлений, и Шульгин обрисовывает великолепно, чрезвычайно сочными штрихами так называемую отрядоманию, в которой выступает и преосвященный митрополит Питирим, Союз Возрождения, и немцы-колонисты.

Все эти организации одинаково стремятся к борьбе с большевиками, и все они одинаково в тот момент, когда Красная армия выступает на сцену, бесследно исчезают. Характерной чертой этих организаций является именно их множество, их огромное количество, свидетельствующее прежде всего о распаде движения организационно и об отсутствии идеологической связности, идеологической цельности движения. Одна мысль о восстановлении потерянного привилегированного положения, мысль, которая владеет потерявшими свои имения дворянами, гвардейскими офицерам и дамами «смольного» воспитания, не может связать движение, не может привести к движению миллионные массы крестьян и рабочих. Эти черты вырождения белого движения Шульгин отмечает всюду, где он с ним сталкивается. Вырождалась и разваливалась белая Одесса в конце 1919 г. Те же черты вырождения видит Шульгин и в отрядах Врангеля, и в морях врангельского флота, и в самом Крыму. Но, если в своих воспоминаниях Шульгин отмечает признаки вырождения белого движения то, во всяком случае, он отмечает это без особой охоты: скорее даже против воли. Он пытается в то же само время отметить и

оттенить личные подвиги: доблесть, стойкость, мужество и преданность делу отдельных участников белогвардейского движения.

Шульгин всей душой сочувствует этому движению. Ведь он сам один из создателей отряда; в белом движении принимает участие вся [7] его семья, но все это лишь подчеркивает общий фон белого движения и лишь резче выявляет и выясняет его классовую сущность. На фоне общего развала, организационного распада, идейного краха, грабежей и насилия, немногие, сохранившие человеческий облик, представители белого движения являются лишь лишним доказательством того, что социальная сущность белого движения как раз и заключается не в них, а в том общем фоне организационного распада и идеологического краха, которыми характеризуется классовый лик российской буржуазии и дворянства. Но, если Шульгин не находит при всем своем желании ничего светлого, ничего цельного в белогвардейском движении, то, сам того не желая, отмечает более высокие черты в том движении, с которым он с огромной энергией и настойчивостью ведет борьбу.

Красным Шульгин не сочувствует, красным Шульгин враждебен. Изображая быт красной Одессы, Одессы при советской власти, Шульгин старается дать ряд фактов, желая подчеркнуть глупость, ненужность, ходульность советского быта и советских выступлений. Он их не понимает, но в то же самое время двумя-тремя случайно брошенными черточками отмечает высокую идейную спайку, высокую идейность коммунистов. Изображая Красную армию, Шульгин отмечает, против своей воли, ее организационную связанность, ее идейную спайку, ее высокую дисциплину, авторитет в глазах красноармейских масс ее руководителей и начальников. Изображая дивизию Котовского, партизанскую дивизию, Шульгин отмечает, как относятся, как уважают красноармейцы Котовского, как строго проводятся в жизнь его приказы, как дисциплинирована сама Красная армия. Это изображение быта и нравов белых, изображение всего облика белых, какое дает им Шульгин, и изображение случайно забредших в воспоминания Шульгина отдельных черточек, рисующих быт красных, на которых сам Шульгин не остановился, рисуют два противоположных друг другу мира. два совершенно разных социальных уклада. Они рисуют, с одной стороны, мир падающий, разлагающийся, мир, не имеющий никакой программы, мир, ничем не связанный, [8] мир, дышащий лишь злобой и ненавистью к огромному большинству трудящихся, и, с другой стороны, идущий ему на смену новый мир, мир организационно цельный, внутренне связанный, мир, полный выдержки, настойчивости и упорства.

Большую часть своих воспоминаний Шульгин отводит описанию своей работы в белом подполье в Одессе. Что, в сущности, делал Шульгин здесь, он не говорит, но он подробно описывает, как он жил, как он бегал от агентов Ч. К., как избегал арестов и обысков. Это описание интересно тем, что, с одной стороны, оно рисует неизвестную сейчас область нелегального существования белогвардейских организаций в Советском Союзе; с другой стороны, оно интересно тем, что обрисовывает, какие социальные слои поддерживают эти организации, кто им покровительствует, кто дает им возможность укрываться и существовать. В белом подполье, поддерживающем Шульгина и весьма близко поддерживающем, мы видим и представительницу партии эс-эров, и советских служащих, и представителей разных разрядов бывшей буржуазии. В социальном отношении — это представители деклассированных групп буржуазии, представители той социальной среды, которые после Октябрьского переворота потеряли весь фундамент своего существования. Описание белого подполья интересно тем, что дает возможность судить о приемах борьбы белогвардейцев, об их материальных силах и средствах.

Последней частью «1920 года», имеющей не столько бытовой, сколько уже политический интерес, являются описания столкновений белогвардейских отрядов, в которых принимал участие Шульгин, с Румынией и описание Крыма в период Врангеля. Столкновения белогвардейских отрядов с Румынией, не вооруженные столкновения, а униженные просьбы белогвардейцев пустить их на румынскую территорию интересны тем, что обрисовывают политику Румынии в период 1920 года. Захватив в свои руки русскую Бессарабию, румыны старательно изолируют ее даже от русской белогвардейщины, русского дворянства и буржуазии. В этом отношении они ведут ту же самую [9] зоологическую политику национализма, которую с необыкновенным азартом и пафосом проповедовал Шульгин и на страницах «Киевлянина» и с трибуны Государственной Думы. По иронии истории, Шульгину пришлось самому на себе испытать практическое осуществление его идеологических поучений.

Воспоминания Шульгина о Крыме составляют интереснейшие страницы «1920 года», имеющие не только бытовой интерес. Хотя о Крыме времен Врангеля написано не мало, хотя Врангелю, как это говорит в одном месте своих воспоминаний сам Шульгин, предстояло реставрировать позицию крымского татарского хана по отношению к России, все же, столкнувшись с врангелиадой на практике, беседуя с Врангелем и с его министрами, из которых многие были когда-то близкими соратниками Шульгина на политическом поприще, он приходит к тяжелым и невеселым мыслям о Врангеле. Эти мысли его настолько тяжелы и невеселы, что Шульгин не остается в Крыму, а совершает новое путешествие через красный фронт в Одессу, чем не только обогащает свои воспоминания, занесенные на страницы книги, но и подчеркивает полный крах белого движения и полный крах последней надежды белогвардейцев — врангелиады.

В своих воспоминаниях Шульгин остается тем, чем он был на самом деле, — грубым юдофобом, не видящим ничего радостного, светлого, нового в Советской России.

«1920 год» Шульгина дает, главным образом, бытовой материал, но этот бытовой материал имеет огромный интерес и имеет огромное политическое значение, поскольку он вышел из-под пера Шульгина — редактора «Киевлянина». Монархист до мозга костей, Шульгин сам своими руками изобразил крах белогвардейского движения. Почти художественно Шульгин написал в своей книге «1920 год» авантюрную повесть жизни и деятельности белого движения. Но, при всем своем пристрастии к нему, при всей своей связи с ним, старательно подчеркивая свою враждебность Советской России, Шульгин все же не смог написать идеологического оправдания белого движения. Он не смог своим пером привлечь к белому [10] движению сочувствия. Он не нашел в белогвардейском стане ни новой объединяющей массы идеи ни широкой массовой организации. Белое движение вызвало потоки крови, оно стоило рабочему классу и крестьянству миллионы человеческих жизней, но это белое движение лишь резче подчеркнуло необходимость силы, стойкости и организованности рабочего класса и крестьянства.

С. Пионтковский. [11]

## **Вместо предисловия**

Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует поддать о том, что о Русской революции будет написано столько же лжи, сколько о Французской. Из этой лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда. Для нас это ясно. Мы, современники Русской революции

(начавшейся в 1917 году), прекрасно знаем, какую роль в этом несчастье сыграло лживое изображение революции Французской. Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами.

Разумеется, время для изображения пашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, с журавлиной высоты, еще не наступило. Невозможно, с другой стороны, пока и интимное изображение нашей жизни, т. е. как мы любили, ненавидели, страдали и радовались — ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут. Или поймут вкривь и вкось, как это они всегда и делают...

Но можно и должно записывать то, что каждый из нас видел воочию. И можно рассказать свои переживания постольку, поскольку индивидуальность автора терпит публичное раздевание.

Настоящий очерк и представляет опыт записать в этих пределах «кусочки жизни», пробежавшие пород моими глазами. Я выбрал 1920 год, как ближайший... Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду к временам, более отдаленным. [13]

## Новогодняя ночь

Вечером 31 декабря 1919 года я был у А. М. Драгомирова. Мы сидели с ним вдвоем в его вагоне, в его поезде. Поезд стоял в порту, в Одессе. Днем из окон видно было море. Дальше поезду некуда было идти.

Он сказал:

— Я все-таки убежден, что сопротивление начнется... Сейчас есть еще кое-что... Но когда останется только смерть в бою или смерть в воде — будет вспышка энергии... Сейчас вся масса хочет одного — уходить... Но куда некуда будет уходить? Неужели же не проснется решимость? Вы как думаете?

— Я все надеюсь, что еще здесь начнется... Потому что и здесь ведь уже некуда уходить. Ведь вся эта масса, что сюда отступает, она же не сядет на пароходы и в Крым не попадет. Следовательно, и ей придется выбирать между боем и морем. Беда только в том, что здесь совсем не то делается, что нужно.

— Вы думали, когда мы вышли из Киева, что будем сидеть с вами в порту в Одессе?

— Нет, я почему-то думал, что мы задержимся около Казатина... Но я понял положение, когда мы получили в Якутском полку приказ — это было, кажется, где-то около Фастова... Я тогда же развил своим молодым друзьям называемую «крымскую теорию»...

— Это что?

— Крымская теория — это реставрация до-екатерининских времен... Сидел же хан столетия в Крыму. Благодаря Перекопу, взять его нельзя было, а жил он [14] набегами... Он добывал себе набегами «ясырь», то есть живой товар — пленных, а мы, засев в Крыму, будем делать набеги за хлебом. Впрочем, и «ясырь» будем брать... для «пополнений»... Вы уезжаете в Севастополь?

— Я каждый день «уезжаю», но пока что еще не уехал, потому что пароход все задерживается. Здесь я ничем не могу помочь. Скорее я только мешаю... Я легко могу прослыть центром каких-нибудь интриг... чего я вовсе не желаю. «Главначальствующий областью» без «области» — фигура неудобная... Ну, а скажите, очень ругают?

— Вас? Ругают, конечно... При этих обстоятельствах это неизбежно. Одни бранят вас за то, что «допустили» погромы, а другие за то, что вы не позволили «бить жидов»... Конечно, вы взяли миллионы за последнее...

— Неужели и это говорят?

— Говорят... Вас это удивляет? А я привык... Меня столько раз «покупали» — жида, немцы, масоны, англичане, — что это меня не волнует... Но больше всего, конечно, зла гвардия...

— За что? За мой приказ? Вам он известен?

— Да... Вы, покидая «область» и сдавая командование, благодарите войска и затем кончаете, приблизительно, так: «не объявляю благодарности»... первое — волчанцам, за всякие безобразия, а на втором месте стоит в приказе гвардия, которая «покрыла позором свои славные знамена грабежами и насилиями над мирным населением». Что-то в этом роде...

А. М. Драгомиров человек очень добрый. Но у него бывают припадки гнева. Так было и сейчас.

— Я об этом не могу спокойно говорить... Я с очень близкими людьми перессорился из-за этого. Я пробовал собрать командиров полков, уговаривал, взывал к их совести. Но я чувствую, что не понимаю... А я не могу с этим помириться. Я к этой гражданской войне никак не могу приладиться...

— Да, я помню. Вы, может быть, забыли, но я помню... Вы мне говорили больше года тому назад, еще в Екатеринодаре, что вы тяготитесь «гражданской» вашей [15] деятельностью, что вы хотели бы делать свое прямое дело, то есть воевать... но что условия войны таковы... Словом, вы сказали тогда, в октябре 1918 года: «Мне иногда у кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную»...

— Половину не половину... Но я и сейчас так думаю. Но как за это взяться?... Я отдавал самые строгие приказы... Но ничего не помогает... потому что покрывают друг друга... Какие-нибудь особые суды завести? И это пробовал, по все это не то...

— Мое мнение такое. Вслед за войсками должны двигаться отряды, скажем, «особого назначения»... Тысяча человек на уезд отборных людей или, по крайней мере, в «отборных руках». Они должны занимать уезд; начальник отряда становится начальником уезда... При нем военно-полевой суд... Но трагедия в том, откуда набрать этих «отборных»....

— В том-то и дело... Нет, я часто думаю, что без какого-то внутреннего большого процесса все равно ничего не будет.

Хоть бы орден какой-нибудь народился... Какое-нибудь рыцарское сообщество, которое бы возродило понятие о чести, долге — ну, словом, основные вещи, ну, что хоть

грабить — стыдно. Или религиозное это должно быть движение... Словом, это должно быть массовое, большое, психологическое...

— И будет... «покаяния отверзи ми двери»... Этим мы отличаемся от Польши... Я убежден, что, если на этой равнине, что называется Восточной Европой, если устояли мы, а не поляки, то только благодаря нашей способности «каяться»... Поляки — нераскаянные... Они не могут каяться... Ведь, в сущности, говоря, у пошляков было больше шансов на гегемонию... Они раньше вышли к культуре, потому что ближе к Западу... но они нераскаянные... Мы говорили «земля наша... но порядка в ней нет, — приходите володеть и княжить нами»... А они говорили: «Polska stoi nierzadem» . . .

— Это что значит?

— Это старинная польская поговорка, которая употреблялась еще в XVI веке и значит: [16] «Польша стоит беспорядком»... То есть они не только не хотели каяться во всех своих безобразиях, в вечной своей легкомысленной «мазурке», но, так сказать, «канонизировали» свою анархию... Были отдельные голоса, которые кричали: «Братья! Что вы делаете! Губите себя»... На одно мгновение «карнавал» останавливался... но потом кто-нибудь вспоминал: ведь Polska stoi nierzadem! .. И тра-дара... та... традара... та... tempo di mazurka... И все продолжалось по-старому, пока не «промазурили» свою «королевскую республику»... А мы калялись... Набезобразим во всю «ширину русской природы» и потом каемся... «Придите володеть и княжить»... и приходят и княжат... И тогда оправляемся, укрепляемся, возвеличиваемся — пока опять не расхулиганимся... Волна... То «сарынь на кичку», то «водим под царя восточного православного»... Так и живем... И будем жить.

Принесли бутылку красного вина.

И мы, «главноначальствующий областью» — без власти и «редактор „Киевлянина» — без Киева, чокнулись...

В данную минуту мы равно были «бывшие люди»... И с одинаковым основанием могли пожелать друг другу «нового счастья», ибо «старое» изменило...

\* \* \*

Как-то случилось, что в эту новогоднюю ночь я был совершенно один... От А. М. я пришел рано, — до «нового года» было еще далеко... Я пришел к себе и никуда не пошел.

«Встречать новый год»... При этих обстоятельствах это было бы слишком печально... И я предпочел «встрече» — «проводы». Я уселся у изголовья умирающего старого года и читал ему отходную...

Где-то, на каком-то горном перевале, стоит заиндевевший придорожный столб... К этому столбу всегда пробивается умирать старый год... На столбе сидит «крук», — одинокая птица... Воет выюга, и крук каркает умирающему его дела, — добрые и злые...

Я чувствовал себя в этом роде: в роли крука. [17]

\* \* \*

Личное перемешивалось с общим в эту новогоднюю одинокую ночь.



Отчего не удалось дело Деникина? Отчего мы здесь, в Одессе? Ведь в сентябре мы были в Орле... Отчего этот страшный тысячеверстный поход, великое отступление «орлов» от Орла?..

Орлов ли?..

«Взвейтесь, соколы, орлами»... (солдатская песня).

Я вспомнил свою статью в «Киевлянине» в двухлетнюю годовщину основания Добровольческой армии... два месяца тому назад...

«Орлы, бойтесь стать коршунами. Орлы победят, но коршуны погибнут».

Увы, орлы не удержались на «орлиной» высоте. И коршунами летят они на юг, вслед за неизмеримыми оболами с добром, взятым... у «благодарного населения».

«Взвейтесь, соколы... ворами» («Единая, неделимая» в кривом зеркале действительности).

\* \* \*

Красные — грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловечны. Они жестоки. Для них нет ничего священного... Они отвергли мораль, традиции, заповеди Господни. Они презирают русский народ. Они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, грабить и убивать, но чтобы деревня кормила их. Они, чтобы жить, должны пить кровь и ненавидеть. И они истребляют «буржуев» сотнями тысяч. Ведь разве это люди? Это «буржуи»... Они убивают, они пытаются... Разве это люди? — Это звери...

\* \* \*

Значит, белые, которые ведут войну с красными, именно за то, что они красные, — совсем иные... совсем «обратные»...

Белые — честные до донкихотства. Грабеж у них несмываемый позор. Офицер, который видел, что солдат [18] грабит, и не остановил его, — конченный человек. Он лишился чести. Он больше не «белый», — он «грязный»... Белые не могут грабить.

Белые убивают только в бою. Кто приколол раненого, кто расстрелял пленного, — тот лишен чести. Он не белый, он — палач. Белые не убийцы: они воины.

Белые рыцарски вежливы с мирным населением. Кто совершил насилие над безоружным человеком, — все равно, что обидел женщину или ребенка. Он лишился чести, он больше не белый — он запачкан. Белые не апаши — они джентльмены.

Белые тверды, как алмаз, но так же чисты. Они строги, но не жестоки. Карающий меч в белых руках неумолим, как судьба, но ни единый волос не спадет с головы человека безвинно. Ни единая капля крови не прольется — лишняя... Кто хочет мстить, тот больше не белый... Он заболел «красной падучей» — его надо лечить, если можно, и «извергнуть» из своей среды, если болезнь неизбывна...

Белые имеют бога в сердце. Они обнажают голову перед святыней... И не только в своих собственных златоглавых храмах. Нет, везде, где есть бог, белый преклонит — душу, и,

если в сердце врага увидит вдруг бога, увидит святое, он поклонится святыне. Белые не могут кощунствовать: они носят бога в сердце.

Белые твердо блюдут правила порядочности и чести. Если кто поскользнулся, товарищи и друзья поддержат его. Если он упал, поднимут. Но если он желает валяться в грязи, его больше не пустят в «Белый Дом»: белые не белоручки, но они опрятны.

Белые дружественно вежливы между собой. Старшие строги и ласковы, младшие почтительны и преданы, но сгибают только голову при поклоне... (спина у белых не гнется).

Белых тошнит от рыгательного пьянства, от плеванья и от матерщины... Белые умирают, стараясь улыбнуться друзьям. Они верны себе, родине и товарищам до последнего вздоха. [19]

Белые не презирают русский народ... Ведь, если его не любить, за что же умирать и так горько страдать? Не проще ли раствориться в остальном мире? Ведь свет широк... Но белые не уходят, они льют свою кровь за Россию... Белые не интернационалисты, они — русские...

Белые не горожане и не селяне — они русские, они хотят добра и тем и другим. Они хотели бы, чтобы мирно работали молотки и перья в городах, плуги и косы в деревнях. Им же, белым, ничего не нужно. Они не горожане и не селяне, не купцы и не помещики, не чиновники и не учителя, не рабочие и не хлеборобы. Они русские, которые взялись за винтовку только для того, чтобы власть, такая же белая, как они сами, дала возможность всем мирно трудиться, прекратив ненависть.

Белые питают отвращение к ненужному пролитию крови и никого не ненавидят. Если нужно сразиться с врагом, они не осыпают его ругательствами и пеной ярости. Они рассматривают наступающего врага холодными, бесстрастными глазами... и ищут сердце... И если нужно, убивают его сразу... чтобы было легче для них и для него....

Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов. Они знают, что это невозможно, и им противна мысль об этом. Ведь они белые воины, а не красные палачи.

Белые хотят быть сильными только для того, чтобы быть добрыми...

Разве это люди?.. Эго почти что святые...

\* \* \*

«Почти что святые» и начали это белое дело... Но что из него вышло? Боже мой!

Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал знаменитое выражение:

«От благодарного населения» .. [20]

Это был хорошенький мальчик, лет семнадцати-восемнадцати. На нем был новенький полушубок. Кто-то спросил его:

— Петрик, откуда это у вас. Он ответил:

— Откуда? «От благодарного населения» — конечно.

И все засмеялись.

Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный, тонкокостный рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукою вырождения, лицо. Он говорит на трех европейских языках безупречно и потому по-русски выговаривает немножко, как метис, с примесью всевозможных акцентов. В нем была еще недавно гибко-твердая выправка хорошего аристократического воспитания...

«Была», потому что теперь ее нет, вернее, ее как будто подменили. Приятная ловкость мальчика, который, несмотря на свою молодость, знает, как себя держать, перековалась в какие-то... вызывающие, наглые манеры. Чуть намечавшиеся черты вырождения страшно усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое... Что это такое? Ах, да, — он напоминает французский кабачок... Это «апаш»... Апашизмом тронуты... этот обострившийся взгляд, обнаглевшая улыбка... А говор. Этот метисный акцент в соединении с отборнейшими русскими «в бога, в мать, в веру и Христа», — дают диковинный меланж «сиятельнейшего хулигана»...

Когда он сказал: «От благодарного населения», все рассмеялись. Кто это «все»?

Такие же, как он. Метисно-изящные люди русско-европейского изделия. «Вольноперы», как Петрик, и постарше — гвардейские офицеры, молоденькие дамы «смольного» воспитания...

Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они — «смолянки». Но почему? Потому ли, что кончили «Смольный» под руководством княгини НН, или потому, что Ленин-Ульянов, захватив «Смольный», незаметно для них самих привил им «ново-смольные» взгляды... [21]

— Грабь награбленное!

Разве не это звучит в словах этого большевизированного Рюриковича, когда он небрежно нагло роняет:

— От благодарного населения.

Они смеются. Чему?

Тому ли, что, быть может, последний отпрыск тысячелетнего русского рода прежде, чем бестрепетно умереть за русский народ, стал вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрини под рыдания Марусек и Гапок этот полушубок, он доказал насупившемуся Грицьку, что паны только потому не крали, что были богаты, а, как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам, как настоящие «зло-дни», — этому смеются? «Смешной» ли моде грабить мужиков, которые «нас ограбили», — смеются?

Нет, хуже... Они смеются над тем, что это население, ради которого семьи, давшие в свое время Пушкиных, Толстых и Столыпиных, укладывают под пулеметами всех своих сыновей и дочерей в сыпно-тифозных палатах, что это население «благодарно» им...

«Благодарно» — т. е. ненавидит...! Вот над чем смеются. Смеются над горьким крушением своего «белого» дела, над своим собственным падением, над собственной

«отвратностью», смеются — ужасным апашеским смехом, смехом «бывших» принцев, «заделавшихся» разбойниками.

Да, я многое тогда понял.

Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а, наоборот, модно, шикарно.

У нас ненавидели гвардию и всегда ей тайком подражали. Может быть, за это и ненавидели...

И потому, когда я увидел, что и «голубая кровь» пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее.

«Белое дело» погибло.

Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов». [22]

\* \* \*

Я не гвардеец... Я так же мало аристократ, как и демократ. Я принадлежу к тому среднему классу, который «жнет там, где не сеял». Все — наше. Пушкин — наш, и Шевченко — наш. (Слышу гогот «украинцев». Успокойтесь, друзья: Шевченко в роли «украинского большевика» я оставляю вам, себе я беру — Шевченко бандуриста, «его же и Гоголь приемлет»).

Все русское — наше. Аристократия и демократия нам одинаково близки, поскольку они русские, поскольку они талантливы и прекрасны, поскольку они наше прошлое и будущее. Аристократия и демократия нам одинаково далеки, поскольку они узкоклассовы, поскольку они изящно, надменно или грубо фамильярны.

Я скорблю над угасающими, «сходящими на нет» старинными родами, я радуюсь народжению новых, «входящих», которые «сами себе предки».

Я жну там, где не сеял. Все высокое, красивое и сильное русское — мое, и я ношу мое право на них на острие моей любви к родине... Я люблю ее всю, с аристократами и демократами, дворцами и хатами, богатыми и бедными, знатными и простыми.

Ибо все нужны. Как нужны корни, ствол, листья... и цветы...

Я не гвардеец... Но если я особенно больно чувствую падение аристократии, то это потому, что все же *noblesse oblige*... Как русский, я несравненно более оскорблен метаморфозой «Петрика» в апаша, чем «Петьки» в хулигана. Ведь, в сущности, вся белая идея была основана на том, что «аристократическая» честь нации удержится среди кабацкого моря, удержится именно белой, несокрушимой скалой... Удержится и победит своей белизной. Под аристократической честью нации надо подразумевать все лучшее, все действительно культурное и моральное, порядочное бел кавычек. Но среди этой аристократии в широком смысле слова, аристократии доблести, мужества и ума, [23] конечно, центральное место, нерушимую цитадель должна была бы занять родовая аристократия, ибо у нее в крови, в виде наследственного инстинкта, должно было бы быть отвращение ко всяким мерзостям...

И вдруг...

«От благодарного населения»...

«Tout est perdu sauf l'honneur», — говорили французские дворяне.

«L'honneur a été perdu avant tout», — можем сказать мы...

Но белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль.

Без чести, именно отрицанием чести и морали — временно побеждают красные.

Для белых же потерять честь — это потерять все.

C'est tout perdre...

\* \* \*

И я видел...

Я видел, как зло стало всеобщим.

Насмешливый термин «от благодарного населения» все покрыл, все извинил, из трагедии сделал кровавый водевиль в m'en fich'истском стиле.

\* \* \*

Я видел...

Я видел, как почтенный полковой батюшка в больших калошах и с зонтиком в руках, увязая в грязи, бегал по деревне за грабящими солдатами:

— Не тронь!.. Зачем!.. Не тронь, говорю... Оставь Грех, говорю... Брось!

Куры, утки, и белые гуси разлетались во все стороны, за ними бежали «белые» солдаты, за солдатами батюшка с белой бородой.

Но по дороге равнодушно тянулся полк, вернее, пятисотподводный обоз. Ни один из «белых» офицеров не шевельнул пальцем, чтобы помочь священнику... единственному, кто почувствовал боль и стыд за поругание «христолюбивого» воинства.

Зато на стоянке офицеры говорили друг другу: [24]

— Хороший наш батюшка, право, но комик... Помнишь. как это он в деревне... за гусями... в калошах... с зонтиком... Комик!

\* \* \*

Я видел, как артиллерия выехала «на позицию». Позиция была тут же в деревне — на огороде. Приказано было ждать до одиннадцати часов. Пятисотподводный обоз стоял готовый, растянувшись по всей деревне. Ждали...

Я зашел в одну хату. Здесь было, как в других... Половина семьи лежала в сыпном тифу. Другие ожидали своей очереди. Третьи, только что вставшие, бродили, пошатываясь, с лицами снятых с креста.

— Хоть бы какую помощь подали... Бросили народ совсем... Прежде хоть хвельшара пришлют... лекарства... а теперь... качает... всех переберет... Бросили народ совсем, бросили... пропадаем... хоть бы малую помощь...

Дом вздрогнул от резкого, безобразно-резкого нашего трехдюймового... Женщина вскрикнула...

— Это что?

Это было одиннадцать часов. Это мы подавали «помощь» такой же «брошенной», вымирающей от сыпного тифа деревне, за четыре версты отсюда...

Там случилось вот что. Убили нашего фуражира. При каких обстоятельствах — неизвестно. Может быть, фуражиры грабили, может быть, нет... В каждой деревне есть теперь рядом с тихими, мирными, умирающими от тифа хохлами — бандиты, гайдамаки, ведущие войну со всеми на свете. С большевиками столько же, сколько с нами. Они ли убили? Или просто большевики? Неизвестно. Никто этим и не интересовался. Убили в такой-то деревне — значит, наказать...

— Ведь как большевики действуют, — они ведь не церемонятся, батенька... Это мы миндальничаем... Что там с этими бандитами разговаривать?

— Да не все же бандиты. [25]

— Не все? Ерунда. Сплошь бандиты, — знаем мы их! А немцы как действовали?

— Да ведь немцы оставались, а мы уходим.

— Вздор! Мы придем — пусть помнят, сволочь!.. Деревне за убийство приказано было доставить к одиннадцати часам утра «контрибуцию» — столько-то коров и т. д.

Контрибуция не явилась, и ровно в одиннадцать открылась бомбардировка.

— Мы, — как немцы, — сказано, сделано... Огонь!

Безобразный, резкий удар, долгий, жутко удаляющийся, затихающий вой снаряда и, наконец, чуть слышный разрыв.

Кого убило? Какую Маруську, Евдоху, Гапку. Приску, Оксану? Чью хату зажгло? Чьих сирот сделало навеки непримиримыми, жаждущими мщения... «бандитами»?

— Они все, батенька. бандиты — все. Огонь!

Трехдюймовки работают точно, отчетливо. Но отчего так долго?

— Приказано семьдесят снарядов.

— Зачем так много?

— А куда их деть? Все равно дальше не повезем... Мулы падают...

Значит, для облегчения мулов. По всей деревне. По русскому народу, за который мы же умираем...

Я сильно захромал на одном переходе. Растянул жилы... Примостился где-то, в самом конце обоза, на самой дрянной клячонке, только что «реквизированной»... Обоз — пятьсот повозок, но примоститься трудно, все везут что-то. Что угодно. Даже щегольские городские сани везут на повозке.

Скоро клячонка упала. Я заковылял пешком. Обоз обтекал меня медленно, но верно... Вот последняя повозка. Прошла... Хочу прибавить шаг, не могу. Обоз уходит. Надвигается конный арьергардный разъезд — это последние. За ними никого. Мы с сыном одни — бредем в поле...

Увы, «освободителям русского народа» нельзя оставаться в одиночку... Убивают.

Сколько ужасной горечи в этом сознании... Убивают! Кто? Те, за спасение которых отдаем все...

Я сказал сыну, чтобы шел вперед и попросил кого-нибудь из офицеров прислать мне лошадь.

Он ушел. Впереди деревня. Когда я добрал до нее, — вижу впереди хвост обоза.

Но что это такое? Плач навзрыд, причитания, крики. Я заковылял в этот двор...

Лежит павшая лошадь. С нее казак снимает седло и перекладывает на другую, свежую. Крестьянская семья — старик, женщины и дети — хватается за нее... это их лошадь.

— Что ты делаешь? Брось!..

— Я же им оставляю коня — он отойдет. Я же не могу пеший, что же мне делать?

Баба бросается ко мне.

— Помилуйте... змилуйтесь! Одна у нас — последняя. Ой, змилуйтесь! Сердце, золотко, — не обижайте, — бедные мы, самые бедные. Земли нема у нас. Только и живем с коня, — змилуйтесь! От жеж есть, которые богатый, — от старосту спросить, змилуйтесь, господин!

Но тем временем казак, вскочив на коня, скачет.

— Стой, я тебе говорю, стой!

Он не обращает внимания. Что я офицер, не производит на него никакого впечатления. Я думаю о том, что надо бы выстрелить ему вслед, но, подумав, ковыляю дальше. Надо сказать там.

Когда я подхожу, наконец, я вижу странное... Все вдруг стали «белыми». В белых новых кожах. Очевидно, тут же ограбили — эту же деревню. А кто-то из старших офицеров спрашивает:

— Это ты здесь, Аршак, себе этого серого достал? — Хороший конь!

— Так точно, господин полковник. Добрый конь.

Смотрю — это мой казак. Безнадежно...

И это «белые»? Разве потому, что в краденых кожухах... белых... [27]

Хоронили нашего квартирьера. Опять убили в деревне. Нельзя в одиночку. Он сунулся ночью в деревню. Устроили засаду — убили. Кто — неизвестно. Выбросили тело на огород, собаки стали есть труп. Ужасно...

Опускают в могилу. Тут несколько офицеров, командир полка.

Могилу засыпают местные мужики. Первые попавшиеся в первой хате.. Один из них в новых сапогах. Тут же солдат в старых.

— А вы, мерзавцы, убивать умеете... А в новых сапогах ходите... Снимай сейчас, — отдай ему!

— Господин полковник, да разве я убивал? Я бы их, проклятых, сам перевешал...

— Снимай, не разговаривай, а не то...

Снимает. Раз командир полка приказывает, да еще при таком случае — не поговоришь...

— А на деревню наложить контрибуцию! Весело вскакивает на лошадей конвой командира полка — лихие «лабинцы»... Мгновение, и рассыпались по деревне. И в ту же минуту со всех сторон подымается стон, рыдания, крики, жалобы, мольбы... Какая-то старуха бежит через дорогу, бросается в ноги... Целая семья воет вокруг уводимой коровы.

А это еще что? Черный дым взвился к небу. Неужели зажгли?

Да... Кто-то отказался дать корову, лошадь... И вот... Могилу квартирьера засыпают... Завтра в следующей деревне убьют нового... Там ведь уже будут знать и о сапогах и о контрибуции... А если не будут знать о нас, то ведь впереди идут части, перед которыми мы младенцы... Мы ведь «один из лучших полков»...

\* \* \*

В одном местечке мальчишка лет восемнадцати, с винтовкой в руках, бежит между развалин, разгромленных кем-то (нами? большевиками? петлюровцами? «бандитами»? — кто это знает) кварталов. [28]

— Что вы там делаете?

— Жида ищу, господин поручик.

— Какого жида?

— А тут ходил, я видел.



— Ну, ходил... А что он сделал?

— Ничего не сделал... жид!

Я смотрю на него, в это молодое, явно «кокаинное» лицо, на котором все пороки... -

Какой части? -

Отвечает...

— Марш в свою часть!.. Пошел.

Ищет жида с винтовкой в руках среди белого дня. Что он сделал? Ничего — жид.

— Что сделал этот человек, которого вы поставили «к стенке»?..

— Как что! Он «буржуй»!

— А, буржуй... Ну, валяй!

Какая разница? Мы так же относимся к «жидам», как они к «буржуям».

Они кричат: «смерть буржуям», а мы отвечаем: «бей жидов».

Но где же «белые»?..

\* \* \*

— Да что вы, батенька... Все они бандиты... Я вам говорю — не суйтесь, будьте осторожны... А это село — известное. В каждом доме — большевики — я вам говорю. Будьте осторожны — поближе к штабу... Все бандиты! Но мы «сунулись»... Нас была небольшая «стайка», — мои молодые друзья и я... Сунулись в хатку на самой окраине сверж-»бандитской» деревни...

Результат. Полчаса, были хмурыми, явно-скрыто-враждебными. Полчаса, присматривались. Еще через полчаса стали растаивать. К концу вечера стали ласковыми и угостили превосходным ужином. На ночь устроили как только могли получше. А утром, когда мы уходили, провожали нас, как лучших друзей. Улыбались на прощанье так, как только умеют улыбаться хохлушки... [29]

— Як вам бог поможе, може ще побачемось... Заходьте о нас... Счастливо!

И так было почти в каждой деревне на расстоянии трехсот верст...

... «Батенька — не суйтесь!»... Мы все же «совались» и утром уходили, провожаемые ласково звенящим:

— Счастливо!..

\* \* \*

За это или за другое нас в полку за глаза насмешливо называли «джентльмены».

Я понимаю эту насмешку и эту скрытую враждебность. Мы шли триста верст, они — может быть, три тысячи. Мы имели при себе свои деньги (заработок «Киевлянина» за последние дни) и притом «керенки» — у них денег не было... Мы шли добровольно, только что променяв перья на винтовки, — они тянули уже бесконечно эту безотрадную лямку:

Поход, бой, вши... Бой, вши, поход... Вши, поход, бой...

Этими тремя элементами ведь исчерпываются все комбинации войны *à la longue*... Легко быть «джентльменами» неделю, месяц, два... Но год, три, шесть лет. Ведь некоторые воюют непрерывно с 1914 года.

Еще хорошо, пока лето, солнце, тепло, есть речки, где выкупаться. Но осенью, зимою... В эти безотратно-грязные, серые дни или безжалостно-белые, морозные... Какая тоска нападает, наконец, отвращение к этому «роду занятий», жгучая потребность, непреодолимая жажда культурного центра, электричества, театра, нарядной толпы, музыки, книги, газеты... Все это локализуется в одной мечте:

«Выпить кофе у Фанкони... Настоящий кофе... с сладкими булочками, чисто поданный... и прочитать газету»...

Об этом мечтают на всех бесконечных «отступательных» дорогах... Воевать надоело, противно...

Прежде всего, конечно, этой до конца утомленной армии надо отдохнуть. Она больше не может, — ведь они работают без конца... [30] «Вечно без смены»... Вечно без смены! Но почему нет смены? Ах, я никого не осуждаю, не имею права осуждать. Быть может, если бы я воевал столько, сколько они, я сам бы опустился. Но пока, пока все же мне так приятно наблюдать своих молодых друзей, крещенных «джентльменами»...

Мне приятно, что на тридцатой версте дневного перехода они такие же, как на первой. Леденящий душу мороз, крайняя усталость, разваливающаяся обувь, растертые ноги не способны вырвать у них ни одного грубого слова. Мне приятна их неподчеркнутая, но настоящая военная и невоенная вежливость, их строгое разграничение «службы» и «дружбы». Беспрекословное исполнение «приказаний», братские отношения между собой и трогательная заботливость обо мне, во внимание к моей «старческой слабости».

Но в особенности меня радует, как они умеют ладить с тем «русским народом», ради которого и ведется борьба. Когда они за несколько часов «шармируют» неизбалованную лаской семью «бандитов», я горд, как будто бы выиграл сражение.

Я, конечно, не выиграл сражения, но я выиграл «пополнение», я выиграл «смену».

Потому что, я убежден в этом, как в том, что миром правит добро, а не зло, если бы армия не смеялась над «джентльменами», у нее была бы смена...

Мы «отвоевали» пространство больше Франции... Мы «владели» народом в сорок миллионов слишком... И не было «смены»?

Да, не было. Не было потому, что измученные, усталые, опустившиеся мы почти что ненавидели тот народ, за который гибли. Мы бездомные, бесхатные, голодные, нищие, вечно бродящие, бесконечно разлученные с дорогими и близкими, — мы ненавидели всех.

Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой стол, кусок земли и семья его тут же около него в хате...

— Ишь, сволочь, бандиты — как живут! [31]

Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, танцуют, веселятся...

— Буржуи проклятые! За нашими спинами кофе жрут!

Это отношение рождало свои последствия, выразившиеся в известных «действиях»... А эти действия вызывали «противодействие»... выразившееся в отказе дать.... «смену».

Можно смеяться над «джентльменами», но тогда приходится воевать без «смены».

Конечно, большевики — те добывают «смену» просто — террором. — Но ведь мы боремся с большевиками. Из-за чего? Неужели только для того, чтобы сесть на их место и делать все так же, как они? Но к чему же тогда все «жалкие слова»?..

В одном месте, в одной хате, куда мы зашли погреться и отдохнуть, старик сидел на лавке и долго молчал. Но я чувствовал, что он за нами наблюдает. Вслушивается, старается понять...

Наконец, он неожиданно спросил:

— Кто вы, господа, такие?

Он это так сказал, что нас всех поразило. Кто-то ответил ему: -

Мы? .. Мы — деникинцы. -

Но он хитро покачал головою:

— Ни, господа. Вы не деникинцы...

Я не знаю, почему я его вдруг понял. Бывает так, что поймешь вдруг... не умом... скорее концами пальцев. словом, я понял его.

И сказал:

— Кто мы, диду?.. Мы те... что за царя. Только молчать, диду, никому не говорить... Бо ще не время

Но ему трудно было молчать.

— От жеж бачу, что вы не деникинцы. Хиба такие деникинцы! Хоть мы и темны люди, а все ж свит бачимо. Видно по вас, яки вы люди. Так буде нам свит? Буде государь? [32]

От що зробылось без не время ще, диду, —

— Мовчить, диду. Об этом не можно ще. Буде царь, буде! Только мовчить. Прийде время, будут вас усих пытать, чи хочете царя, чи ни. О тоди кажить, — не ховайтесь. Кажить, — хочемо!

— Та хочемо! Як не хочемо! царя! А доживу ж я, старый?

— Доживете... Только тихо. Не время ще диду, — мовчить!

И мы ушли, таинственно прикладывая палец к губам. Каким образом старик учуял, кто мы!.. Вероятно, в его представлении «те, что за царя» и должны быть такие... Ведь государь старческой душе рисуется, как в старых сказках. И «его люди» не могут же не быть несколько иными... Они не могут безобразить или ругаться в бога, в мать, в веру и Христа... как большевики, как петлюровцы, махновцы, деникинцы...

Ах, в этом и трагедия, что народ не делает между всеми ними особого различия...

Шведы ль, наши шли здесь утром,  
Кто их знает — ото всех  
Нынче пахнет табачищем,  
Ходит в мире, ходит грех...

Если бы хоть мы, монархисты, следовали примеру первого русского императора и, вместо грабежа, насилия и матерщины, старались исправлять репутацию деникинской армии...

Тогда может быть:

И развел старик руками,  
Шапку снял и смотрит в лес...  
Смотрит долго в ту сторонку,  
Где чудесный гость исчез.

Я хочу думать, что это ложь. Но мне говорили люди, которым надо верить.

В одной хате за руки подвесили... «комиссара»... Под ним разложили костер. И медленно жарили... человека... [33]

А кругом пьяная банда «монархистов»... выла «боже, царя храни».

Если это правда, если они есть еще на свете, если рука Немезиды не пора эта их достойной их смертью, пусть совершится над ними страшное проклятие, которое мы творим им, им и таким, как они, — растлителям белой армии... предателям белого дела... убийцам белой мечты...

\* \* \*

Так думалось в одинокую новогоднюю ночь.

\* \* \*

Конечно, в этих мыслях был перехват... И одиночество и горечь... ретушируют больше, чем нужно... Бессонная ночь — плохой советник... Не так уж безнадежно. Выход есть, выход где-то есть...

\* \* \*

Ведь вот везде, и в том полку, где я был, — есть люди. Есть «комик» батюшка, есть и другие... «комики». Вот тот полковник, например, — разве не золотой полковник... Шесть лет воюет, а все еще полон огня. Есть же такие бесносные люди. И у него не грабят в батальоне. Памятник при жизни таким ставить.

Есть они, есть всюду. Только разрозненно все это. Если бы как-нибудь объединиться — подать друг другу... перекликнуться...

Да, перекликнуться. Подать друг о друге голос. Чтобы человек, который борется за белое дело не только против красных, но и против серых и грязных, знал, что он не одинок. Что есть и другие, такие же, как он, которые где-то там, в своих углах, в своих батальонах и ротах «гребут против течения»:

...Други, гребите!  
С верою в наше святое значение,  
Дружно гребите  
Во имя прекрасного — против течения...

(Алексей Толстой) [34]

## Ангел смерти

Я пробовал зажигать фонарь и в роли Диогена искал «человека». В Одессе его не было.

И это стало особенно ясно, когда в Одессу приехал В. А. Степанов

С В. А. Степановым мне пришлось сделать «кусочек политической жизни», несколько верст пути, рука об руку. Он обладал счастливейшим и ценнейшим свойством возбуждать в других людях энергию мысли. Как-то с ним всегда все «пересматривалось» по существу, так сказать, сначала. Он был отнюдь не революционер, но мозг его был всегда счастливо открыт для новой мысли. Он никогда не застывал и все время эволюционировал в лучшем смысле этого слова. Очень твердый в основном стремлении, он обнаруживал большую гибкость в способах. И отнюдь не в том смысле, что «цель оправдывает средства», а в том, что «суббота для человека, а не человек для субботы»...

А. М. Драгомиров еще не уехал в то время из Одессы. Мы собрались втроем. И...

Слушали:

Мнение присутствующих о том, что генерал Деникин находится в опасности. «Такое» отступление, по всей вероятности, не может обойтись без «личных перемен». Это закон истории. Может быть три случая. Генерала Деникина убьют, он застрелится, он совершит «отречение». Необходимо подготовиться к каждой возможности.

Постановили:

Поддерживать генерала Деникина до последней возможности и повиноваться ему до самого конца. Преемником ему почитать генерала Врангеля. Как передать власть генералу Врангелю в случае трагического конца — сейчас установить невозможно. Если же будет «отречение», то употребить усилия в том направлении, чтобы перед отречением произошло «назначение» нового главнокомандующего.

Слушали: [35]

В Одессе может организоваться отпор в том случае, если будет найден «человек».

Постановили:

Зажечь Диогенов фонарь и искать «человека».

Слушали:

Кроме Врангеля другого человека не найдено.

Постановили:

Принять зависящие меры, чтобы генерал Врангель стал пока во главе Одессы.

Эти зависящие меры были приняты. В точности мне неизвестно, привели ли они к какому-нибудь результату. Но думаю, что генерал Врангель опоздал бы.

Ангел смерти витал над Одессой.

\* \* \*

Надо было «зарегистрироваться».

Большое здание. Два этажа сплошь набиты офицерами. Очередь совершенно безнадежная. Здесь надо стоять часы.

Это все «регистрирующиеся». Здесь всякие.

Явные старики и инвалиды. Всякого рода «категористы», потом бесконечное количество служащих в тыловых учреждениях. Здешние — одесские и эвакуировавшиеся из самых разных губерний... «Командировщики», получившие всякие поручения. Часть из них действительно что-то здесь делает, а остальные — «ловчи́лы». Наконец... наконец, просто «дезертиры»... Хотя все они, конечно, имеют удостоверения.

Я потолкался, некоторое время среди этой толпы и ушел в «отвратном» настроении.

Толпа... Толпа офицеров. Не знаю почему, на меня всегда офицеры производят самое тяжелое впечатление, когда они собираются «толпами»... Офицер по существу «одиночка»... Он должен быть окружен солдатами. Тогда понятно, почему он «офицер»...

Но офицерство «толпами»... Тут есть какое-то внутреннее противоречие, которое создает тяжелую атмосферу... Такое же тяжелое впечатление на меня производят [36] «офицерские роты»... некоторые, по крайней мере... В них чувствуется какая-то внутренняя горькая насмешка...

И это впечатление особенно ярко, если сравнить «офицерские роты» с «юнкерами»... Казалось бы, «офицерские роты» самые совершенные части... А вот нет... В них какой-то надлом, нет здоровья, нет душевного здоровья... И как это ни странно — не чувствуется дисциплины. А юнкера всегда производят какое-то бодрящее душу впечатление: сжатой пружины, готовой каждую минуту развернуться по знаку своего начальника.

Душевной упругости, пружинчатости я совершенно не почувствовал в этой офицерской регистрирующей толпе... Плохая психика, ужасная психика...

Такое учреждение, где регистрируются, не единственное вот это. По всему городу, в разных участках, происходит то же самое. Везде стоят такие же толпы офицеров, понурые, хмурые, озлобленно подавленные и требовательные...

Сколько их?

Никто не знает толком, называют самые фантастические цифры... Кто говорит, что уже «зарегистрировалось» восемьдесят тысяч... Но это явно преувеличено... Но не меньше двадцати пяти тысяч, наверное...

Целая армия. И казалось бы, какая армия. Отборная...

Да это только так кажется...

На самом деле эти выдохшиеся люди, потерявшие веру, ничего не способны делать. Чтобы их «встряхнуть», надо железную руку и огненный дух... Где это?

\* \* \*

Принцип регистрации нелеп. Офицеров «заносят» куда-то, и этим ограничивается все.

Меж тем...

Меж тем настроение этого города, самого города, начинает портиться...

Явственно чувствуется какая-то подземная работа. Хорошо бы держать самый город «под прицелом»... И это было бы легко, может быть. Каждый регистрирующийся офицер должен был бы тут же получать приказ, «в какую часть он зачислен на случай тревоги и куда должен [37] явиться, кто его начальник». Так однажды было сделано в Екатеринодаре. И дало прекрасные результаты.

А так — эти списки? Для чего они? Для облегчения работы большевиков, когда займут город, по отыскиванию офицеров?

Ангел смерти реет над Одессой-мамой...

Ко мне пришел один офицер.

Молодой, энергичный... С склонностью к необузданному фантазерству. Он мне казался белым по мыслям и чувствам, но испорченным доктриной «цель оправдывает средства». Он стал во главе группы офицеров, поднимавших большой «бум»... Они были решительны, смелы. Достаточно смелы для «бумных» историй, недостаточно отважны, чтобы быть беспощадными к своим...

Теперь он пришел ко мне продемонстрировать, так сказать, свое «беспристрастие»...

— Вот прочтите.

Читаю. Это собственноручное признание начальника одной из очень крупных «контрразведок» в том, что он, будучи больным, был соблазнен своим помощником присвоить и разделить между собой (четырьмя соучастниками) крупную сумму в иностранной валюте. «Будучи почти в беспамятстве», «он поддался на уговоры». Теперь он приносил чистосердечное раскаяние и просил предать его суду.

Я знал этого человека. Он приходил ко мне, приносил стихи, иногда недурные, был «мистиком», рассказывал, как ой борется с злоупотреблениями «нашей чрезвычайки», и вообще казался мне честным человеком.

И вдруг...

— Этого мы помилуем... С ним это в первый раз... Кроме того...

Он рассказал мне на ухо историю, которую я по этой причине не рассказываю.

— А остальных расстреляем...

— По суду, надеюсь. [38]

— Ну, конечно... Но вот будет другое дело — это уже не по суду...

\* \* \*

Оба «дела» были сделаны...

Начальник той контрразведки, «мистик и поэт» был помилован... каким-то способом. Его соучастники расстреляны.

А через несколько дней был убит начальник одесской контрразведки полковник Кирпичников.

Он ехал поздней ночью. Автомобиль был остановлен офицерским патрулем. Кирпичников назвал себя. Его попросили предъявить документ. Когда он вытаскивал «удостоверение» из кармана, раздался залп из винтовок...

Всю сцену рассказал шофер, которому удалось тихонько исчезнуть...

\* \* \*

Это было дело «без суда»...

Участники его, вероятно, гордились этим подвигом. С точки зрения «брави», он действительно был сделан чисто. Но с точки зрения нашего «белого дела», это был грозный призрак, свидетельствующий о полном помутнении, если не покраснении умов.

Кто был убит? Начальник контрразведки, т. е. офицер или чиновник, назначенный генералом Деникиным.



Кем убит? Офицерами генерала Деникина же.

Акт убийства Кирпичникова является, прежде всего, «актом величайшего порицания и недоверия» тому, кому повинешься...

Это весьма плохо прикрытый «бунт»... Отсюда только один шаг до убийства ближайших помощников главнокомандующего, вроде генерала Шиллинга или генерала Романовского... Генерал Шиллинг уцелел, а генерал Романовский погиб, как известно...

Когда я узнал об убийстве полковника Кирпичникова, я вспомнил свою речь, которую я говорил когда-то во второй Государственной Думе по поводу террористических актов. Левые нападали на полевые суды, введенные тогда П. А. Столыпиным. Они особенно возмущались [39] юридической безграмотностью судей, первых попавшихся офицеров, а также тем, что у подсудимых не было защитников. Отвечая им, я спрашивал:

— Скажите мне, а кто эти темные юристы, которые выносят смертные приговоры в ваших подпольях? Кто назначил и кто избрал этих судей? Кто уполномочил их произносить смерть людям? И есть ли защитники в этих подпольных судилищах, по приговорам которых растерзывают бомбами министров и городских на улицах и площадях?

Эти слова мне хотелось тогда сказать убийцам полковника Кирпичникова. Кто уполномочил их судить его, и выслушали ли они, если не его защитников, то его самого?

Но дело даже не в этом, а дело в том, что производить самосуд — значит отрицать суд. Отрицать суд — значит отрицать власть. Отрицать власть — значит отрицать самих себя.

Так оно, конечно, и было. Этим убийством белые пошли против белых понятий.

Красный ангел веял над городом.

\* \* \*

Громадная зала. Кафе Робина была набита народом. Сквозь табачный дым

Оркестр вздыхал, как чья-то грудь больная.

Впрочем, не совсем так, а гораздо хуже. С трудом я нашел столик. Сейчас же и меня нашли. Нашлось неопределенное количество знакомых, которые подсаживались и, по русскому обычаю, начинали изливать свои горести.

По странному совпадению — это иногда, бывает — у моего столика периодически сменялись Монтекки и Капулетти. Впрочем, это не совсем точно. Здесь было больше враждующих родов: столько, сколько штабов. А штабов... имена их, ты, господи, веси...

— Он? Вы не можете себе представить! Это злой гений. Это удивительно. Непременно должен быть злой гений! Вот у генерала Деникина — Романовский, а здесь этот. Пока его не уберут, ничего не будет! Про Кирпичникова слышали? Вот и его бы туда же... [40]

Смылся.

— Ах, это вы! Слышали про убийство Кирпичникова? Конечно, это безобразие, но, в конце концов... Я видел, с вами был только что офицер... Вы будьте с ним осторожнее. Их штаб, я вам скажу, такая лавочка... Еще вопрос, что лучше, они или Кирпичников...

После моего неопределенного отношения к делу и этот уходит. Первые два были из враждующих штабов. Они грызутся и обвиняют друг друга приблизительно в одном и том же: в бездельи, пьянстве, воровстве. Подсаживается третий.

— Я очень рад, что с вами встретился. Надо поделиться с вами некоторыми фактами, быть может, вам неизвестными. Вы, конечно, слышали про эту... певицу. Вот чрез нее идет открытое и грандиозное взяточничество. А генерал у нее пропадает. Что там делается! И потом... если бы только это одно, а ведь дело гораздо хуже.

Он наклоняется ко мне ближе и шепчет что-то про одну высокопоставленную даму. В его рассказах перемежаются жида, контрразведка, масоны. Осваг, спекулянты, штабы, большевики, Вера Холодная, галичане, Иза Кремер, городская дума, Анна Степовая...

Дикий кавардак. Оркестр вздыхает, «как чья-то грудь больная», неизвестно только какую болезнью. Дыму столько же, сколько чада в этих рассказах...

И все это пустяки, а самое важное, главное и смертельное это то, что весь этот огромный зал, все это энное количество столиков занято офицерами.

— Что они здесь делают?

— Пьют кофе. Читают газеты. Слушают щемящие душу терпко-сладкие звуки скрипок.

Мечта всех «отступательных» дорог, морозных и грязных, исполнилась.

Они пьют кофе у Робина.

— А большевики опять продвинулись. Наши драпанули в два счета! Придется играть в ящик! Ну, и прекрасно! Черт с ним!

А пока... [41]

А пока мы все-таки будем пить кофе со сладкими булочками, читать газеты и слушать скрипки.

\* \* \*

Для освежения мысли я вынул из кармана записку, составленную моими друзьями. Эта записка, если не была совсем точна, то, во всяком случае, рисовала то, что считалось установленным в городе.

Передо мной замелькали описания всевозможных штабов и учреждений с одной и той же убийственной характеристикой. А это еще что?

«Все высшее начальство уверяет население, что опасности со стороны большевиков для Одессы нет, но, вместе с тем, во второй половине декабря семьи многих высших лиц были отправлены в Варну. Это стало известным всему городу и вызвало панику. Вообще (?) большинство стоящих во главе ведомств должностных лиц заняты одной целью —

набрать возможно больше денег, потому взяточничество процветает. Лица, заведывающие эвакуацией, берут взятки за предоставление мест на пароходах; комендатура порта — за освобождение судов от мобилизации; управление начальника военных сообщений — за распределение тоннажа в Черном море. Описать хищения, которые происходят на железных дорогах, нет возможности — там пропадают целые составы поездов с казенным грузом. Началась пляска миллионов... «.

И так далее и так далее, все в этом же роде.

Даже если бы все это была неправда, то всеобщее убеждение, что это так, означало гибель дела.

Ангел смерти витал над самое себя заклеившей Одессой.

\* \* \*

Улицы Одессы были неприятны по вечерам. Освещение догорающих «огарков». На Дерибасовской еще кое-как, на остальных темень. Магазины закрываются рано. Сверкающих витрин не замечается...

Среди этой жуткой полутемноты снует толпа, сталкиваясь на углу Дерибасовской и Преображенской. В ней чувствуется что-то [42] нездоровое, какой-то разврат, quand même, — без всякой эстетики. Окончательно перекокаинившиеся проститутки, полупьяные офицеры...

«Остатки культуры» чувствуются около кинотеатров. Здесь все-таки свет. Здесь собирается толпа, менее жуткая, чем та, что ищет друг друга в полумраке. Конечно, пришли смотреть Веру Холодную После своего трагического конца она стала «посмертным произведением», тем, чего уж нет...

Меня потянуло взглянуть на то, чего уж нет, — на живущую покойницу. Я вошел в один из освещенных входов.

Что это такое? Офицерское собрание или штаб военного округа? Фоне было сплошь залито, как сказали бы раньше, «серой шинелью» и, как правильной сказать теперь. — «английской» ..

Нельзя сказать, чтобы Верочка Холодная все же не доставила мне удовольствия. Как жадно стремимся мы все насладиться хотя бы в последний раз тем, чего уже нет, и много ли нас осталось бороться за то, чего еще нет...

Ангел смерти витал над «поставленным к стенке» городом...

## «Отрядомания»

Все чувствовали тогда в Одессе, что так дальше нельзя. Разложение армии по тысяча и одной причине было ясно. Ясно было, что именно потому она и отступает, что наступила осень и зима не только в природе...

В душе моей зима парила,  
Уснули светлые мечты...

(Романс барона Врангеля)

Что делать?

Прямой путь был ясен. Надо было встряхнуть полки железной рукой. Но для этого надо было, во-первых, где-то их собрать. На бесконечных «отступательных» дорогах этого нельзя было сделать. Ибо можно было писать [43] сколько угодно приказов, и они писались, но исполнять их было некому. Командиры частей частью сами «заболели», частью были бессильны. Надо было иметь возможность, опершись на какую-нибудь дисциплинированную часть, привести остальных «в христианскую веру»...

Таких «мест», центров, куда стекала отступающая стихия, было собственно три: Кубань. Крым и район Одессы.

В каждом из этих центров было одно несомненное данное: дальше было море. Дойдя до моря, надо было или сдаваться или «драться»... Но был еще третий выход — корабли... Конечно, ясно было, что всем не сесть на пароходы, но каждый думал про себя, что он-то сядет, а остальные... ну что остальные — *chacun pour soi. dieu pour tous!*

Однако, конечно, везде были элементы, которые не желали садиться на пароходы. Они готовы были драться и уже поняли, что опасение в покаянии и в дисциплине. Были такие элементы и в Одессе.

Если бы в Одессе оказался «человек», сопротивление было бы... Но человек этот непременно должен был быть получен «иерархическим» путем, т. е. сверху. Короче говоря, это должен был бы быть назначенный главнокомандующим Деникиным генерал. Естественным генералом был бы, конечно, главноначальствующий Новороссийской областью генерал Шиллинг.

Но генерал Шиллинг ни в какой мере нужным «человеком» быть не мог.

Я совершенно не касаюсь всего того дурного, что о генерале Шиллинге говорили. Все это я слышал, все это я впускал в одно ухо и выпускал в другое, твердо памятуя, что человеческая гуща вообще легкомысленно-лжива, «отступающая» стихия непременно озлобленно-несправедлива, а «Одесса-мама», сверх того, всегда была виртуозно изобретательна в смысле сочинения всяких мерзостей... Этому мутному потоку вообще не следует поддаваться.

Но что генерал Шиллинг не был «человеком» в нужном смысле, человеком момента, — это для меня совершенно ясно. Он не мог решиться на то, что должен был сделать: расстрелять нескольких командиров полков для того, чтобы [44] привести остальных в сознание действительности. Не мог он и собрать около себя дисциплинированного кулака, который сумел бы внушить расхлябавшейся массе, что главноначальствующий имеет возможность заставить себе повиноваться.

Раз генерал Шиллинг, т. е. естественный «человек», человек «сверху», не мог ничего сделать, а революционный путь, т. е. путь нахождения «неестественного» человека «снизу» или «сбоку», был исключен, то мысль заработала еще в каком-то третьем направлении.

Это, «еще какое-то» направление действительно было «какое-то», т. е. несуразное.

Возникла мысль почти у всех одновременно такая: если старые части разложились, значит надо формировать новые.

В сущности говоря, это было повторение пройденного: ведь когда погибла старая русская армия, генерал Алексеев сейчас же взялся за формирование новой — добровольческой армии. Но существенная разница состояла в том, что тогда во главе стал бывший верховный главнокомандующий, старый техник, хорошо знавший свое ремесло. Теперь же, здесь, в Одессе, за негодностью «генералов», за дела схватились кто как мог, и получилась эпоха одесской «отрядомания».

Кто только не формировал отряды! И «Союз Возрождения», и «немцы-колонисты», и владыка митрополит высокопреосвященнейший Платон, и экс-редактор «Киевлянина»...

Генерал Шиллинг помогал этим начинаниям так, как говорят хохлы: «як мокре горыть»... Шаг вперед, два назад, а в это время большевики делали три шага к Одессе.

Я пошел к митрополиту Платону.

Я люблю бывать у владыки иногда.

Во-первых, уже самое настроение этих митрополичьих покоев действует как-то утешающе... Ну, что же такое, что придут большевики! Они уже были и ушли. Еще придут и еще уйдут. А митрополичьи покои стоят и [45] будут стоять. И так же в них будет, как было. Государства валяются, троны рушатся, а церковь устоит... Устоит русская церковь, устоит русский язык... Эти две силы создадут третью: единого двуглавого орла... Одной головой он будет смотреть на наше Великое (да, великое, безумцы) Прошлое, другой зорко искать путей к Великому (верю, господи, помоги моему неверью) Будущему...

Владыка митрополит был очень увлечен своим «священным отрядом».

И митрополит Платон, как тогда в Одессе было обязательно, тоже «формировал» что-то... Но до меня уже дошли кое-какие сведения о том, что там делалось. Увы, в «священный отряд» вошли каким-то образом... «уголовные элементы». Я в осторожной форме предупредил владыку, как легко погубить дело и как особенно на виду отряд, создаваемый под покровительством митрополита.

Все-таки стало легче на душе, когда я ушел оттуда. Я почти был убежден, что из священного отряда ничего не выйдет священного. Я получил достаточные сведения о «священных людях», которые туда пошли... И все же...

И все-таки соприкосновение с «духовным» миром всегда освежает. Я вовсе ничего не идеализирую... Я знаю и вижу нашу русскую церковь... И все-таки среди этого расцвета зла, когда поля и нивы заросли махровыми, буйными, красными будяками, церковь уже потому утешает, что она молится...

Молитва богу всегда белая. Белая — вековечно... А бог — сама Вечность.

Очень большой какой-то дом. Не помню, где это.

Тут формируется «самый важный» отряд. Этот отряд, кажется, находится под «сильным покровительством»... Но чьим? Хорошенько не разберу.

Кажется, он называется... впрочем, оставим это. *Nomina sunt odiosa*.

Словом, это должен быть «полк»... Первый батальон такой-то организации, второй — такой-то общины, третий — [46] такого-то учреждения... четвертый — мог бы быть наш «отряд особого назначения»...

Я добираюсь до командира полка. Двигаюсь постепенно из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Внизу меня слегка коснулся запах спирта. Затем этот запах все усиливался, по мере того, как я двигался выше. по всяким «отросткам» мгновенно сформировавшегося штаба... Вообще мы двигались беспрепятственно. Мой спутник называл меня. И тогда пьяные и полупьяные лица. перед этим скользившие по моим «подпоручицким» погонам полупрезрительным взглядом, делались любезными и милыми, поскольку они могли быть милыми. Потому что... ведь так много разрушено за это время. Разрушалось и искусство быть любезным...

Запах спирта достиг наивысшего напряжения, когда я достиг командира полка.

Этот полковник был пьян. Он был молод, и лицо у него было тонкое. Бритое, худощавое, оно носило отпечаток энергии. Но какой «энергии»? Это было почти очевидно.

Полковник принял меня в высшей степени любезно. Но из его «повышенных» объяснений я понял, что денег ему еще не дано — раз, и что полк его еще не «утвержден» — два. Что кто-то (кто, неизвестно, но какие-то люди или «силы») мешает... Что генерал Шиллинг сочувствует, но...

— Впрочем, мы их зажемем! В два счета. Церемониться не станем... Нет, уж не до церемоний... Куда же дальше... ведь штабы будут на пароходе... а мы? Нас, как цыплят, угробят? Нет! Довольно!

Запах спирта усилился, потому что пришел кто-то с докладом...

— Господин полковник, разрешите доложить ...

Офицер тянулся, хотя был пьян...

Полковник, приняв доклад, продолжал громить... кого-то.

Я его плохо слушал. Я понял.

Все пьяны, денег нет, разрешения нет... и это при сильном «покровительстве». [47]

А большевики в этот день опять сделали большой скачок.

Мы «драпанули» — «в два счета»...

\* \* \*

Опять здание. Опять этажи. Но спирта что-то не слышно.

Добираюсь еще до одного формирующего полковника. Молодой очень, но энергичный, производит симпатичное впечатление. Из «осважников». Переменил перо на винтовку. Тут «что-то слышится родное».

— Деньги получили?

— Нет — какое там...

— Как же?

— Да как-то наскребаем пока.

— Утверждение?

— Да вот хлопочем.

— Много у вас...

— Пока около ста человек...

— А ведь большевики движутся... — Конечно, движутся...

— А знаете что, будем связь держать...

— Хорошо... а зачем?

— Да мало ли что может случиться... драпанут в два счета... теперь не на кого надеяться... только на себя... в случае чего... перебирайтесь к нам...

Мы уславливаемся.

В городе по самому скромному счету двадцать пять тысяч одних офицеров. А тут два отряда, общей численностью не превышающие двести человек, «договариваются» о «совместных действиях».

\* \* \*

Еще какое-то формирование. Та же картина. Здание, этажи.

\* \* \*

Штаб. Денег пока нет. Разрешение — «хлопочут»... [48]

И еще... и еще...

Есть еще немцы-колонисты. У них свой «генерал». У них свой комитет — какой-то немецко-русский совдеп, где одерживаются бескровные победы на внутреннем фронте.

Деньги? Кажется, есть.

Люди? Говорят, были. Но разошлись... И вообще они желают защищать только каждый свою колонию, а другой не желают. Кроме того, немцы говорят: «мы пойдем, если

русские (крестьяне) пойдут». А русские крестьяне будто бы говорят: «мобилизуйте нас — тогда пойдём, а добровольно не пойдём — страшно»...

\* \* \*

Есть еще «Союз Возрождения». У него дело чуть лучше. Они получили и деньги и разрешение. В благодарность за явное покровительство «белых» генералов «розовенькой общественности» эта последняя умеренно политиканствует. Создают какой-то совдеп. Как он называется? «Комитет защиты Одессы», кажется... Чуть ли не «Комитет Спасения». Они никак без этого не могут обойтись. Большевики уже давно поняли, что в совдепе несть спасения, а у этих все еще к ним «влечение — род недуга».

\* \* \*

Городская дума. Она отнюдь не розовенькая... Наоборот. Мы победили в Одессе на городских выборах в декабре 1919 г. Казалось, это было невероятно. В Одессе победить нам — русским... А вот победили.

Выборы вели мои друзья, сгруппированные в организацию, привыкшую к дисциплине. Победу дало изобретенное ими в высшей степени удачное название. Как все «гениальное», это было в высшей степени просто: «христианский блок». Никаких программ, никаких угроз и никаких обещаний. Но все, кому нужно было, поняли друг друга,

Однако, «наша» дума, как всякий совдеп, не избежала общего закона совдепов: она собирается делать «скопом» [49] дело, которое делается только «в одиночку», т.е. защищать город.

Она тоже что-то «формирует».

\* \* \*

У генерала графа Х. Крайне любезен. Он получил специальную задачу и имеет свой штаб. Он должен «объединить» все формирования. Для этого он разбил весь район Одессы на «секторы». Каждый сектор предполагается отдать, примерно, какому-нибудь отряду, так сказать, «в лен». Но все-таки не совсем так. В каждый сектор будет послан полковник без отряда. Потом придет отряд и поступит в распоряжение полковника.

— А что же будут делать полковники, формирующие отряды?

— Да, это надо уладить...

Уладить этого никак нельзя. Ведь если люди при этой агонии еще идут в какие-то формирования, то они идут к офицерам, которых они знают или авторитет которых высок. К «каким-то полковникам» они не пойдут, ибо авторитет «погон» потерян в развале отступления — ищут людей...

Но генерал граф Х. не понимает, какую смесь «французского с нижегородским» он устраивает. Или «партизанщина» — отрядомания, или «все по уставу». Но эта смесь митрополитов, редакторов, «атаманов» всякого сорта и совдепов всякого рода с старорежимными генералами дает нечто несуразное...



Да и вообще...

Нет, общий сумбур не уменьшится оттого, что изобрел новый штаб генерала графа Х.

\* \* \*

Куда еще?

Да вот еще есть отряд инженера Кирсты. Это рабочие, которых он вывел из Киева. Их называют «кирстовцы», еще «крестовцы»... В Киеве они назывались «рабоче-офицерская рота». [50]

Утверждение есть — киевское... Денег, конечно, нет. Ни киевских ни одесских.... Отряд, если не ошибаюсь, сидит безвыездно в каком-то этаже какого-то здания... за «босостью».

Вхожу с ними в контакт.

\* \* \*

Есть еще атаман — Струк — «малороссийский отряд». Он бывал у меня в Киеве. Тут он тоже что-то формирует. И, говорят, у него много народу.

Разрешение — киевское. Деньги?

Денег нет, но, очевидно, он им что-то обещает. Но что? ..

\* \* \*

Довольно. Пойду к себе в «свой» отряд.

\* \* \*

«Отряд особого назначения» был попыткой создать кадр «просвещенных исполнителей» хотя бы для одного уезда.

Разумеется, теперь ясно, что был кустарный дилетантизм, Kinder — Spiel, покушение с негодными средствами... как и вся одесская «отрядомания», впрочем. Однако, нельзя не сказать, что это обычный путь человеческой мысли: когда теряют надежду спасти целое, пытаются начинать с атомов...

Мой «атом» формировался почти исключительно из учащейся молодежи. Денег мы пока не получали, — содержали отряд всяческими ухищрениями, «утверждение» самого отряда бесконечно тормозилось в разных штабах. И то и другое было получено накануне занятия Одессы большевиками.

\* \* \*

Я вошел в гимнастический зал. — Смирно! Равнение налево! Господа офицеры!

Это командовал полковник А., «назначенный» начальником отряда.

Кем он назначен? Пока никем. Мною. А я кто такой? [51]

Да, вот тут-то и начинается «часть неофициальная». Передо мной, вытянувшись, как полагается, замерла горсточка. Мой «атом». Это были почти сплошь гимназисты. Им нелепо было сказать «здорово ребята, молодцы, орлы» или что-нибудь подобное. Я сказал им:

— Здравствуйте, господа.

— Здравия желаем...

И смешались. Одни сказали: «господин подпоручик», другие: «господин полковник», третьи: «ваше превосходительство»...

Так и должно было быть. Кто же я был в самом деле?

Если бы они были искренни, они бы ответили:

— Здравия желаем, господин редактор «Киевлянина».

Но этого, конечно, нельзя ответить. Почему? Да потому, что «редакторы» не формируют отрядов. По крайней мере, там, где все обстоит благополучно. И если произошел такой случай, что не только редактор, но и митрополит делаются «начальниками отрядов», то, значит, все пошло шиворот навыворот...

Так оно, конечно, и было.

No le vin est tiré, il faut le boire.

## Исход

Дело становилось окончательно ясным: Одессу сдадут. Я, кстати, заболел и, лежа в постели, подписывал бесконечное количество «удостоверений» на английские пароходы. На этих удостоверениях английские власти ставили визу, и это служило пропуском на пароход. Но приходилось выдерживать характер. Добивались удостоверений и те, кому, по моим понятиям, надо было бы сесть па пароходы «последними», т. е. совсем не садиться, ибо на всех места хватить не могло...

Итак, все строилось на «драп». В ушах у меня все время звучала фраза из модернизированного ромansa, которая стала с некоторого времени канонической.

Das war ein Drap . . .

Впрочем, это, вероятно, было потому, что у меня начинался легкий жар. [52]

В городе шла эвакуационная лихорадка.

Ко мне постоянно забегали разные люди со всякими сенсациями. Большевики там, большевики здесь... Такой-то генерал уже сел на пароход. Такой-то штаб укладывается и такая-то дама сунула им столько-то чемоданов со столькоими-то платьями.

Генерал Шиллинг еще был на берегу. Он будто бы сердится, когда ему говорят об эвакуации, и обещает еще держаться десять дней, но, между прочим, уложено все до последнего ящика.

\* \* \*

Итак, я подписывал удостоверения. Для моего развлечения, очевидно, прибежал кто-то «в паническом» и сообщил, что «атаман» Струк сегодня ночью собирается меня арестовать. Это был, конечно, вздор, но на всякий случай я написал Струку письмо, в котором я предупредил его, что к нему, вероятно, прибегут сообщить, что я собираюсь его убить, так чтобы он не пугался. Однако, я чувствовал, по некоторым другим признакам, что нечто украинообразное выскочит в последнюю минуту. Среди «кофейного» офицерства внезапно наступило успокоение: они вдруг возложили все свои надежды на какого-то генерала Сокиро-Яхонтова, выплывавшего «из-за острова на стрежень».

Это было совсем нелепо, но....

Впрочем, об этом дальше.

С каждым часом атмосфера уплотнялась. Положительно всем, кто хотел попасть на пароходы, надо было укладываться.

Самая грустная вещь в этих эвакуациях это, кажется, та минута, когда приходится решать, что спасти из... «архивов».

В Киеве мне пришлось сжечь интереснейшие вещи. Но многое я вывез. Для чего? Для того, чтобы утопить в одесской воде то, что не сжег в киевском огне. [53]

В общем, от всего, что было написано или записано в течение всей жизни, не осталось ни строчки...

\* \* \*

24 января, вечером, я решил, что довольно болеть. Ясно было, что каждую минуту можно было ожидать «перемены обстановки».

Надо было переходить на «военное положение», т. е. идти в «отряд».

Я оделся. Мы вышли. На улицах было «соответственно». Обозы, часть артиллерии — вошли в город. Напротив моей квартиры происходила какая-то каша из англичан и «Союза Возрождения». На Екатерининской площади выростали горы чемоданов и ящиков, среди которых сновали автомобили. На Дерибасовской был кой-какой свет. Сновали люди. В полутемноте была жуть, но город еще жил. Вдруг неожиданно и тяжело по улицам прошелся звук очень большого орудия, очевидно с английского дредноута. Это должно было обозначать, что большевики заняли такой-то «квадрат», доступный обстрелу с моря. И сразу все изменилось. Все огни потухли. Толпа, куда-то смылась, и только мальчишка на углу, который перед этим продавал папиросы за сто рублей коробка, стал требовать триста.

\* \* \*

Образовалась плотная темнота, которую от времени до времени буравили выстрелы винтовок, где и по ком, впрочем, неизвестно. Темнота эта была совершенно пустынная, улицы вымерли.

\* \* \*

Но в эту ночь мне еще пришлось вернуться к «источнику осведомления». В это время командование уже перешло в руки полковника Стесселя, «начальника, обороны города Одессы». Его штаб был в английском клубе. Я пробрался туда через зловеще-пустынный город. Тяжелые английские орудия еще два или три раза всколыхнули темноту, такую густую, как повидло. В клубе [54] масса народу, толпа. Очевидно, сюда жмутся. Светят какие-то жалкие огарки. Мрачно. В этой мрачности непрерывно снуют, входят и выходят, и чувствуется, что происходит какая-то пертурбация. Какие-то украинские офицеры приезжали и уезжали в автомобиле. Раза два раздалась «балакающая» «мова». Конечно, это было так, а не иначе: происходила сдача командования «господину нашему» генералу Сокире-Яхонтову.

Зачем генерал Шиллинг, сев на пароход, передал командование неизвестно откуда взявшемуся и не имевшему никаких сил (триста галичан, да и то лежащих в госпиталях) и явно внушавшему всем недоверие генералу Сокире-Яхонтову, — это секрет изобретателя. Однако это было проделано. Полковник Стессель получил от генерала Шиллинга письмо с приказанием подчиниться украинскому спасителю.

Эта передача власти, несомненно, ускорила сдачу Одессы дня на два, ибо кто-то стал надеяться на кого-то, и даже те немногие, что могли что-нибудь сделать, были сбиты с толку.

Узнав, что «такое-то отношение», т. е. что генерал Шиллинг украинизировал нас с парохода, я отправился обратно в свой отряд со смутной мыслью распустить его по домам. Ибо если можно еще донкихотствовать под трехцветным флагом, то под «жовто-блакитным»... покорнейше благодарю... «Довольно колбасы», как говорили в таких случаях на доброармейском жаргоне.

Но распустить отряд не пришлось. События пошли таким темпом, что пришлось не распускаться, а наоборот, «всім збираться до купы»...

\* \* \*

Рано утром 25 января я был в порту. В порту в это время было еще сравнительно прилично. Правда, люди бегали по всем направлениям, усаживаясь на всякие суда, но особых инцидентов не происходило. Поддерживали порядок юнкера. Им было обещано, что их возьмут на [55] пароход после окончания погрузки. Было чуть морозно, но ярко светило солнце.

Я пришел на нашу «собственную» баржу. Тут мне стало жутко. Баржу должен был тащить наш «собственный» пароход. И пароходик и баржа внушали невольную мысль, что они никак не выйдут в море, а, если выйдут, — погибнут. А между тем все было уже битком набито народом. Среди них у меня столько было близких и друзей. Я никак не мог решить, прощаясь с ними, кто подвергается большей опасности. Они провожали меня слезами, считая, что я «обрекаюсь» на верную гибель, оставаясь на суше, а я, конечно, не сказал им, что думаю то же о них, «плавающих, путешествующих»... Ужасны эти разлуки при такой обстановке...

На обратном пути из порта я имел благоразумие зайти в штаб Стесселя. Не знаю, какова была бы судьба всех нас, собравшихся в «мой» отряд, если б я этого не сделал. Начальник штаба, полковник Мамонтов, дал мне приказание немедленно привести отряд к штабу, ибо, как он выразился, «надо сжаться в кулак».

— Неужели город очищается? А Сокир-Яхонтов?

Мамонтов махнул рукой.

— Принял командование ночью, а утром прислал сказать, что снял с себя командование. «Кончилось счастье»...

— Ну, а районные коменданты? Есть же что-нибудь?

Он посмотрел на меня выразительно.

— Отжимайтесь к штабу. И немедленно...

К своему удовольствию, я застал отряд весьма готовым к выступлению. Большевики были где-то неподалеку. На соседних улицах что-то уже происходило. Что именно, в то время узнать нельзя было.

Мы вышли. «Отряд особого назначения», выведенный на улицу, представлял из себя приблизительно следующее.

Первая рота: человек тридцать офицеров самого разнообразного происхождения. Несколько из них, испытанных друзей, [56] другие — прибежавшие в последнюю минуту, не зная, куда деться.

Вторая рота: около пятидесяти человек молодежи, преимущественно гимназистов.

Сверх того, около десяти дам, несколько мужчин штатского вида — способных и неспособных носить винтовку. Двенадцатилетняя Оля и четырнадцатилетний Димка, мой, младший сын.

Хозяйственная часть: одна подвода неизвестного происхождения, но переполненная вещами.

Мы шли по городу. Пулеметы трещали на соседних улицах, но пока мы двигались благополучно. Кто с кем там дерется, никак нельзя было сообразить. По тротуарам бежали люди с чемоданчиками и узелками. Очевидно, в порт. «Нормальной», обычной публики не было. Без особых приключений мы дошли до Английского Клуба — на углу Пушкинской и Ланзкероновской. Тут мы увидели «главные силы».

Полковник Стессель со своим штабом стоял уже на улице. За штабом находились какие-то части в таком количестве, что прибытие нашего отряда, в котором не было ста человек, оказало заметное влияние.

Итак, это было все. Я понял, что мы подошли последними. В критическую минуту от двадцатипяти тысячной «кофейной армии», которая толкалась по всем «притонам» города, и от всех частей вновь сформированных и старых, прибывших в Одессу. — в

распоряжении полковника Стесселя, «начальника обороны», оказалось человек триста, считая с нами.

Трескотня усиливалась. Стессель приказал сделать разведку по Ришельевской и Пушкинской. Я пошел с несколькими офицерами и молодежью по Пушкинской. Развернулись в цепь. Мальчики несколько путали, но держались смело. С Дерибасовской стали долетать пули. Тут поднялся крик:

— Из окон стреляют

Я приказал им укрыться и стал присматриваться. [57]

У окон действительно появились какие-то дымки — в верхних этажах. Я начал соображать: почему дымки при бездымном порохе? И почему дымки там, где окна закрыты? И скоро понял, в чем дело.

Эти дымки производили пули, ударявшиеся о штукатурку. По Дерибасовской из-за горки кто-то палил. Попадая в дома под острыми углами, пули рикошетировали, рождая эти желто-серые дымочки из пыли известкового камня. Ларчик открывался просто, а меж тем, сколько раз в гражданской войне оба противника обвиняли мирное население в стрельбе из окон. Это в некоторых случаях, конечно, бывало, но по большей части это были, вероятно, только «штукатурные» дымки.

Мы не успели «вступить в бой», как пришло приказание оттянуться.

Вернувшись к Ланжероновскому спуску, мы увидели, что уже никого нет.

«Главные силы» отступили в порт.

На что собственно рассчитывали, мы хорошенько, не знали: должно быть, на посадку на парходы. Словом, мы отошли вместе с прочими.

\* \* \*

В порту была каша. Куда-то тянулись части, повозки, отдельные люди, публика в нелепой смеси имен и лиц, племен, наречий, состояний.

Где-то, кого-то, куда-то, почему-то не пускали юнкера.

Потом пустили.

В общем, мы очутились на том молу, который ведет к маяку. Другими словами, больше деваться было некуда: с трех сторон вода, с четвертой мятущая каша людей, повозок, лошадей, орудий, броневиков, автомобилей.

Мы расположились чего-то ждать около каменных сараев. Так выжидательно бессмысленно продолжалось некоторое время. Очевидно столько времени, сколько большевикам понадобилось, чтобы установить пулеметы к Александровском парке и вообще на высотах, окружающих порт. Мы поняли, что это сделано, когда, они стали [58] обстреливать нас. Люди бросились за каменные сараи. Какой-то броневик поднял трескотню с нашей стороны. Эта наша трескотня была в высшей степени неприятная: сознаюсь, мои нервы не созданы для такого шума. Большевики стреляли плохо. Они

могли бы, выражаясь по старозаветному, «залить нас свинцом», но в общем ранили несколько человек. Однако, этого было совершенно достаточно, чтобы все пароходы «драпанули в два счета» в море.

В это время среди горсточки людей, дошедших до последнего предела и жавшихся к каменным сараям на молу, родилось, наконец, то, чего столько времени ожидали, — инстинкт сопротивления.

Вдруг вырвались какие-то люди, насколько помню, это были даже не офицеры, а солдаты-драгуны. Они, неистово жестикулируя, стали кричать, яростно кого-то упрекая:

— Ну что же, господа! Еще долго так будете? Куда еще? Море кругом! Дальше не пойдете, нет! Так что, вот так и пропадем? Пойдем, трам-тарарам, выбьем их, трам-тарарам, с их пулеметами к трам-тарарамной матери!.. Идем!!

Хотя эта речь была брошена к толпе, почти наполовину состоявшей из женщин, детей и никчемников, однако, она произвела впечатление. Была подана мысль — пробиться. Был найден исход. Первоначально ругнулись, по обычаю, жестко друг с другом. Помню, я ругал какого-то офицера, чтобы он не расстраивал частей и чтобы действовали по какому-нибудь плану... Но все же эта вспышка энергии произвела, желаемое действие, и штаб зашевелился. Получено было приказание нашему «отряду особого назначения» выгнать всех, способных носить оружие, из-под сараев для атаки высот.

Я пошел «выгонять». Это было дело скучное и противное. Приходилось торговаться и спорить с офицерами всяких чинов, утверждавшими, что они «больны», или что-нибудь в этом роде.

\* \* \*

Скоро мне надоели эти обязанности «особого назначения», и вместе с теми, кого удалось вытащить, я двинулся по молу по направлению высот. [59]

По дороге к нам присоединялись еще какие-то люди, а во главе всех очутился полковник Мамонтов. Он неистово кого-то ругал и показывал кулак Одессе. Удивительно, что это не было смешно, а, наоборот, производило впечатление чего-то подбадривающего.

Большевистские пулеметы в это время замолчали, точно испугались того решительного вида, с которым наша горсточка быстро двигалась по молу. На, самом деле это было не так. Драгуны, побежавшие раньше нас, уже были на высотах — большевики отступили еще перед ними. Но там что-то еще происходило, потому что навстречу нам бежали люди, которые неистово нас торопили, требуя помощи. Мы пустились бегом и стали подниматься по какой-то лестнице. Я помню, что у меня была только одна мысль — не задохнуться к концу ступеней...

Наверху, в парке, среди его редких деревьев двигались какие-то цепи, по-видимому, без всякого руководства. Я со своей горсточкой взял почему-то вправо, но мог с тем же успехом взять и влево. Мы прошли парк, при чем нас все время уверяли, что большевики «идут», но увидеть их я никак не мог. Таким образом, мы вышли на Маразлиевскую, с ее большими домами и шикарными подъездами. Из какой-то поперечной улицы будто бы стреляли. По крайней мере, на углу столпилась горсточка наших и не решалась перейти улицу. Кто-то упорно утверждал, что они засели в таких-то окнах и оттуда палят. Это всегда бывает в таких случаях.

Основное правило — не верить очевидцам в бою, ибо людям мерещится бог знает что. На самом деле никого в переулке не оказалось, и когда это стало ясным, все двинулись гурьбой за нами. Однако еще через поворот, наконец, мы «вошли в соприкосновение с противником». Оттуда действительно постреливали. В это время около меня образовалась горсточка людей, которые почти все были мне незнакомы, но почему-то исполняли мои приказания. Я поставил одного из них на самом углу, а остальных спрятал вдоль стенки. Этому одному передавали заряженные винтовки, и он открыл пальбу. С колена, спокойно, на мушку. Это возымело действие. Какие-то черные фигуры, которые копошились через [60] несколько кварталов, побежали и исчезли в боковых улицах.

Мы двинулись дальше гуськом, под стенами. Доходя до углов, осматривались вправо и влево и двигались дальше. Несколько трупов оказалось на тротуарах...

Прошли еще несколько улиц. Постреляли еще. Меня начало брать сомнение, не стреляем ли мы в прохожих. За газетным тамбурином, через два квартала, ютилась кучка людей. Я начинал думать, что это не большевики, а случайные прохожие, которых зажали — ни туда, ни сюда. Я приказал прекратить пальбу. Но какой-то пришедший в азарт продолжал расстреливать тамбурин. Взглянув ему в лицо, я увидел, что это «восточный человек». Я снова приказал ему перестать. Он не послушался: черно-масляные восточные глазки горели неистово; он был в трансе. Я вынул револьвер. Это привело его в чувство; он заявил мне, что он офицер, адъютант такого-то полковника, но стал слушаться.

Вперед больше не приходилось идти. Мы потеряли связь со штабом, планы которого были мне совершенно неизвестны. Но, в общем, я думал, что взять весь город не входит в нашу задачу, а достаточно освободить порт от обстрела. Кроме того, нас могли обойти. Мы стали отходить. По дороге поймали какого-то мальчишку лет двадцати, который сказал, что он «не жид», но на требование «восточного человека» «перекреститься» — перекрестился неправильно. И я опять должен был употребить угрозу, чтобы этого еврейчика отпустили, ибо восточный адъютант был совершенно убежден, что это большевик, только что бросивший винтовку, тогда как для меня было совершенно ясно, что вздор.

На Маразлиевской мы встретили еще другие группки. Всем страшно хотелось пить. Какие-то дамы поили нас водой, но с большой опаской, боясь мести большевиков.

\* \* \*

Пришло приказание оттянуться на гребень Александровского парка и держать его. Мы отошли, заняв позицию неподалеку от Александровской колонны. [61]

Я пошел посмотреть, что делается в парке. Сверху все было видно. Все пароходы ушли из порта. На молах копошились люди и обозы. Как никак, мы чувствовали себя победителями, ибо заняли вершину и защитили порт, где у каждого из нас были близкие и родные.

Ужасно хотелось есть. И вдруг, как бывает в сказках, появились добрые феи. Это были три молоденькие барышни-мещаночки, путешествовавшие по гребню с огромным чайником и с белым хлебом. Мы сначала даже не поняли, что они вышли специально кормить нас. Но это было так. Я сказал им:

— Вы очень рискуете.



На что они ответили:

— Умирать один раз... И ничего нам не будет...

Этот чай был замечательно вкусным. Уже не в первый раз я делал наблюдение, что средний слой гораздо более отзывчив и смелее, чем высший. То-то большевики и боятся больше «мелких буржуев», чем крупных.

Так, в общем, дело дотянулось до вечера. Я очень беспокоился, что нигде не вижу своих сыновей. Становилось холодно. Мы тщетно разводили какие-то костры, проявляя при этом обычную интеллигентскую никчемность.

Через долгое томительное время пришло сообщение из штаба, что, если до десяти часов вечера нас не заберут на пароходы, мы выйдем из города в направлении па Румынию. Вместе с тем стало известно, что полковнику Стесселю лично было неоднократно предложено сесть на пароход, на что он ответил:

— Что, вы меня подлецом считаете!..

Это произвело хорошее впечатление.

До десяти часов еще было время, почему я решил обойти порт. Меня беспокоила баржа, где было столько моих друзей. Я знал, что она отойти не могла, и думал вытащить их и взять в отряд. В темноте мы долго бродили по молам. В одном месте, где было темно и пусто, мы слышали какие-то стоны.

— Кто это?

— Помогите... Замерзаем...

— Кто вы? [62]

— Мы жены офицеров. Я еще ничего... Мама совсем замерзла...

Это были две женщины. Они лежали у стенки, на молу.

— Помогите... Нас бросили...

Мы с трудом подняли их и повели. Куда — мы сами не знали хорошенько. На счастье мы наткнулись на какую-то большую толпу, которая в темноте рвалась к какому-то только что пришвартованному судну. Я понял, что это одно «специальное» судно, о котором я уже что-то слышал. Покрывая крики и шум, с судна неистово вопил голос, показавшийся мне знакомым:

— Поручик Б.! Поручик Б.!

Я понял. Это была компания... словом, теплая компания... Та самая, что «угробила» полковника Кирпичникова... Они и здесь проявили свои качества, захватив судно в свое распоряжение. Но на этот раз, — fiat justitia — они делали благое дело: принимали на борт кроме своей «шпаны», — женщин, больных и раненых. Английские солдаты составили цепь и пропускали по указанию. Но в общем был кавардак. Толпа напирала и жаловалась на все голоса в темноте. Нам удалось протиснуть замерзших женщин. Тут же мы увидели

несколько человек близких друзей, офицеров, шатающихся после всяких тифов, и воспалений. Они тоже пробивались на пароход. Ужасно было оставить их такими беспомощными и слабыми, но немыслимо взять их в поход. Мы простились тяжело. Некоторых из них я видел в последний раз. Не выдержали дальнейшего.

Баржи я не нашел.

\* \* \*

Около десяти часов мы тронулись. Наш «отряд особого назначения» вошел в колонну полковника Стесселя. Не пойму хорошенько, откуда и как образовался колоссальный обоз. Тут была и артиллерия, и броневики, и автомобили, и невероятное количество повозок. Все это сначала никак не могло найти своего места, шло не по той дороге, поворачивало обратно, при чем автомобили неистово рычали, слепили глаза, повозки приходили в [63] беспорядок; словом, происходил обычный в этих случаях кавардак... Я не могу сказать, чтобы настроение было жуткое или подавленное. Наоборот, как будто был найден какой-то исход. В воздухе было морозно, но мягко. Меня лично очень беспокоила мысль о семье, которой я нигде не находил.

Мы стали подниматься бесконечным обозом по Военному Спуску. Около моста я вдруг увидел характерную фигуру старшего сына Ляли (имя не очень подходящее для «юнкера флота» восемнадцати лет, но что же я поделаю, если его так все называют «от века»). Он стоял с винтовкой в своей знаменитой папаше «халды-балды», которая придавала ему вид османлиса. Оказалось, что он сторожит меня. Тут же оказались и остальные: другой сын, жена, племянник — Филя Могилевский. Все были в бою, все были живы, что и требовалось. Они были в какой-то вновь образовавшейся роте полковника Н. Н. Рота стояла тут же, у парашета. Они мне рассказали все, как было.

— Страшно интересно... Полковник, правда, симпатичнейший человек...

Ляля моментально производит людей в «симпатичнейшие» и в свои «личные друзья» — счастливое свойство молодости. Димка, младший, более замкнутый и питается переживаниями старшего. В общем, первый бой, в котором он участвовал, произвел на него самое лучшее впечатление. Жена рассказывает о том, как перевязывала какого-то большевика в какой-то чайной. Филя дошел до самого собора. Странно видеть его сугубо штатскую фигуру с винтовкой. Он как-то мало понимает, что с ним происходит, какой-то рассеянный. Пуля оцарапала ему руку.

Пошли.

По-видимому, большевики были основательно отжаты. Наше отступление решительно никем не было потревожено. Наш отряд шел в арьергарде, последним. В арьергарде отряда шли мы вдвоем с Лялей.

Было совершенно тихо. Улицы были абсолютно пусты, но и не очень темны. Кое-где что-то горело — не то фонари, не то окна. Мы двигались шагов на сто позади [64] колонны, в качестве дозора. Все было мирно. Единственным происшествием была кем-то брошенная повозка. В ней мешок сахара рафинада. Это было страшно приятно. Удивительно, как сахар поддерживает расположение духа. Ляля набил полные карманы, перемешав его с патронами, которыми он всегда нагружен. Он держался молодцом, что меня удивляло, так как он был болен — температура поднялась. Обычный припадок малярии, имеющей обыкновение присасываться к нему во всяких подходящих и неподходящих случаях.

Постепенно колонна вытянулась за город, и пошли бесконечные «фонтаны». Утомление целого дня, к тому же без пищи, сказывалось. Но, в общем, все держались. Держались и дамы, которых было много в колонне. Бодро двигалась маленькая Оля, напоминая Фрикетту из романов Буссенара. На какой-то «станции», под каким-то забором. Ляля свалился. Я положил его как можно ниже головой, и обморок прошел. Боясь, что причитания матери его расслабят, я взял его под руку, и он пошел бодро. К счастью, мы натолкнулись на какое-то учреждение, — какая-то больница, — где, несмотря на поздний час (два или три часа ночи), почему-то давали чай. Комната набилась народом. Откровенно говоря, это было приятно. Сестры очень заботились, чтобы не стащили кружек, что, по-видимому, было в моде. Тут было тепло, силы восстановились.

Когда мы вышли, мы вдруг заметили, как стало холодно, и что снег уже запорошил дорогу. Пошли. Шли до рассвета. Шли часть следующего дня. Пришли в какую-то немецкую колонию, где назначен был отдых. Разместились в школе. Отдыхали на партах, закусывали хлебом и салом. Приходили какие-то немцы-колонисты, что-то обещали, о чем-то совещались, но ничего не сделали. В три часа вышли опять.

Спускаясь с пригорка, почему-то пришли в хорошее расположение духа. Запели. [65]

Взвейтесь, соколы, орлами . . .

Удивительно, как эти песни действуют. Физиологическое действие музыки требует более вдумчивого и тщательного изучения. Повеселели, и кстати, ибо идти было трудно. В особенности трудно было дамам с их неприспособленной обувью.

К ночи пришли в колонию, где было недурно. Долго выбирали свободную хату, где бы не было тифа. Поели и крепко заснули.

На следующий день с утра поход возобновился. В следующем селе было некоторое развлечение. Над нами разорвалось несколько шрапнелей, и наш броневик «Россия» открыл ответную стрельбу. Куда, и в чем было дело, — кажется никто не знал. Во всяком случае, мы пошли дальше. К вечеру добрались до каких-то хуторов, где втиснулись в какую-то хатку обогреться. Шли дальше. Через некоторое время на горизонте очень красиво засверкали огни. Этот город казался совершенно сказочным, так, как рисуют на картинках. Мы понимали, что это Овидиополь. Но когда ночью вошли, наконец, в этот последний, крайне замерзшие и усталые, то сказочный город был все так же далеко, где-то на краю земли. На самом деле он был не на краю земли, а на краю воды, или, вернее, льда, ибо это был Аккерман. Между ним и нами был замерзший лиман девять верст шириной.

Какая мука искать квартиры глухой ночью, когда человек уже на пределе усталости и замерзания. Но мы искали. Я разослал самых энергичных своих молодых друзей в разные стороны. Долго ничего не удавалось, но, наконец, поручик Л. явился с радостной вестью, что квартира найдена.

\* \* \*

Удивительно, как люди нелепо эгоистичны. В хатке было трое. Они заявили, что никого не могут впустить, потому что их собственно не трое, а пятнадцать. На это изведенный поручик Л. сказал:

— Я подожду полчаса здесь. И если те двенадцать не придут, то я вас расстреляю... [66]

Это фантастическое заявление имело то следствие, что и эти трое куда-то скрылись. Разумеется, никаких двенадцати не оказалось.

О, род людской!..

\* \* \*

Льду почти столько, сколько хватает глаз. Почти — потому, что на той стороне замерзшего лимана виден город. Это — Аккерман.

По этому льду в одну колонну движется бесконечный обоз. Туда, к Аккерману, к городу спасения, румынскому городу Аккерману, куда не придут большевики. Бесконечный обоз движется в порядке. Задолго до назначенного времени выступили все части, проявив редкую аккуратность.

Теперь они идут осторожно, соблюдая дистанцию, чтобы не провалился лед, почти торжественно. Идут с белыми флагами, которые несут, как знамена.

Печальные знамена... Здесь на льду — часть одесской отрядомании, — то, что от нее осталось. Главного отряда, который должен был быть полком, того отряда, где неистово пахло спиртом, «под чьим-то высоким покровительством», — этого нет. Он «не состоялся». Нет и «священного отряда» митрополита Платона. Не видно никаких следов немецких колонистов. Ни Кирсты ни Струка.

Зато торжественно выступает «Союз Возрождения России», тут же отважное начинание и отряд экс-редактора «Киевлянина» и другие. Кроме того, какие-то отдельные части, прибывшие сюда, артиллерийские парки и дивизионы, без пушек, но с подводами, с сахаром, учреждения, уездная полиция и еще разные. Затем просто гражданские беженцы. Но главным образом ничем не объяснимые подводы... Подводы, очевидно, обладают свойством саморазмножения. Голова обоза уже прошла пять верст, а хвост еще на берегу.

Я смотрю на этот почти величественный «исход», и в ушах у меня неотвязно звучит знакомая фраза:

Das war ein Drap...

## Стесселиада

Почему все эти люди и повозки были убеждены, что их примут на той стороне с распростертыми объятиями? Потому, очевидно, что был отдан точный и ясный приказ выступить на лед в восемь часов утра. Но несомненно также и то, что на шестой версте на льду стоял столик. У столика сидели румынские офицеры, за столиком стояли румынские солдаты. И совершенно достоверно, что этот столик приказал всем этим людям и повозкам возвращаться обратно. Румыны не пустили никого.

Впрочем, нет. Пропустили «польских подданных». В числе их оказался комендант города Одессы, полковник Миглевский, очень мило семенивший вдоль обоза в весьма приличном штатском платье и с изящным чемоданчиком в руках.

Впереди всего шествия шли маленькие кадеты. Они начинались с десяти лет. Жалко было смотреть на эту детвору, замерзавшую на льду.

И начался «Анабазис». Великое отступление от Аккермана. Надо, впрочем, сказать, что это торжественное шествие с белыми флагами имело в себе нечто настолько унижительное, что обратный путь был как-то веселее. Остаток гордости, впоследствии вытравленный лишениями, еще таился тогда в некоторых сердцах.

Совершенно неинтересно, что на другой день было проделано то же самое и с тем же результатом. Кажется, было еще холоднее на льду. Было меньше порядка и больше усталости.

\* \* \*

У полковника Стесселя. Совещание командиров частей. Полковник Стессель говорит:

— Во-первых, к черту эти повозки... О ними пропадем. [68]

— Совершенно правильно, господин полковник. Оставить только самое необходимое, — говорит один из командиров частей.

— Да ведь у нас, господин полковник, ничего нет. Пусть и другие бросят. — говорит другой.

— Все бросим, — продолжает Стессель. — Это, во-первых. Во-вторых, — переформироваться. Довольно балагана. Отряды называются... На самом деле роты нет. Согласны, господа? Вот вы — первая рота, вы — вторая... Все согласны.

— Затем, вот мой план: пробиться. Раз румыны не пускают, надо пробиваться на север, вернее, на северо-запад, вдоль Днестра... на соединение с Бредовым, а если нет, — в Польшу. Я уверен, что если захотим, то пройдем. Вы согласны, господа?

Мы согласны.

Нам даются сутки на приведение себя в порядок, главным образом, на уничтожение подвод.

Легче всего это было сделать моему отряду. У нас была одна подвода, которая, несмотря на все наши усилия, не размножалась.

Рассвет. На пригорке начальник штаба Мамонтов. Делает как бы смотр в том смысле, сколько изничтожили подвод.

Я остановился около Мамонтова.

Печально. Эти подводы бессмертны. На мой взгляд, число их не уменьшилось, а увеличилось. Бесконечной цепью они продвигаются в полутемноте. Ни конца им, ни края. Между ними редко, редко проходит часть. Жалкие горсточки. А за ними все то же.

Так было, так будет.

\* \* \*

Солнце заходит. Шли целый день. В общем благополучно. Откуда-то издалека большевики обстреляли из трехдюймовых, но обошлось без потерь. [69]

Пора отдохнуть. Удивительно, как держатся все эти женщины, дети, которых много. Они не теряют даже хорошего расположения духа. А маленькая Оля даже совсем нарядна. Детское лицо остается свежим среди осунувшихся взрослых и веселит глаз. Но страшно смотреть на ротмистра Ч. Он только что встал с постели после сыпного тифа. Идет, пошатываясь, то вправо, то влево, но твердо держит свою кавалерийскую саблю. Глаза опущены, на изможденном лице какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто бы он решает трудную задачу. Он идет напряжением воли. Другой бы не смог идти.

Немецкая колония. Какие они характерные, тоску наводящие необычайной одинаковостью всех домов. Богатые дома, каменные, массивные, с явным отпечатком вековой традиции. Если бы наши крестьяне так жили! Но, боже мой, — отчего от них такая скука?

Вздор, сентиментализм. Остатки вековой потребности «садочка, ставочка, вишеньки»...

Ой сказала мени маты, тай приказывала...  
Штоб я хлопцев до садочку не приваживала...

Тут этого не услышишь.

Ночь. Опять идем. Темно. Впереди идет какой-то автомобиль с прожектором, который часто останавливается, берет куда-то вбок, что-то ищет. Эти его похождения в темноте, с этим бродящим лучом, вызывают какое-то жуткое чувство. Что ему надо? Чего он бродит? Когда он останавливается, — вся колонна останавливается. Усталость уже очень большая. Как только станут, люди ложатся там, где стоят. Прямо на дорогу. Я помещаю наших дам между двумя ротами, ставшими после «переформирования», слава богу, взводами. Если нам трудно, то каково им? Но они держатся. Ложатся на дорогу, как и мы, тотчас же засыпая. Я временами отыскиваю глазами белый полушубок ротмистра Ч. Боюсь, что он не встанет. [70]

Чудовище там впереди заревело, поводило своим страшным взглядом и пошло.

— Встать! Шагом марш...

И все поднимаются. Мальчики, женщины, дети.

\* \* \*

Каша. Обозы стоят. Образовалась какая-то толпа. Она всего гуще у высокого, тонкого здания, которое неясным черным пальцем торчит в небе. Это водокачка, которая снабжает водой Одессу.

Что такое происходит?

Пролезаю между перепутавшимися возами, переступая через спящих вповалку людей. Я пробиваюсь к митингу, что около башни.

Нет, это не митинг, это толпа, окружающая и жадно прислушивающаяся к «совещанию» генералов и полковников.

Прижавшись к стенке башни, при свете какого-то огарка, он рассматривают карту. Что произошло?

Прислушавшись, я понимаю деревня, где засели большевики. Надо их выбить. Часть совещающихся за то, чтобы выбить.

Но генерал Васильев, командующий всей колонной, не решается. Кто-то возражает, по-видимому, после чего генерал Васильев впадает в обиду и хочет совершить отречение.

— Если я, быть может, не умею руководить» или не угоден, то могу отказаться. И прошу выбрать вместо меня начальника.

Его убеждают, что, наоборот, он очень хорош. К такому поучительному разговору жадно прислушивается окружающая толпа. Обычная картина. Уступательные книксены там, где надо взять на себя ответственность и приказывать. Наконец, принимают решение.

Двигаться куда-то без дорог, прямо через поля, по компасу, чтобы обойти деревню. Печальная мысль. [71]

Расходятся. Обозы начинают распутываться и устремляются двумя параллельными колоннами в поля, покрытые снегом.

Рассвет. Привал. Ясно, что мы сбились с направления. Какие-то обещанные хутора, которые должны были быть недалеко от башни, словно заколдованные. Шли всю ночь, — никуда не пришли. Бесконечная белая степь. Все изнемогли.

Наша семья собралась вместе. Лежим на снегу. Нас тут восемь человек родственников. Сильно устали. Мучает жажда, кроме голода. В виде лакомства, преподносят друг другу кусочки чистого снега. Лица очень осунулись. У Ляли начинают становиться глаза страдающей газели. У него опять припадок малярии, хотя его и пичкают хиной. Но, в общем, держится.

Добрались до каких-то хуторов. Домик. Боже, какая теснота. Ни сесть ни стать. Но хоть тепло... Среди этой «бисовой тесноты» Ната, мать Оли, самоотверженно печет какие-то оладьи. Голодные люди смотрят на них жадными глазами и получают по мере того, как они зажариваются. Смерд дикий. Но хоть малый отдых.

Впрочем, не все отдыхают. Часть послали в сторожевое охранение, ибо где-то поблизости большевики.

Иду в штаб, к полковнику Стесселю. Он спит, совершенно выбившийся из сил. Я рад, что Раиса Васильевна Стессель приютила Олю. Она уютно примостилась где-то в уголке, кажется, ее тут немножко подкармливают. Удивительно, что дети выносят эти невзгоды легче, чем взрослые.

За окном полупомешанный есаул А. стреляет из револьвера кур. Он сегодня расстрелял какого-то старика. За что, про что — неизвестно. Так, потому что азиатские руки чешутся убивать. Если есть — убивают стариков. Если нет — убивают кур.

Узнаю, что отдых будет короткий. Ночью опять пойдем. [72]

Опять ночь. Опять поход. Как мы держимся? Идем уже двое суток. Ели что-то неуловимое.

Двигаемся все-таки. Все та же картина. На остановках люди ложатся в снег и моментально засыпают. Холодно. Но в этих суровых скитаниях проявляется характер. Твердо держатся несколько офицеров, на которых все это не производит влияния. Конечно, им холодно и они устали, но это не отражается на их расположении. Алеша Т. все так же жизнерадостен и так же мил. Я назначил его командиром роты. Его звонкий молодой голос иногда приятно звучит в темноте.

Владимир Германович непоколебим. Надо сказать, что он и был настоящей душой и созидателем нашего отряда. Человек, полный неукротимой энергии, он променял свою муниципальную деятельность на газетную и почти создал четыре газеты — «Голос Киева» и три «России» — екатеринодарскую, одесскую и курскую. Теперь же, после сдачи Киева, он променял перо на винтовку и вот, имея полсотни лет за плечами, бродит по дорогам. Но его не сломишь. Он все так же оптимистично настроен, он в восторге от нашего отряда. И, действительно, эти мальчишки хорошо держатся: ни жалоб, ни недовольства... И Вл. Г. находит, что все к лучшему. Правда, все его немножко ругают, потому что хотят есть, а он обязан кормить, а кормить трудно...

Ляля больше сгорбился и сильнее тянет свои декадентские ноги. Но по-прежнему внезапно начинает хохотать без всякой причины, и так заразительно, что все хохочет кругом. Алеша называет его за это *plusquamperfectum*. Это потому, что он вспоминает вдруг что-то смешное, что случилось, бог знает когда, и закатывается без всякого предупреждения.

Я чувствую твердую опору в поручике Л. Он самую малость сноб. В сущности говоря, ему гораздо более нравится следующее: взять ванну, сесть за стол, накрытый чистой скатертью; выпив кофе, он покурил бы и [73] написал бы небольшую статью; потом бы сел за рояль и сыграл *valse triste* Сибелиуса.

Но за неимением всего этого, он сохраняет только неизменную любезность ко всем и ласковость к некоторым. И этим держится. Это защитный цвет своего рода, выработанный «драпом».

\* \* \*

«Кошмарическая» корчма. Я не знаю, сколько сот людей в нее втиснулось. Часа два провели мы в ней, засыпая сидя, стоя, кто, как может. Состояние полубессознательное. Но после ледяного холода на дороге — это блаженство. Курят до сумасшествия. Дышать нечем. Тем скорее впадаешь в летаргию. По привычке окидываешь взглядом — все ли тут, не пропал ли кто-нибудь. И погружаешься в небытие.

Приказывают выйти. Никто не двигается. Вторично, и в третий раз приказывают, но ничего не помогает. Наконец, угрожают, что все уже прошли и ушли, обоз уже черт знает где. Начинают выползать. Надо идти.

Опять день, опять солнце, опять идем. Многие слабеют. Жена упорно держится, но я вижу, что приходит конец ее силам. Я отвожу ее в сторону, помогаю ей переобуть израненные ноги. Ужасно жалко смотреть, как она одевает эти мужские казенные башмаки, которые подарил ей какой-то из наших гимназистов. Переобувшись, она



упрямится еще некоторое время и потом соглашается сделать то, что надо было сделать с самого начала. Я устраиваю ее на какую-то подводу.

Снова идем. Бесконечная степь, бесконечный обоз. Когда же мы, наконец, остановимся? Надо хоть где-нибудь хоть что-нибудь съесть и отдохнуть несколько часов.

Ну вот, кажется, какое-то село — немецкая колония. Обоз втянулся. По-видимому, здесь будет отдых. Я иду [74] селом, разыскиваю своих, от которых отстал. Большое село, массивные немецкие дома с треугольными фасадами. Тут, наверное, масса белого хлеба. И, наверное, можно, что-нибудь сварить. И, наверное, наши отыскали уже хорошее, теплое, просторное помещение. Квартирьером послан поручик Л., который немножко любит комфорт. Как знать — может быть, в какой-нибудь культурной немецкой семье отыщется и рояль. Тогда будет и *valse triste* Сибелиуса.

Так-так-так-так-так-так-так-так, вот тебе и вальс Сибелиуса!..

Кто-то «занимается» по нас пулеметом — вдоль улицы. Неужели большевики в конце села? Я не успел сообразить этого, как шрапнель разорвалась над домом, где поместился штаб. В ту же минуту высыпали оттуда и стали кричать, сзывать всех, кто под рукой. Я бросился через какие-то ворота в поле. Со мной несколько человек, в том числе Алеша. С других сторон тоже бежали люди. Сейчас же на огородах образовалась беспорядочная цепь.

Это было нечто скифское. Все вопили, стреляли куда-то в пространство. Никаких организованных звеньев не было. Вообще, ничего не было. Ни командиров ни подчиненных. Все командовали, т. е. все вопили и, в общем, стихийно двигались вперед. Кажется, нас обстреливали, даже, наверное. Несколько пулеметов трещало. Но это не производило никакого впечатления. Бежали, останавливались. Ложились, опять бежали. Наконец, отошли довольно далеко от деревни. Кто-то и к нам притащил пулемет. В это время я увидел Лялю. Он был правее меня, видимо, в большом одушевлении. Османлиская папаха, худой, сгорбленный, волочащиеся ноги. Скоро мы оказались рядом. Я почувствовал, что он в каком-то особом состоянии. На, его лице, всегда немножко напоминавшем девочку, выражение какого-то забавного фанфаронства. В это время неприятельский пулемет нас нащупывает. Все ложатся. Но Ляля набит традициями. Он торчит османлиской кривулькой во весь рост и думает, что это совершенно необходимо. Я приказываю ему лечь, что он исполняет с видом «если вам угодно, то пожалуйста». [75]

С нашей стороны беспорядочная пальба не прекращается. Но она достигает апогея, когда появляется большевистская кавалерия на горизонте. Некоторые теряют головы. Престарелые полковники командуют:

— Прицел три тысячи!.. По наступающей кавалерии!..

И дают залпы на три тысячи шагов. По наступающей кавалерии, которая вовсе не наступает, по-моему, а движется шагом. Я понимаю, что это бессмыслица, у нас мало патронов, но ничего не могу сделать в этом дьявольском шуме, — голоса не хватает. Подзываю Алешу, приказываю ему взять командование над ближайшими, прекратить пальбу и сохранить патроны на случай действительной атаки кавалерии. Его металлический голос начинает звенеть в этом смысле. Кто-то протестует, возмущается, кричит, что кавалерия нас обходит.

Обходящая кавалерия на самом деле оказывается нашей кавалерией. Она выезжает справа, имея, по-видимому, желание атаковать неприятельскую. Но почему-то это не происходит. В это время за нашими спинами начинают работать наши орудия. Неприятельская кавалерия явственно отходит, вытягивается гуськом на дороге вдоль фронта. Удачная шрапнель заставляет их прибавить ходу. Они уходят вскачь.

Мы победили. В это время справа что-то происходит. Там начинают кричать ура, и потом это ура перекачивается по всем цепям, доходит до нас, мы тоже кричим ура и перебрасываем его следующим цепям влево. Затем приходит и объяснение. Начальник штаба объявил, что мы вошли в соприкосновение с войсками ген. Бредова. Хотя поиска генерала Бредова были в это время не ближе ста верст, но все этому поверили.

Итак, победа. Но, боже, как хочется есть. В это время появляется спаситель — поручик Л., нагруженный белым, вкусным, чудным хлебом.

\* \* \*

И все это повторилось снова.

Через два часа большевики опять напали на нас. И мы снова защищались. Те же цепи, те же крики, тот же беспорядок. Но на этот раз [76] было хуже. Сильно крыли гранатами. Сверкнет ярким желтым пламенем, а затем густой взрыв дыма. Граната имеет в себе что-то оперное. Так проваливается Мефистофель сквозь землю. Пулеметы хуже. Когда они начинают насвистывать в воздухе свой узор, тогда гораздо опаснее. Знаешь, что они могут сейчас же вычертить кровавую надпись по земле, т. е. по нас.

Трещающую песню поет пулемет  
И строчки кровавые пишет;  
Кто грамоту смерти нежданно прочтет —  
Тот песни уж больше не слышит...

Я накричал на Димку, чтобы он не поднимал головы, когда «строчки кровавые пишут». Моя группа, т. е. те, кто меня слушались, была налево от меня. На том конце был поручик Л. Я помню его внимательное лицо, часто поворачивающееся ко мне. Он делал то же, что и я, и тогда я почувствовал, что «ячейка» взята в невод и повинуется. Рядом со мной был Димка. На него гранаты как будто производили впечатление своим шумом, но опасности пулеметов он не понимал. Он перебежал за мной, держа в руках мой карабин, от которого я рад был избавиться, — терпеть не могу этих вещей в бою. За ним в штатском пальто и в барашковой шапке перебежала маленькая, худенькая фигурка. Это отец Оли, мирный податной инспектор.

Как странно... Когда мы были мальчиками, мы были очень близки. Затем долгие годы шли врозь. И вот пришлось на старости лет плечо о плечо перебегать под гранатами.

Дальше Владимир Германович, тоже в штатском. Перебегает с винтовкой в руках, ложится и опять перебегает. Думали ли когда-нибудь мирные киевляне, избиравшие его городским гласным, что, вместо мостовых и канализаций, он будет изучать преимущества гранат перед пулеметами...

Перебегая, мы сближались с цепями противника. Впереди меня был домик, брошенная хижина. Я знал, что надо добраться туда. Несколько перебежек, и мы с [77] Димкой под защитой. Тут удобно. Он заряжает мне карабин, а я из-за угла дома «беру на мушку».

Цепи сблизилась шагов на двести. Но чувствуется, что мы не сдадим. Я выпустил несколько обойм; когда они побежали. Мы скифски их преследовали, вопили, размахивали винтовками. Они поспешно отходили по почерневшим полям — снег стоял в этот день

Штаб. Совещание. Дело плохо. Противника отогнали, но патронов нет. Пальба на три тысячи шагов залпами сказала... Броневики «Россия», на котором наше единственное орудие, надо бросить — нет бензина. В сущности, мы безоружны. Идем вот уже несколько суток без отдыха, почти без пищи.

Решено пробиваться еще раз в Румынию, хотя бы силой. В значительной мере этот результат есть следствие роковой ошибки под водокачкой. Сколько мы потеряли времени и сил, шатаясь где-то по компасу без дорог. Быть может, если бы этого не было, мы бы успели уже пробиться....

\* \* \*

Но где же все наши? Иду искать. Уже ночь.

Улица невозможно черна. Несколько раз натыкаюсь на умирающую лошадь. Она тут валяется с утра. Кричим в темноту. Спрашиваем встречных. Хоть бы съесть что-нибудь... вот, кажется, свет в доме. Зашли. Неужели покормят? Да, собираются дать что-то...

\* \* \*

Нашли своих. Собрались с разных концов. Но Ляли нет. Алеша ранен. Поручик Р. убит. Еще несколько человек ранены в нашем отряде; остальные, слава богу, целы. Вообще же потери в этом бою насчитывают около четырехсот человек.

Из штаба приходит приказание бросить все вещи. В маленькой хате битком набито. Кошмар. Кто спит, обессиленный до конца, кто хлебает какой-то чай. У кого есть, [78] перерывают чемоданы, отыскивая что можно взять в руки. У большинства ничего нет. Это гораздо спокойнее.

Приходит полковник А. и сообщает зловещую новость. Открыт какой-то заговор. Хотят убить полковника Стесселя и на его место поставить какого-то другого полковника. Выступить через полчаса.

Но где Ляля?...

Захожу в каждую хату.

— Здесь юнкер такой-то?

И всюду один ответ после некоторого молчания:

— Такого нет...

И холодная рука тревоги сжимает сердце...

Вышли. Очень темно. Спускаемся куда-то вниз, очевидно, к реке. Вдруг мысль: «Да, мне сказали, что Алешу и других раненых вывезли. Но ведь это всегда говорят. А вывезли ли?».

Выскальзываю из дружеских рук, убеждающих, что вывезли. Возвращаюсь. Но очень устал. В темноте попадается верховой. Прицепляюсь к его стремени. Он тащит меня в горку, что уж значительное облегчение. Ищу долго, безуспешно, отчаиваясь и опять надеясь, и окончательно прихожу в отчаяние. Не могу найти. В деревне, как будто, и нет никого. Очевидно, все ушли. Ухожу и я.

На душе так скверно, как только может быть...

Ужасная ночь. Силы на исходе. Слава богу, удалось пристроить на подводу женщин, детей и ослабевших. Я еще иду. Я не особенно понимаю, как я это делаю. Все горы и горы. Я все иду по обочине дороги. Я ясно понимаю, что все меня обгоняют. Но, в конце концов, я оказываюсь впереди всех. Почему? Они останавливаются, а я нет. Они лежат на снегу каждый раз, когда обоз станет, а я боюсь лечь. Мне кажется, что я не встану. Минутами снег озаряется каким-то зеленоватым светом. Мне кажется, [79] что всходит луна. Но скоро я понимаю, что нет луны. а что это мгновениями я впадаю в забытие на ходу, и мне мерещится этот свет. Вот, наконец, голова обоза. Перекресток. Стали. Куда идти? Тут надо лечь. Это что? Экипаж, тесно окруженный кучкой люден, держащихся за крылья. На козлах полковник в лохматой танке. Кто-то говорит:

— Это раненую сестру везут... А я слышу, как из глубины экипажа знакомый бас ругается:

— Куда вас черт несет?.. Рессоры поломаете!..

Я понимаю, в чем дело. Это близкие к полковнику Стесселю офицеры охраняют его по случаю «заговора»... А он страшно зол на все это и потому ругается.

\* \* \*

Рассвет. Какая-то деревня. Здесь краткий отдых. Ищу, куда приткнуться со своими. Очень трудно. Все переполнено. С величайшим трудом что-то нахожу и прячу полузамерзших в хату. На перекрестке сталкиваюсь вдруг с поручиком Л.

— Я привез Алешу...

Слава богу. Он таки нашел его. Когда он узнал, что я ушел тогда за Алешей, он пошел за мной. Меня он не нашел, но он нашел Алешу, которого я не мог разыскать. И все было так, как это бывает... Меня уверяли, что «вывезли всех раненых»... Этому никогда не надо верить. И Алешу не вывезли... Он лежал вместе с другими ранеными в какой-то хате на самом краю села. Вокруг них беспомощно метался врач. Все ушли — что делать? Сами раненые не знали, что деревня оставлена... Три сестры, совершенно выбившиеся из сил, спали. Вот как было...

Поручику Л. удалось вместе с врачом где-то добыть несколько подвод. Они ловили брошенных бродячих лошадей, запрягали... С величайшим трудом вывезли эту хату.

Вывезли в Алешу...

Вот он. [80]

Подвода — на ней двое... Алеша и какой-то другой. Алеша — желтый — стонет. Другой не шевелится. Неужели?..

Да, умер...

Надо снять, прежде всего, этого незнакомого мертвеца... Похоронить? Но как?

Нет, просто положим в садике. Похоронят, может-быть, добрые люди.

— Алеша, больно вам?

— Больно... Это вы?.. Спасибо... Больно... Холодно... Холодно...

Надо внести его в хату. Согреть и перевязать. И потом... мы переложим его на рессорную площадку — у нас есть. А главное — доктор... быть может, нужна операция немедленно.

Разыскиваю доктора. Опрашиваю, прошу...

— Да я рад все сделать... Конечно, нужно операцию... и немедленно. У него контузия в спинной хребет. Но главное сейчас не это. Осколок в легком... Надо удалить немедленно. Но инструменты? Нет инструментов... Надо вынуть два ребра... Как без инструментов? .. Что я сделаю!

Вот где ужас...

Переносим Алешу. Трудно. Ему все так больно. А мы ослабели до такой степени; что падаем и сами. Сквозь калитку так трудно пронести.

Внесли. Хата полным полна. Все так замерзли и устали. Куда его положить, беднягу? На скамейку?

— Ах, больно... Пожалуйста, не надо... на пол лучше... Василий Витальевич... спасибо... Вам тяжело... не беспокойтесь... ах, больно... так... да... хорошо... спасибо...

Перевязывают. Крутом стеснились. Маленькие хозяйские дети смотрят со страхом и любопытством. Сестра делает свое дело внимательно, несмотря на предел утомления.

Сделано. Чаю теперь — хоть полстакана. Выпил. Ему легче немножко. Согрелся... перестал стонать... благодарит... [81]

Да, он все такой же... лицо у него желтое... он очень плох. Но благодарит. Все так же внимателен и ласково-тверд, как раньше, как всегда, как тогда, в походе... Как часто он вел меня, когда по «старчеству» своему я изнемогал. Он не такой, как почти все.

Это у него не внешнее, а в крови. Вот он умирает. И все тот же. Он значит... настоящий такой... это его настоящая природа. Он никогда себе не изменит... никогда... Да и когда уже? Уже — некогда...

Кругом стоят, сидят, лежат. Как все страшно устали. Засыпают сейчас же... Хотя на мгновение.

Почему я держусь? Не знаю: что-то меня держит изнутри.

Но где же Ляля? Убит? Где-то брошен раненый, как Алеша? Мать плачет тихонько, засыпает, опять плачет... Нет, я не верю. Найдется....

Но надо двигаться. Бедный Алеша, опять его надо мучить.

Переносим. Уложили на площадку, укрыли тепло... Здесь все же. будет ему легче.

— Спасибо. Василий Витальевич... спасибо, Вовка...

Неужели нельзя его спасти? Лицо все так же красиво, и выразительны правильные губы. Брови только свелись над закрытыми глазами. Но эта желтизна... восковое лицо.

Нет инструментов... из-за этого надо, чтобы он умер.

\* \* \*

— Ляля!..

Да, это был он. Худой, сгорбленный, — декадентская кривулька больше, чем когда-либо, но все с той же заражающей детской улыбкой.

— Где же ты был?.. Глупый!.. Отчего не нашел меня? Дайте ему что-нибудь... ел?

Ел... Ах, очень интересно!

Знаешь, полковник Н. — симпатичнейший человек и, кроме того, он — мой личный друг!..

— Уже?.. говори по порядку! [82]

Рассказывает. Он был вместе с Алешей сначала. Там было тяжело. Когда Алешу ранили гранатой, он бросился к нему. Сначала думал, что убило; лицо было в крови; он был в беспамятстве. Потом пришел в себя.

— И он, когда пришел в себя, увидел меня, сказал:

«Ляля, передайте Василию Витальевичу... что я умираю за Россию»... И потом дал мне портрет... один... Еще сказал... чтобы я передал и чтобы... Словом... он завещал мне... нам... Это «боевое завещание», правда?..

Да, это было «боевое завещание»... И это завещание... В жизни больше мистического, чем думают... Но это потом... Ляля рассказывает дальше:

— Потом я его относил...

— Куда?

— В деревню... Я очень беспокоился, где ты и Дима. Но нельзя было искать... Я опять вернулся...

— Куда?

— В цепь... Но уже никого не было из наших... Я подал в «Союз Возрождения». Там был один полковник... очень симпатичный... он мой личный друг.

— Где же вы были?..

— Там, в этой другой деревне... Мы их далеко загнали. Наконец, ночь уже... Знаешь, я там заснул... очень хорошо... два часа... и поел... Они были в том конце деревни, а мы в этом...

— Когда же вы вышли?

— Мы — поздно... Позже всех... только что пришли...

— Я так боялся, где ты...

Итак, он жив, Ляля... На этот раз...

Но в следующий?..

\* \* \*

Есть хочется до нестерпимости. Отчего ничего нельзя достать? Денег не берут. Мы с Владимиром Германовичем шарим по избам и, наконец, находим несколько фунтов кукурузной муки. Баба уступает ее за чашку какую-то, что нашлась у меня. Насыпаем в ладошку, и такая [83] «понюшка» уже блаженство. В сущности говоря, человек может есть удивительно мало. И все же днем легче.

И опять идем. Бесконечно идем. Даже непонятно, откуда берутся силы. Ведь вот ночью я шел почти в полубессознательном состоянии, а сейчас иду почти бодрый. Впрочем, так много значит, что Алешу не бросили и Ляля нашелся.

\* \* \*

Плавни. Что такое плавни? Это вот что. Очень много камыша, лозы и достаточно старых верб. Между этими растениями большие лужайки из льда. На этих лужайках мы.

Кто это мы? Собственно говоря, это движется колонна под командой генерала Васильева. У него помощник — еще какой-то генерал. Генералу Васильеву подчинены наш отряд, т. е. полковника Стесселя, «Союз Возрождения» и еще что-то. Отряд Стесселя состоит из превращенных в роты отрядов полковника Н., полковника Л., полковника А., т. е. моего, гвардейских сапер и еще чего-то. А в общем — одни обозы.

В этих плавнях мы чего-то ждем. Ждем долго. Развлечение состоит в том, что вода временами проступает сквозь лед и делает озера. Тогда, приходится, перебираться поближе к вербам.

Алеша лежит тихо. Но лицо его сильно пожелтело и становится восковым. Неужели он умрет? Я иногда подхожу и говорю с ним несколько слов. Он отвечает, как всегда, т. е. совсем не как всегда, потому что он умирает, но я ясно чувствую, что его сущность, душа его — та же.

Приходит приказание бросить все подводы. Мы готовы ко всему, но как же быть с Алешей? Я приказываю делать носилки. От нашей платформы отпиливают оглобли и

делают носилки из брезента. И это была ошибка. Конечно, надо исполнять приказания, но иногда, когда поторопишься...

Двинулись. Тропиночками, сквозь камыши выходят на Днестр. Алешу несут на носилках и выбиваются из сил. Зачем я приказал отпилить эти оглобли! Это [84] приказание бросить подводы было исполнено немногими. Обозы движутся и, хотя с трудом, соскальзывают по обрывистым берегам на лед реки.

\* \* \*

Итак, мы в Румынии, т. е. в Бесарабии. Перешли лед беспрепятственно. Румынской охраны нет или она ушла. Все какие-то сады, совершенно пустынные. В садах летние брошенные шалаши. Движемся, вышли на какую-то лужайку.

Что такое? Неужели по нас?!

Да, по-видимому. Пулеметы высвистывают мелодии над нашими головами, и пули начинают цокать в землю. Укрываемся в ложбине. Удивительно, что дамы совсем не боятся...

Очевидно, эти румыны таким способом заявляют нам: «не ходите дальше». Мы и не идем. Люди разбились по садам, пережидают. Обозы тоже где-то стали.

Я иду на разведку, т. е. по дороге, которая, по-видимому, идет в деревню. А деревня эта, очевидно, у подножия этих обрывистых гор, с которых нас и поливают из пулеметов. Меня нагоняет экипаж полковника Стесселя. Он приглашает меня сесть. Раиса Васильевна говорит мне несколько любезных слов. Мы едем для переговоров с румынами.

Домик в деревне. Румынские офицеры, с одной стороны, с другой — генерал Васильев, Стессель и еще кто-то...

Генерал Васильев говорит переводчику:

— Скажите им, что мы совершенно замерзли и умираем от голода... Что мы безоружны, потому что у нас нет патронов... Что мы просим оказать нам приют, ибо мы погибаем... И что я заявляю им, что если мы не будем приняты, то мне ничего больше не остается, как застрелиться тут же...

Румынские офицеры что-то отвечают. Это продолжается долго. Мы говорим жалкие слова, румыны отказывают, но, в конце концов, как будто соглашаются на то, чтобы [85] мы заняли нижнюю часть деревни до утра. Иду к своим. Уже в совершенной темноте привожу их в деревню, отыскиваем какие-то хатки...

Крохотная молдавская хатка. Человек тридцать. Умирающего Алешу устроили, как могли. Остальные вповалку. Почти все спят. Но хозяйева готовят у круглого низенького столика мамалыгу для нас. Когда это готово, я бужу всех, кого могу разбудить. Лялю и Димку добудился. Хочу поднять Олю. Спит так глубоко, что нет возможности. Я подымаю ее за руки, ставлю в вертикальное положение и трясу, что есть силы. Но бедная девочка не просыпается. Я выпускаю ее, и она бесчувственным телом сваливается на солому. Это сильнее всякого хлороформа.

Ужинаем при каганце. Мамалыга, кислые огурцы... Сумасшедшая роскошь...



Что сделать для Алеши? Ничего нельзя сделать. Он умирает оттого, что у него осколок гранаты в легких. Надо немедленно сделать операцию, при чем придется вынимать два ребра. А эту операцию нельзя сделать, потому что нет инструментов. Завтра будем упрашивать румын отвезти его в соседнее местечко, где есть больница. Но доживет ли он до утра?

Все уже спят. Многих так и не добудились. Хозяева сбились все на кровать. Там старуха, молодые женщины, дети... Весь пол густо, густо уложен телами. Алеша на скамье. Мы устроили его на подушках, как могли. Моя жена легла около него на полу. Она спит чутко, чтобы помочь... Хата чуть освещена каганцем...

Я укладываюсь рядом с сыновьями. Усталость сильнее всего... Засыпаю, — проваливаюсь в пропасть...

Но ненадолго... Алеша стонет... И просит воздуха. В хате действительно душно так, что и здоровым нечем дышать...

Я говорю, чтобы отворили дверь.

Струя свежего воздуха входит в эту юдоль земную...

— Ах, хорошо... хорошо... так вот... спасибо... хорошо... [86]

Но и здесь, даже здесь, неизбежна «разность интересов». Умиравшему Алеше нужна эта струя кислорода, а живым, и в особенности тем, что около дверей, она, эта струя холода, мучительна и опасна. Они ропщут...

Они тоже правы... Я лавирую между ними... Когда Алеша начинает просить и задыхаться, я приказываю отворить дверь... И он тогда говорит порывисто, убежденно, благодарно:

— Ах, хорошо... хорошо... спасибо... Через несколько минут я тихонько передаю, чтобы дверь затворили...

Наконец, один раз открыто заворчали. Я рассердился и повторил, чтобы открыли...

Тогда откуда-то из груди лежащих раздался голос:

— Что ж, Василий Витальевич, ведь он... уходит... а мы остаемся...

Жестокие слова!.. К счастью, Алеша их не слышал... Он минутами забывается. Я сказа жене. чтобы она перешла на мое место, и лег около Алеши...

Он иногда просит воды... Чаше воздуху... Иногда я перекладываю его...

— Спасибо, Василий Витальевич... Спасибо... Ах, больно, больно. Вот так... да, так... спасибо... вам тяжело?... не беспокойтесь... да, да... спасибо... .

Минутами он забывается. Но остальное время в сознании...

— Мне надо операцию... операцию... я знаю... надо сделать.... -

Сделаем... вот только придет утро, — сейчас отвезем вас, Алеша, в соседнюю деревню... Там есть больница... Хирурги... -

— Разрешат?... румыны... разрешат?..

— Конечно, разрешат... они уже говорили. Вдруг он делает такое движение, что я понимаю: он хочет мне сказать так, чтобы никто не слышал.

— Василий Витальевич... правду... скажите только правду... я ранен в спину... в позвоночник... если я буду калекой... не буду ходить... не хочу жить... не [87] хочу... дайте мне револьвер... умоляю вас... я знаю, вы мне скажете правду... я вам верю... только правду!

Бедняжка, я знаю, о чем он думает...

— Слушайте, Алеша... Я вам скажу, как есть.. Если бы вы были ранены в позвоночник, это было бы так... но вы не ранены, — вы контужены... от этого вылечиваются почти всегда... электричеством... это в этих случаях удивительно действует... это — пустяки, об этом не думайте... это обойдется...

— Ну, хорошо... спасибо... Только душно мне... Кислорода бы мне... Василий Витальевич... подушку бы, если бы с кислородом подушку...

Я чувствую, как сквозь эту мертвящую усталость, которая туманом покрыла всю мою восприимчивость, все-таки пробивается какое-то отчаяние... Господи, ну как ему помочь!..

Он затихает... Кажется, уснул... Слава богу... меньше страданий... я тоже не могу... прилягу...

Я заснул, может-быть, на несколько минут... И вдруг проснулся сразу... вскочил...

Прямо против меня на кровати сидела старуха... она кивала мне и рукой указывала па Алешу...

Он умирал... Началась агония... Он хрипел... Кто-то проснулся, что-то сказал... Старуха замахала на него руками, чтобы было тихо...

Я стоял на коленях около Алеши... Это было недолго... Несколько минут, и он затих... Я закрыл ему глаза...

Потом прочитал молитву, какую вспомнил... Все спали... Только старуха сидела на кровати и смотрела на нас... Окончив молитву, я тотчас же заснул... Я ему больше был не нужен... Я спал крепко, до, самого утра...

\* \* \*

Так умер Алеша... Он был... белый...

\* \* \*

Ровно в 8 часов утра румыны начали обстреливать деревню из пулеметов: это чтоб мы ушли... [88]

Пули цокали по заборам и стенам. Я приказал пойти за водой и больше не выходить из хаты... а сам пошел в штаб. Штаб помещался в домике, выходившем в большой пустырь. На улице никого не было — попрятались... Но у конца улицы, под забором, залегло много нашего народа. Я спросил, что это такое. Мне объяснили, что это вновь сформированный отряд какого-то полковника. Этот самый полковник хотел запретить идти мне черед пустырь; румыны, мол, обстреливают «нарочно», кто доказывается...

— На нас навлечете...

Удивительно, почему во всех самых трагических случаях жизни бывают такие глупости. Ну, какое же решение вопроса лежать под забором в то время, как румыны стреляют именно для того, чтобы мы ушли...

Я объяснил ему, что иду в штаб по приказанию полковника Стесселя. Он отстал.

Никто, конечно, меня не обстреливал «нарочно». Стреляли вообще по деревне. Были уже раненые и убитые. Надо было принять решение.

У Стесселя были все «начальники частей»... Накануне еще мы собирались у него и почему-то (хорошенько не помню, почему) «выбрали» его своим начальником... Нет, вспомнил, вот почему: общий начальник генерал Васильев был задержан румынами, и тогда отряды «Союза Возрождения», полковника Стесселя и другие решили действовать отдельно, каждый на свой страх и риск. Тут-то Стессель и захотел «проворить свои полномочия»... Мы, значит, вновь ему присягнули...

Стессель приказал бросить все здесь, — больных, раненых, стариков, по возможности женщин, все обозы, — и выйти с одними винтовками только тем, кто готов на все... Собраться к десяти часам к штабу... В десять часов румыны обещали начать артиллерийский обстрел, если мы не уйдем. Стессель послал им письмо, что мы уйдем в десять.

С этим я вернулся к своим... Обстрел из пулеметов временно прекратился... Алеша уже лежал в садике под плетнем... В хате пили чай... [89]

В это время подбежали румынские солдаты... Они врывались в хаты и кричали:

— Гайда! На апой!

Это значило: «Вон! назад!». Они требовали, чтобы все выходили из хат и уходили.

Тут наступило самое тяжелое. Жена, Ната. Оля — эти не могли больше идти... Я знал, что им нужен отдых, во что бы то ни стало, и потом... Куда мы идем? Если мы и пробьемся, то ведь только самые железные. Остальные погибнут в дороге — это неминусемо... Их надо оставить здесь; неужели же эти румыны выгонят женщин и детей?

Я стараюсь объяснить румынскому сержанту, что мы уйдем, но что «домны» (дамы) должны остаться... Он понимает меня... Но и слышать не хочет:

— Все, все — гайда! на апой!

Несчастные женщины выходят тоже на улицу.

Не понимая ужаса будущего, они рады не расставаться. Румыны бегут дальше по хатам — выгонять. Но к нам набегают новая партия. Я опять к ним:

— Домны должны остаться...

Этот соглашается, но торопит нас — мужчин... И под этими непрерывными «выгоняющими» криками мы прощаемся. Делим деньги, последние наставления...

— Пробивайтесь в Сербию. Я буду искать вас в Белграде...

— Гайда, на апой! — кричат румыны...

Да подождите, проклятые! Как быть с Димой? Я беру его в сторону...

— Димка, останься с мамой... Она одна... Я вижу его огорченное побледневшее лицо...

— Тебя убьют... И Лялю...

— Какие глупости!.. выкрутимся... Ляля со мной... ты с мамой... ну. прощай...

— Гайда! На апой!

Кончено. Ушли...

\* \* \*

Мы выступили из деревни. В руках вели какого-то вола (провиант) и были очень довольны. Эта деревня, из которой мы уходили, называлась Раскайцы. [90]

Перешли Днестр. Опять плавни. Остановка. И долгая. Что-то здесь происходит. Почему так уменьшилась наша рота? Где кадеты, которых к нам присоединили? Мне сообщают, будто какие-то большевистские делегаты бродят кругом. Я приказываю выставить посты. Ничего не могу понять. Многих нет...

Неужели?..

Возможно... В той стороне, откуда можно «их» ждать, стоит Ляля на посту... Я не теряю его из глаз, а он меня...

Приказание двигаться...

Выходим из перелеска, из зарослей, на какие-то заледеневшие пустыри. Тут Можно определить, что мы такое...

Все-таки нас порядочно. Человек шестьсот. Обозов действительно никаких... Есть только экипаж полковника Стесселя, несколько конных... У нас есть какая-то несчастная кляча, которую бородастый фельдфебель ведет в руках.

Меня беспокоит Филя... Он от голода съел какую-то мерзлую луковицу, которую он нашел на дороге. Теперь он жалуется... У него нехорошее лицо... посерело, и морщины резко легли вокруг рта... На остановках он лежит на снегу, скорчившись... Что делать, если он не сможет идти? ..

Я подзываю бородатого фельдфебеля с клячей... Подсаживаю Филю на клячу без седла... Он обхватывает ее шею руками, голову кладет на гриву... Ноги в городских ботинках и гетрах беспомощно болтаются... Так его везут...

Ляля держится хорошо. Сегодня у него «не малярный» день. Сегодня меня ломает... Мы с ним на переменку. Но у меня легче. И я чувствую, что я ее переупрямлю при помощи... свежего воздуха... голода... бессонницы... и переходов... [91] Это был сад, занесенный снегом, как полагается в Бесарабии. Отряд полковника Стесселя как-то сбился в кучу... где-то за деревьями что-то происходит... Какие-то крики... но выстрелов не слышно.

Никто ничего хорошенько не понимает, но идут разговоры о том, что кто-то у кого-то взял пулемет. Я чувствую, что-то делается непонятное. Но не могу определить — что. Ясно, что это связано с большевиками. Но отчего нет боя?.. Отчего мы остановились?

Мои сталпливаются поближе ко мне, поглядывают на меня, а я поглядываю на Стесселя. Что это все значит?

Вдруг на лужайке появляются два всадника. Они приближаются, направляясь прямо к нам. Они без оружия. Подъехав, они останавливаются и глазами кого-то ищут.

— Де тут полковник Стесселев?

Стессель ответил своим характерным басом, чуть хриплым, как будто с одышкой.

— Это я. Что вам?

Это были по виду как будто унтер-офицеры, но без погон. Один из них начал так:

— Ну что ж, товарищ полковник... Надо кончать... Зачем вы против нас цепи выслали? .. Так шо вы в таком положении, что мы с вами драться не желаем...

— Да кто вы такие?

— Мы те самые, с которыми вы позавчера бой вели... дивизии товарища Котовского... Товарищ Котовский нас прислал, чтобы значит кончать...

Тут он повернулся ко всем нам, к толпе.

— Если которые господа офицеры опасаются, что им что будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал... и вещей отбирать тоже не будут... И ежели при господах офицерах которые дамочки есть, то тоже пусть не опасаются... Ничего им не будет... Приказал товарищ Котовский казать, чтоб все до нас шли и чтобы не опасались.

В это время кто-то из толпы, кажется, единственная сестра милосердия, которая была с нами, спросила: [92]

— Да кто вы такие?

— Мы? Мы — большевики!

— Так как же, если вы большевики... как же вы обещаете то, другое... а вчера кто убивал?.. кто резал?.. кто отнимал?

— Мы? Нет, мы не обижали!..

— Как не обижали? Вы же коммунисты?

— Какие мы коммунисты! Мы большевики, а не коммунисты! .. Мы с коммунистами сами борьбу ведем... Вот, к примеру сказать, господа офицеры... разве среди вас все хорошие люди?.. Есть которые хорошие, а есть... сами знаете... Так и у нас — коммунисты... Сволочь коммунисты!..

В нашей толпе произошло заметное волнение. Эти слова производили впечатление. Делегаты Котовского, очевидно, это поняли,

— Вот, господа офицеры, тут наш штаб недалеко... И ваш полковник Мамонтов там. Вчера его взяли... Кто к нам — пожалуйста... Всем хорошо будет. Кто хочет к нам на службу — принимаем. А кто не хочет — так себе пусть идет — домой... А не желаете, ну тогда — драться будем...

Полковник Стессель, очевидно, в эту минуту принял решение.

— Вот что. Вы себе поезжайте, а мы поговорим... Неудобно нам при вас. А что решим — сообщим вам.

Те сейчас же согласились:

— Пожалуйста, пожалуйста...

И поехали.

Настала решительная минута. Ко мне подошел поручик Л. и спросил деловым тоном:

— Василий Витальевич. Уже пора стреляться?

Я ответил почти сейчас же, но помню, что в это мгновение я как-то сразу все взвесил или, вернее, взвесил только одно, именно, что большевики нас еще не окружили, что в одну сторону дорога еще свободна. И ответил:

— Надо немного подождать...

В это же мгновение ко мне подошел Владимир Германович. [93]

— Мне кажется, что дальнейшее сопротивление бесполезно... Сделано все возможное; дальнейшее бесплодно...

Я ответил:

— С этой минуты я предоставляю каждому свободный выбор. Сам же я буду держаться Стесселя до конца...

Я подошел к Филе. Оказал ему, что освобождаю его от обязанности следовать за мной в виду его болезни, советую сдать и пробиваться в Одессу. Дал еще денег. Мы простились. Он слез с лошади и лег на снег.

В эту минуту Стессель своим хриплым, задыхающимся басом обратился к толпе.

— Ну, вот что... Я с ним не пойду... Кто со мной, тот за мной!..

И, повернувшись, он пошел по дороге в сторону от большевиков.

Тут произошли быстрые сценки, которых передать нельзя. Очевидно, каждый колебнулся в душе. Полковник А. что-то сказал нашему отряду не особенно определенное. Впрочем, это соответствовало моей инструкции предоставить всем свободу.

Я пошел вслед за Стесселем. За мной пошли несколько человек нашего отряда, в том числе: полковник А. с сыном, поручик Л., мирный податной инспектор, друг моего детства, и Ляля.

Лужайка в лесу. Мы сидим на снегу кружком. — Начинается «майн-ридовщина», — сказал кто-то. Действительно, мы похожи на какую-то шайку «охотников за черепами» или «искателей следов». Нас всего пятьдесят два человека, в том числе две дамы: Раиса Васильевна Стессель и та сестра милосердия, что разговаривала с большевиками. Это все, что осталось от отряда полковника Стесселя. Остальные сдались большевикам. Впрочем, есть еще две лошади. Полковник Стессель долго упрямылся и не хотел бросить экипаж. Но пришлось бросить, потому что переправа через Днестр была слишком крута. Лошади же в руках сползли по ледяному откосу и теперь служат нам под вьюками. [94]

Сейчас мы опять в Румынии. Полковник Стессель разрешил говорить только шепотом. Чуть темнеет. Все мы голодны, и у всех нас ничего нет. Кое-какие запасы есть только у самого полковника. Его жена делит скудные запасы между всеми: на долю каждого выпадает кусочек сала и понемножку сахара. Хлеба нет. Но и это уже кажется нам блаженством.

Затем полковник Стессель шепчет своим задыхающимся голосом:

— Будем пробиваться... Еще лучше, что нас так мало... Маленьким отрядом легче пройдем. Но вот что... У меня есть деньги... казенные... Что-то... словом несколько миллионов... Я их больше не могу таскать... Экипаж пришлось бросить. Поэтому сейчас разделим их между вами, — поровну.

Началась дележка. Долго мы считали. В конце концов, вышло 140 с лишком тысяч на человека — «колокольчиками».

Кончили. Встали. Пошли. Начинаясь «майн-ридовщина».

\* \* \*

Ночь. Идем лесом, гуськом, след в след, стараясь не шуметь, молча... Кажется, это называется ходить «волчьей тропой». Действительно, наша жизнь становится звериной. Сколько мы будем так бродить, не смея никуда прибиться?

Куда деться? По ту сторону Днестра — большевики, по эту — румыны. План полковника Стесселя, очевидно, — скользить между теми и другими, пользуясь плавнями, зарослями и лесами, вдоль Днестра. Но ведь есть-то надо. И отогреться от времени до времени тоже надо. Идти еще можно, но спать в лесу на снегу...

Не выдержим... Мороз уже больше девяти градусов, вероятно.

Неожиданно в лесу в полной темноте натыкаемся на кого-то. Оказывается, генерал Васильев. Каким образом он пошел сюда, невозможно понять. Он совершенно [95] истощен. У кого-то еще находится, по счастью, кусок сала... Впрочем, не все ли равно... Дни этого человека уже были сочтены...

\* \* \*

Трудный поход. Поминутно приходится перебираться с одного берега на другой. Берега обрывистые, крутые, обледенелый. На этих переправах скоро бросаем лошадей. Невозможно втащить их на ледяную крутизну: они остаются на льду. Последние вьюки бросают. Но ординарцы полковника Стесселя навьючивают на себя два узла. У остальных ровно ничего, кроме винтовок. Впрочем, у меня, слава богу, и винтовки нет, — обхожусь револьвером.

\* \* \*

Нет, положительно изнемогаем. Как трудно идти ночью через все эти проклятые переправы, канавы, овраги, сады, заборы... Проваливаешься, скользишь, падаешь, скося поднимаешься, чтобы снова провалиться...

Мы, шесть человек, держимся рядышком, цепочкой! Все-таки легче, уютнее, когда около тебя — свои.

Ох, эти переправы через Днестр. Когда они кончатся? Раиса Васильевна упала и расшибла висок. Это становится, в общем, непереносимо. Надо во что бы то ни стало куда-нибудь зайти погреться, отдохнуть. Нет же просто сил...

Сейчас мы на, большевистском берегу. Это что такое?

Домик. Кажется — пустой. Надо зайти. Решаемся. Втягиваемся.

Но не успел я еще войти — стоял в сенях, набитых людьми, как около дома что-то произошло. Я смутно почувствовал, что нас окружают. Бросился из сеней на двор.

Действительно, это были какие-то люди с винтовками. Они кричали своим:

— Товарищи, в цепь!

Нам было категорически запрещено полковником Стесселем пускать в ход оружие, но все же кто-то выстрелил из [96] револьвера. В то же мгновение все наши высыпали из хаты, и раздалось приказание:

— К реке! На тот берег!

Мы стали поспешно драпать по глубокому снегу. «Товарищей» было, очевидно, немного: они нас не преследовали. Впрочем, раздалось несколько выстрелов.

Перебежав реку, мы опять очутились на румынском берегу. Здесь мы ждали долго, потому что нескольких человек не хватало. Из них кое-кто пришел, но не все. В том числе не пришел генерал Васильев. Позднее я узнал, что он не миновал своей судьбы и



застрелился, как обещал тогда румынам. Его труп нашли на льду румыны, откуда это и стало известно.

Нечего делать. Надо устроить спальню в лесу, на снегу. Отдохнуть необходимо во что бы то ни стало, хоть два-три часа. Полковник Стессель приказывает сделать привал. Холодно, невозможно.

Мы думаем над тем, как улечься. Решаем улечься вчетвером, пробуем так: снять две шинели, постелить на снег. Улечься всем четверем рядом, крепко прижавшись друг к другу. Накрыться двумя остальными шинелями.

Улеглись. Задремали. Но через короткое время — «кончилось счастье». Нет возможности!.. Средние еще кое-как, но крайние замерзают. Вскакиваем, ходим, запускаем «бег на мосте». Потом опять укладываемся, уже каждый одетый в свое, но опять прижавшись друг к другу. Задремали.

Нет возможности! Определенно замерзнем...

И так до рассвета. Что за пытка!

Рассвет. Пошли. Осторожно пробираемся в румынском лесу. Вышли на какую-то полянку, за которой начинаются сады. Вот брошенный шалаш. Дождемся здесь солнца.

Вот оно вошло. День ясный. Красиво ложатся синие тени на снегу. Ах, если бы это солнце поскорее грело. Как [97] этот Ляля выдерживает в своей несчастной английской шинели! «Страдающая газель» каждым часом усиливается в его лице. Декадентские ноги беспомощно смотрят внутрь. Османлиская шапка плотнее наехала на брови. Что за несчастная замерзающая кривулька! Но иногда он все-таки раздражается хихиканьем...

— Ляля, что с тобой?

Алеша, если бы был жив, сказал бы:

— Ляля, plusquamperfectum?

Бедный Алеша...

\* \* \*

Полковник Стессель все рассматривает карту. Тут где-то, неподалеку, должна быть деревня Талмазы, верстах в трех. Идти туда нельзя: румыны выгонят. Но если бы послать кого-нибудь с одиночным порядком за провизией...

Кстати, среди нас оказывается офицер, который говорит по-румынски. Он называется у нас «поручик-переводчик».

Решаем так: добраться до первой дороги и послать поручика-переводчика в Талмазы. Остальным ждать его возвращения в лесу.

\* \* \*

Ждем. Ждем давно. Уже за полдень. Слава богу, день яркий; на солнце стало тепло. Мы четверо держим бессменный караул на лужайке, где солнце особенно греет. Прислонившись к дереву, можно и подремать. Какое это счастье, в особенности для Ляли, у которого опять припадок малярии. Счастье еще усиливается, когда поручик Л. приносит откуда-то полчашки снега, смешанного со спиртом. К тому же еще оказывается у кого-то кусочек сахару. О, блаженство...

\* \* \*

Когда солнце заходит, становится хуже. Мороз сразу забирает ход. Он метит подобраться к пятнадцати градусам.

Поручика-переводчика все еще нет. Темнеет. Все холоднее. Что делать? Костра развести нельзя.

Я иду поговорить со Стесселем. [98]

— Поручика-переводчика не будет. Он или сбежал, или его захватили. Надо двигаться... Замерзли...

— Подождем до восьми вечера.

Легко сказать... Я жалею ему, что сын замерзает.

— Давайте его сюда.

У Стесселя есть большая шуба. Он заворачивает Лялю в нее и укладывает его на снег. Из Ляли и шубы образуется соблазнительная подушка, которой немедленно пользуется человек двадцать пять.

Теперь он не замерзнет!

Мы бродим вокруг этого сосредоточия тел, жмущихся друг к другу. В полковнике Стесселе все-таки чувствуется центр и начальник.

Удивительно, как держится эта сестра. Совсем не теряет бодрости и подкармливает нас кусочками сахара, который оказался у нее в сумке. Двое вестовых жадно грызут какие-то кости. На них ничего нет, на этих костях, но все-таки многие смотрят на вестовых с завистью.

Мы пробуем с поручиком Л. улечься вдвоем. Задремали: Вскочили, — замерзли. Нет, лучше попробовать там, со всеми, в общей куче. Я кладу голову на чью-то спину; кто-то, в свою очередь, наваливается на меня, и, к моему удовольствию, накрывает мои ноги. Так легче. Я засыпаю.

Просыпаюсь оттого, что Раиса Васильевна будит мужа.

— Пора, — шепчет она ему тихонько.

— Еще минуточку...

Он, большой полковник с хриплым басом, в эту минуту совсем, как ребенок...

Что-то теплое и человеческое проходит где-то около сердца, несмотря на пятнадцать градусов мороза...

\* \* \*

Нечего делать. Пошли. Поручика-переводчика нет. Сгинул куда-то. С ним потеряна и надежда на провизию. Голод мучает, но надо идти. А то замерзнем.

Куда идти? Стессель решает обойти лесом Талмазы, в которых он предчувствует румынскую стражу, и добраться до другой деревни, верстах в пяти от Талмаз. [99]

— Но как же мы будем держать направление ночью в лесу?

— По компасу. Вот полковник пойдет вперед... А вы, пожалуйста, еще возьмите кого-нибудь и будете цепочкой между ним и остальной колонной. Мы будем идти немножко сзади, потому что передовым надо прислушиваться...

Пошли. Теперь я знаю, что значит ходить по компасу ночью в лесу, да еще зимой. Первая беда, что темно: этого самого компаса не видишь. Вторая беда, что держать прямое направление через чащу, кусты, овраги, упавшие деревья, болота и реки — совершенно невозможно. Третья беда, что постоянно проваливаешься в снег. А четвертая беда в том, что полковник генерального штаба думает, что ведет нас по компасу, а я думаю, что, наверное, мы крутим на одном месте.

Как бы то ни было, мы идем. Бесконечно идем. Бог его знает, что нас еще держит. Мороз все усиливается. Но мы становимся какими-то нерассуждающе-обреченными. Идем, и больше ничего.

И вот кончается лес, и начинается серия полузамерзших болот и речек. Кружим тут без конца. Двадцать раз переходим по тонкому льду, готовому ежеминутно провалиться. В других местах бесконечно обходим колена ручьев не замерзших, отыскивая переправу. Какой тут компас! Волчок, а не компас.

И вот еще какая-то речка. Я долго ищу более или менее надежного льда. Ну, вот нашел. Прошел. За мной прошел Ляля. Потом мой податной инспектор. За ним на лед входит поручик Л. Но в эту же минуту его нагоняет полковник Стессель, спеша почему-то к голове колонны. С ним его жена. И в то же мгновение все трое проваливаются по пояс.

— Через несколько минут мы находим какой-то шалаш, где супруги переодеваются; благодаря богу, у них что-то нашлось сухое. Но у поручика Л. сухого нет. Пятнадцать градусов мороза... Это грозит совсем скверной историей. [100]

Я настаиваю, чтобы бросить этот проклятый компас, выйти на дорогу и идти в первую попавшуюся деревню. Если румыны позволят нам остаться хоть до утра, мы все-таки на этом деле выиграем, потому что в противном случае мы определенно замерзнем...

Стессель соглашается, и скоро мы выбиваемся на дорогу. Хотя трудно сказать, что это, в общем, река или дорога, — сплошь лед. Нет, кажется, дорога. Вот начинаются заборы, сады. Хотя эти сады бесконечны, но все же будет какая-то деревня. Так и есть. Несомненно, деревня близко.

Стессель приказывает мне идти в разведку вчетвером. Мы идем. Податной инспектор, поручик Л., Ляля и я. Колонна остается на месте.

Да, вот деревня. Пора, мы еле передвигаем ноги. Положительно, это последние силы. Вот какой-то глубокий овраг. Через него мост. Мы тихонько пробираемся по мосту.

Что такое? Крик, выстрел... румыны, конечно. Надо драпать.

Мы драпаем. Но как, боже мой!.. Так, как ходят калеки или глубокие старики. Ноги не отделяются от земли. За нами бегут, стреляют. Нам не уйти. И притом, куда бежать? К своим? Но Стессель запретил наводить на колонну. Значит, что? Значит, надо «сдаваться».

Мы останавливаемся, и набежавшие румыны берут нас «в плен». Отбирают оружие и почему-то часы. Затем ведут через этот самый мост и вводят в какой-то домик, очевидно, караульное помещение...

Горячий воздух совершенно опьяняет нас блаженством. Это надо испытать, чтобы понять. Тепло после стольких бесконечных часов замерзания имеет в себе что-то чарующее. К тому же выясняется, что можно купить хлеб за десять рублей фунт царскими деньгами.

Эти люди, в общем, весьма приличны. Когда мы поели, они предложили нам спать; на полу, конечно, но что-то постелили. Сами улеглись на скамейках. Мы заснули [101] свинцовым сном, сняв только обувь... Чистое блаженство, если бы только не, не...

Почему-то всегда, когда описываются великие вещи, вроде войн и революций, забывают об этом. Ни у одного писателя вы этого не найдете. А, между тем, вши, это один из факторов мировой истории, о котором не следует умалчивать. Смейтесь, смейтесь, — но все же надо твердо себе навсегда заметить, что и война, и революция процессы... «вшивые».

\* \* \*

Странно. Я проснулся и вижу все кругом знакомые лица. Вот полковник такой-то, там поручик такой-то. Как они сюда попали? Соображаю, что, очевидно, прибились ночью, когда мы спали, может-быть, пошли нас искать, а то просто не выдержали мороза.

Постепенно просыпаются. Приходит румынский офицер. Мы начинаем с ним разговаривать, по-французски, конечно. Он выражает нам какое-то сочувствие. Я, по просьбе остальных, начинаю писать телеграмму румынскому генералу Коанда, с которым когда-то был знаком. В телеграмме изложена просьба ходатайствовать перед властями о разрешении временно остаться в Румынии. Я не дописал телеграммы, потому что выяснилось, что ее не пошлют.

Но где полковник Стессель? Оказывается, он лежит где-то неподалеку, совершенно больной. Его жена полузамерзла. Последние, прибившиеся сюда, передали просьбу прислать подводу. Я встаю. К удивлению моему, мои ноги сравнительно благополучны. Но другие... У Ляли скверно с ногами — сильно проморожены. То же самое с поручиком Л.

Румыны выпускают меня в соседнюю хату, где я нахожу поручика-переводчика, захваченного накануне. Тут же Одиноц, киевский деятель. Он надеется, что его не

выбросят отсюда, так как он бывший украинский министр. Попал он сюда вместе с отрядом «Союза Возрождения», судьба которого была, очевидно, вроде нашей. [102]

Из его слов я понимаю, что нас ждет; по-видимому, нас отправят обратно к большевикам.

С этой веселой новостью возвращаюсь к своим. День чудный. Солнце ярко светит; часов двенадцать. В караулке битком набито; жадно едят и пьют вино, которое крестьяне приносят в флягах военного образца, кажется, рублей двенадцать за флягу царскими деньгами. Умиляемся дешевизной. Входят румынские солдаты, офицеры и что-то такое говорят в том смысле, что нас отведут в Бендеры, где есть иностранный консул, к которому мы и можем обратиться. Это в ответ на усиленные жалобы и просьбы не отправлять к большевикам.

Выстраивают на улице. Человек тридцать — все те, кого могли поднять. Часть осталась лежать или слишком истомленная, или с сильно отмороженными ногами. Румынский караул окружает нас. Пошли.

Какая же это была деревня? Оказывается, те самые Талмазы, которые мы в течение нескольких часов «обходили»... по компасу.

Идем какими-то бесконечными садами, тропинками, протоптанными в снегу, на которых лежат синие тени от фруктовых деревьев...

Куда нас ведут? Это что-то не похоже на дорогу на Бендеры...

## Звезды

Хатка без окон и дверей. Хотя солнце ярко светит, но, в общем, порядочный мороз. В хатке развели костер. У Ляли сильнейший припадок малярии. Глаза, и так преющие наклонность к стилю «страдающей газели», стали совсем умирающими. Он лежит у костра. Я варю ему чай в жестяной кружке. Я набил ее снегом за неимением воды, надел на палку и держу над костром. Румынские солдаты, которые минутами производят впечатление разбойников, умиляются, узнав, что он мой сын. Они немножко как дети — эти румыны. Их воображение, очевидно, поражает, что вот отец и сын воюют вместе, и что сын тяжело заболел. По их глазам я вижу: они думают, что он [103] умрет.

Ляля, как будто инстинктивно чувствуя, что из этого может произойти что-нибудь толковое, артистически закатывает глаза; конечно, он сильно болен, но еще и притворяется на всякий случай.

Этот «всякий случай» представился. Когда наступил вечер, румыны развернули свою настоящую природу. Они приступили к нам с требованием отдать или менять то, что у нас было, т. е. попросту стали грабить. Спротивляться было бесполезно. Один толстый полковник пробовал устроить скандал, вырвался, но его схватили, побили и отняли все, что хотели. Брали все, что можно. У одних взяли сапоги, дав лапти, у других взяли штаны, у третьих френчи, не говоря о всевозможных мелочах, как-то: часы, портсигары, кошельки, деньги, кроме «колокольчиков». Разумеется, снимали кольца с рук. Словом, произошел форменный грабеж.

Вот тут-то и пригодилось Лялино закатывание глаз. Они настолько умилились нами двумя, что не позволяли друг другу нас трогать. Я отделался только тем, что с меня

стащили обручальные кольца. Хотели снять и третье кольцо, особенно мне дорогое, но когда я показал имеющееся на нем изображение божьей матери, не взяли.

«Наступила темнота. Тогда румыны вывели нас из хаты и повели куда-то. Куда? Что это такое? Ясно. Это Днестр.

Весьма энергичными жестами они показали нам, что мы должны идти к себе, в Россию. К себе в Россию — значит, к большевикам.

Делать было нечего. Мы пошли. Спустились с крутого берега, вступили на лед. Чтобы мы не вздумали вернуться, очевидно, румыны пустили нам несколько выстрелов вслед.

Не скажу, чтобы самочувствие наше было сладкое. Вправо и влево от нас река, напротив — чуть виднеется большевистский берег. Там... [104]

Ясно, что «там» может быть...

Что делать? Мы пошли так — просто, прямо перед собой по льду. Ни в каком порядке, а кто куда. Мне вдруг показалось, что идти так, это самое нелепое из всего. Я позвал их и сказал им, что, хотя мы и без оружия, но все-таки мы военные, и что мы должны избрать кого-нибудь своим начальником, так как в этом случае у нас все-таки больше шансов на спасение, чем если каждый будет действовать в одиночку. Все согласились и как бывает в таких случаях с «инициаторами», заставили меня «принять бразды правления». Я принял.

И вот мы пошли. Гуськом, волчьей тропой, — вверх по Днестру. Я шел впереди. Я решил идти по реке до тех пор, пока можно. Я рассчитывал так: если появятся большевики, можно броситься на румынский берег, если румыны, на большевистский. На всякий случай я запретил кому бы то ни было с кем бы то ни было разговаривать, сказав, что все переговоры буду вести я лично.

Так мы и шли. Вдруг с правого от нас берега, т. е. с большевистского, кто-то спросил из темноты:

— А куды ж це вы так идете?.. Я ответил:

— А куда ж нам идти? С одного боку румыны в нас стреляют, с другого вы... Вот так и идем рекою... После некоторой паузы из темноты донесся ответ:

— Та не вси же в вас стреляют...

Я понял.

Приказав колонне остаться на месте, я подошел к человеку.

— Кто вы будете?

— Здешний. Хлебороб.

— Ваша хата далеко?

— Ни, тута...

— Нельзя ли к вам зайти погреться? Замерзли сильно...

— Та можно... Только, чтобы чего не было.

— А что?

— А вчера также до меня зайшли... так прибигли, да роздили до рубашки... [102]

— Кто?

— Да эти... свои... хлопцы...

— Дивизии Котовского?

— Ни, ни... Котовский хороший человек. Котовский не приказывает, чтобы раздевали... Ну, заходите ж до мене... Много вас?

— Человек тридцать.

— Ну, як нібудь... Погрейтесь...

Уютная, хотя маленькая хатка. Мы набили ее «до отказа» — все втиснулись. Молодая хозяйка смотрит на нас с печки добрыми, сочувствующими глазами. Я говорю:

— Итак, господа, вы ставите мне задачу довести вас до Котовского, чтобы вы могли сдать его ему... Это общее мнение всех?

Все «соизволяют» единогласно.

— Хорошо... Я выведу вас к Котовскому. Но предупреждаю, что лично для себя оставляю свободу действия... Ну, дорогой хозяин, как же нам пройти к Котовскому?

Оказывается, это очень трудно. Котовский находится в Тирасполе. Отсюда верст двадцать. Две серьезные опасности на пути. Во-первых, вот это ближайшее село, на окраине которого мы сейчас находимся. Здесь живет самый «раздевальный народ». Все они вооружены и, если попасться к ним, пустят нагишом по морозу. Вторая опасность — на большом шляху, что ведет в Тирасполь, — большое село «Слободзея». Его непременно нужно обминуть: там такие разбойники живут, что никак не пройти. Всю ночь караул держат и грабят донага.

Я предложил ему проводить нас хоть часть пути. Он колеблется. Мы упрашиваем. У меня есть «керенки» — последняя выручка «Киевлянина». Я предлагаю вознаграждение.

— Та иди вже. Треба людям допомогти, — говорит молодица с печки.

За тысячу «керенок он соглашается. [106]

Отогрелись, надо идти. Но вот еще одно дело, крайне неприятное надо снимать погоны.

Недолго я их носил. Но все же как-то ужасно неприятно их спарывать. Ощущение полученной оплеухи...

\* \* \*

Какими-то таинственными садами, останавливаясь, прислушиваясь соблюдая величайшую осторожность, он ведет нас. Крадемся бесшумно. Эту деревню прошли благополучно. Вот степь Мы упрашиваем его немного проводить нас; он немного идет, но, наконец, решительно останавливается.

— Куда ж теперь нам идти?

Перед нами бесконечная степь, покрытая снегом. Яркое звездное небо Сильный мороз.

— А вот я вам расскажу. Все идите степом...

— Да куда ж степом?

— А вот так, на эту звезду возьмите. Город будет трошки левее. А вы — на эту звезду... Так, чтобы большак у вас всегда был с левой руки.

— Да как же так? Где же этот большак? И как же мне его не потерять?

— Вы так идите, чтобы собаки у вас завсегда брехали с левой руки. Ближе к деревне не подходите. А самое главное, чтобы вам Слободзею обминуть .. Це большое село. Верст семь будет... Як не будете слышать собак, так левой берыть... А як зайдете так, що село близько, — опять правей в степ... Так и идыть, — от на цю звезду... А под самым городом выходит на большак, — там вже ничего...

И пошли. Я во главе колонны, они все за мной, гуськом, держа пока на звезду. Холодно, дьявольски холодно...

\* \* \*

Все веду. Меняю звезды, потому что они движутся — и я «делаю поправки». Кроме того, у кого-то оказывается компас. Все-таки он дает возможность ориентироваться, хотя несколько. Это не то, что лес. Я помню приблизительно карту. Мы находимся на углу, образуемом [107] большаком и железной дорогой; если мы уклонимся на запад, мы рано или поздно наткнемся на большак; если уклонимся на восток, попадем на линию железной дороги. И большак и колея ведут к Тирасполю.

Но почему так холодно? Вероятно, градусов около пятнадцати. Поручик. Л. определенно начинает замерзать. Ляля идет как, сомнамбула. Мой податной инспектор ничего, — оказывается неожиданная выносливость в этом тщедушном теле. Побаиваюсь за одного старого полковника, как бы не упал.

Веду. Ох, эти яркие звезды. Блестящие, лучистые. Это от них идет этот нестерпимый холод.

Где-то я видел уже все это. Да, да. Это было в Одессе. Мне приснились алмазы — огромные, сверкающие. Это вот они были.

\* \* \*



Пересекаю какие-то сады. Понять трудно, что это такое. Но, по-видимому, это где-то в степи. Жилья нет. Впрочем, это что? Да, пустая, очевидно, летняя хатка без окон и дверей. Все равно, надо зайти, все-таки согреемся, лисе равно до рассвета далеко. Нам невыгодно приходить в Тирасполь ночью. А тут все же хоть на полчаса избавишься от этой ледяной струи, которая незаметно, но неумолимо вымораживает душу, веет над степью...

Ночной зефир струит эфир . .

Может ли быть еще холоднее!..

Чутьочку отогрелись в хатке. Ссоримся, конечно, по русскому обычаю. Одни хотели еще погреться, другие все время нервничали и уверяли, что мы губим себя и теряем время. Я не слушаю всех этих lamentаций и засыпаю на полчаса.

Но надо идти. Мороз стал еще резче. Веду. Нет, эти звезды, положительно, нестерпимы. Они становятся такими яркими и огромными. От них [108] тянутся невероятные лучи... Эти лучи неясным светом освещают снег вокруг меня... Отчего они светят только здесь — какое-то сияние передо мной...

Я просыпаюсь в канаве. Случай маловероятный, но факт: я вел их во сне. Спал весь организм, кроме глаз. Глаза были гипнотически прикованы к этим звездам, и я вел их верно, но сознание остальной действительности исчезало. И я просыпался то в канаве, то в яме, то наткнувшись на что-нибудь.

Что это такое? Брешут собаки слева? Да, брешут. Ну, слава богу, значит, идем верно...

\* \* \*

Верно, верно, а вот почему у меня выросла деревня впереди? Сначала не понимаю, а потом соображаю. Это, должно быть, поперечная улица этой самой Слободзеи. Значит, что? Значит, надо ее обмануть, взять прямо на восток, потом на север, потом на запад и снова подойти к большаку.

Обхожу. Увожу довольно далеко в сторону. Чувствую, что колонна, за мной начинает нервничать. С правой стороны меня нагоняет какой-то полковник.

— Куда вы нас ведете? Собак больше не слышно...

Я поворачиваю на запад. Через некоторое время собаки начинают заливаться, а смутные очертания села вырисовываются. Слышу слева от себя торопливые шаги. Подбегает другой полковник.

— Что вы с нами сделали? Собаки под самым носом!

Беру снова больше в степь быстрым шагом. Опять бежит кто-то.

— Слушайте, не у всех же такие длинные ноги, как у вас. Не бегите так!

Замедляю шаг. Бежит кто-то слева. Четвертый полковник.

— Ради бога, идите скорее! Мы замерзаем...

С меня было довольно. Я разозлился и какой-то резкостью прекратил балаган. Но, впрочем, в одном месте — заснул ли я опять, глядя на звезды, или уже не помню отчего — но я увидел деревню перед собой только тогда, [109] когда вспыхнул огонек трубки, которую, очевидно, кто-то курил. Положительно, я плохой вожак по волчьей тропе... Но ведь эти звезды могут с ума свести человека...

Как бы там ни было, но перед рассветом я их вывел на большак. Впереди была какая-то деревня, очевидно, последняя перед Тирасполем. В хатках уже светились огни, что называется, «на досвитки». Мы теряли последние силы и буквально замерзали. Я решил, что бы с нами ни случилось, зайти в эти хатки, так тепло зовущие огоньками. Была не была.

Зашли, и очень хорошо. Никто нас не тронул. Было тепло; пили чай и подремывали до рассвета. Хозяева спрашивали, кто мы такие. Публика усиленно называла друг друга «товарищи», что было нелепо. Ибо мужики вовсе не такие глупые, как иногда кажутся...

Наступил рассвет. Я считал свою миссию оконченной.

— Господа, вот Тирасполь. Задачу, вами мне поставленную, я выполнил... С этой минуты снимаю с себя бразды правления и советую следующее. Разбиться на мелкие группы и в таком «строю» идти к Котовскому сдаваться, кто хочет. Прошу также от меня держаться подальше, ибо у меня с большевиками счета особые; я могу совершенно без нужды отягчить чью-нибудь участь...

Так и сделали.

## У Котовского

Мы шли вчетвером — поручик Л., мой податной инспектор, Ляля и я. Шли по дороге, залитой солнцем. Даже нельзя себе представить, что было так невыносимо холодно ночью.

Вот идет какая-то конная часть. Очевидно, эскадрон дивизии Котовского. Очень приличный внешний вид. Хорошие лошади, седла, амуниция — все в порядке. Если [110] бы они носили погоны, это напоминало бы старую русскую армию.

Мы бредем по дороге вдоль плетней.

— Вы кто такие?

Это спрашивает офицер — не офицер, ну, словом то, что у них заменяет офицера, — «товарищ командир».

— Мы... мы пленные...

Это тут так принято отвечать. Не в первый раз нас уже спрашивают. Эта дорога в Тирасполь очень напоминает мне что-то такое. Где это было? Да, это было в Галиции, когда мы брали в плен австрийцев. Они вот так шли по дорогам, от одного этапного коменданта к другому. Никто их не трогал, шли себе. Так и мы идем. И много таких же стаяк, как наша.

— Так вы пленные... полковника Стесселя?

— Да.

— Ну, так вам в коменданту... В Тирасполь — прямо...

Вошли в предместье города.

— Товарищи, будем меняться.

Это он ко мне обращался. В ворагах стоял мальчишка-красноармеец.

— Что менять?

— Вот папаху менять...

Я стараюсь сообразить, что может из этого выйти. Пожалуй, моя офицерская папаху действительно мне сейчас «без надобности».

И в то же мгновение мелькнула мысль, вернее план, — переодеться этим способом. Мальчишка как бы понял мои мысли. Он сказал:

— Вам, товарищ, в вашем положении лучше меняться.

Я согласился и выменял папаху. То, что он мне дал, было нечто сногшибательное: какая-то собачья шапка какой-то дикой формы. Моя внешность в «товарищеском» смысле от этого сразу выиграла.

Мы пошли дальше. Теперь я уже сам осматривал, нельзя ли выменять и бекешу на какое-нибудь штатское [111] пальто. Одновременно я стал соображать, что все же тут не обойдется без какого-нибудь обыска. Во всех воротах стояли «товарищи», и в воздухе пахло заставой. Мой податной инспектор был в штатском пальтишке. Я решил, чтобы он отделился от нас и шел вперед самостоятельно, взяв с собой все деньги. Его пропустят.

Это было сделано вовремя. Действительно, к нам подошел патруль или что-то в этом роде. Во главе был молодой офицер — не офицер, словом, человек весь в кожаном. Но лицо у него было симпатичное. Я почувствовал, что надо взять инициативу, и предупредил его вопрос.

— Товарищ, не хотите ли меняться на мою бекешу? Бекеша была у меня очень недурна. Он окинул меня взглядом и ответил:

— А вам, наверное, надо штатское пальто... У меня есть, вам подойдет... черное... Идите со мной.

Мы пошли по улицам. День был теплый, и солнце ласково грело. Не помню, как начался разговор. Он сказал:

— Как мы все довольны, что товарищ Котовский прекратил это безобразие...

— Какое безобразие? Расстрелы?

— Да... Мы все этому рады. В бою, это дело Другое. Вот мы несколько дней назад с вами дрались... еще вы адъютанта Котовского убили... Ну бой, так бой. Ну кончили, а расстреливать пленных — это безобразие...

— Котовский хороший человек?

— Очень хороший... И он строго-настрого приказал... И грабить не разрешает... Меняться — это можно... У меня хорошее пальто, приличное.

Не знаю, почему, разговор скользнул на Петлюру. Он был очень против него восстановлен.

— Отчего вы так против Петлюры?

— Да ведь он самостийник.

— А вы?

— Мы... мы за «Единую Неделимую».

Я должен сказать, что у меня, выражаясь деликатно, глаза полезли на лоб. Три дня тому назад я с двумя сыновьями с правой и левой руки, с друзьями и родственниками, скифски — эпически дрался за [112] «Единую Неделимую» именно с этой дивизией Котовского. И вот, оказывается, произошло легкое недоразумение: они тоже за «Единую Неделимую».

Мы подходим к караулке. Тут он, правда, пониженным голосом, стал чистить коммунистов. К этому уже я был несколько подготовлен: я вспомнил тех двух делегатов Котовского на берегу Днестра:

— Сволочь коммунисты...

Этот говорил в том же роде. Я посмотрел на него сбоку «не наш ли ты?». Нет, он не был офицер. Это красный командир большевистской формации.

Мы вошли в караулку. Как я и предвидел, без обыска не обошлось. Наступила решающая минута, когда депо дошло до паспортов. У меня их была целая куча. Я решил пойти напрямик. Я сказал ему:

— Товарищ, я скрываться не буду. Вот мой настоящий паспорт... А это подложные... А это совсем мне не нужный... случайный... а вот эти — женские паспорта. Их мне надо отдать... Так вы этот заберите, ненужный, а остальные мне отдайте...

Я внимательно смотрел ему в лицо, когда он просматривал мой настоящий паспорт.

— Василий Витальевич Шульгин...

Нет, он, по-видимому, не знал, ничего не слышал обо мне. Проехало...

Он сделал так, как я ему говорил. Взял паспорт, который я объявил ненужным, а остальные отдал мне. Вещей у меня собственно никаких не было. Несколько фотографий. Впрочем, тут была одна маленькая подробность, которую, я не знаю, стоит ли рассказать.

У меня в круглой коробке от лепешек Вальда была целая коллекция иконок, подаренных мне в разное время. Он спросил:

— Можно взять одну на память?

— Возьмите.

Остальное он мне все вернул.

Затем началась мена. Я обменял бекешу на черное штатское пальто, не очень приличное, но возможное, самое подходящее к моему положению; обменял френч на нечто достаточно невозможное. Уже не в порядке мены, а [113] просто потому, что «вам, товарищ, это не подходит, и все равно дальше отберут», — содрали с меня кожаные хорошие краги. Их мне было жалко.

В это же время происходила мена с поручиком Л. и с Лялей.

Тут дело не обошлось без некоторых легких недоразумений. Поручик Л. отказался менять свое пальто, которое было, во-первых, штатское, во-вторых, теплое. А у «товарищей» из караулки разгорелись глаза. Они стали «примушивать» (чисто украинское слово от немецкого müssen»).

Тогда «товарищ командир» вступился:

— Товарищи, нельзя принуждать... Помните, приказано только по соглашению.

У Ляли оказались «колокольчики», которых он не успел передать. Их быстро разобрали — «в карты гулять».

В общем — переодетые, мы продолжали путь. Ляля, впрочем, плохо переоделся; ему дали вместо его английской новой шинели — рваную серую.

Еще произошел маленький инцидент. У Ляли была золотая ложечка, которую ему подарила какая-то барышня на счастье, почему он ею дорожил. Один из «товарищей» отобрал ее у него в караулке. Но не прошли мы и ста шагов, как он нагнал нас.

— Возьмите вашу ложечку, товарищ. Не хочу...

Все шло благополучно. Но на каком-то перекрестке к нам приценились субъекты мрачного вида. В лаптях, в шинелях с обтрепанными полами, худые, видимо, голодные.

Они задержали нас.

— Давайте деньги!

— Какие деньги? Нас уже обыскали там...

Один из них мрачно смотрел на меня исподлобья.

— А я вам говорю, товарищ, что у вас есть деньги.

— Почему?

— Потому, что вы казначей кадетской партии...

Почему он вообразил меня казначеем кадетской партии, вряд ли может объяснить даже Милюков. Но чем бы это кончилось, неизвестно, если бы поручик Л. вдруг не впал в злость. Он стал кричать на них и показывать [114] какие-то случайно оказавшиеся у него доисторические документы советского происхождения. Устрашенные не то печатью, не то его криками, они оставили нас в покое.

Мы пошли дальше и вскоре встретились и податным инспектором, который благополучно пронес наши деньги сквозь все заставы.

Грязный еврейский заезжий двор в предместьи Тирасполя. Комнатка крохотная, как каюта. Кипит самовар, сравнительно тепло, сладкий чай, белый хлеб.

Морозные испытания, а в особенности эти ужасные звезды, начинают казаться только кошмаром. Неужели это было?

Но живой свидетель этому — совершенно израненные ноги, с почерневшими ногтями и гноящимися пальцами. Кроме того, это ясно видно по психическому состоянию, в которое впали молодые — Ляля и поручик Л.

Как странно. Мы, двое старших, почти стариков, психически как-то меньше подались. Очевидно, все же наша впечатлительность значительно притуплена. А молодые, которые великолепно держались весь поход, попав в эти безопасные условия, впали в какое-то состояние «не в себе». Ляля совсем отсутствует. Правда, у него не прекращаются припадочки малярии. Я пичкаю его хиной с знаменитой ложечки. У него уже глаза не страдающей, а полупомешанной газели. Поручик Л., которого пора уже называть Вовкой, хотя бы уже потому, что в новом нашем положении он стал моим племянником, — тоже слегка помешался. Такова реакция тепла, сытости и безопасности после всех испытаний. Впрочем, есть еще одно условие: грязь и вши. Если бы домыться и надеть чистое белье, пожалуй, «сомнамбулизм» сразу прошел бы...

Но где наши? Где остальные?

В Тирасполе мы жили десять дней под чужими фамилиями. Старорежимные паспорта оказывались — хорошими документами пока. Мы ходили свободно по улицам, иногда [115] встречая кое-кого из офицеров, участников нашего совместного похода. За это время мы присмотрелись к тому, что происходит в городе.

Увы, пожалуй сравнение (а его делали местные жители) было бы не в пользу «белых»; судя по рассказам, наши части, которые стояли здесь раньше, произвели обычный для этой эпохи дебош. А дивизия Котовского никогда не обижала — это нужно засвидетельствовать — ни еврейского ни христианского населения.

Мы несколько раз ходили к коменданту, чтобы выяснить, что делается. У коменданта стояла, как полагается, бесконечная очередь в два хвоста. Хвосты вели к столику, где сидело два еврейчика. Субъекты эти записывали имена и фамилии солдат, а также куда они хотят ехать. Все это были наши солдаты, сдавшиеся в плен. Офицеров тут не было видно. Мы с Лялей охотно посиживали у коменданта, потому что там было тепло.

Мы отслужили панихиду по Алеше и по другим. Священник служил как-то особенно хорошо, и удивительно приятно было в церкви. Церковь среди большевизма имеет какою-

то особенную, непонятную в обычное время прелесть. Если бы от всей нашей земли ничего не осталось среди враждебного, чужого моря, а остался бы только маленький островочек, на котором все по-старому, так вот это было бы то, что церковь среди красного царства.

Да, они пока не обирали, но расстреливали, не грабили. Может быть, в такой дивизии Котовского гораздо больше близкого и родного, чем мы это думаем. Но все это пока... Пока здесь работает что-то человеческое, вернее сказать, что-то общее всем нам, русским. Но ведь за этим стоит страшная изуверская сектантская сила, кровожадная, злобная, ненавидящая, которой, увы, подчинены все эта «Котовские» и близкие ему по духу...

Кстати о Котовском.

Этот человек окружен легендой. Но вот что мне удалось более или менее установить.

Он родом из Бессарабии... Кажется, получил какое-то среднее агрономическое образование. Будучи еще совсем молодым человеком, он убил. Убил человека, который [116] оскорбил его сестру. Был сослан на каторгу. Бежал, вернулся в Бессарабию под чужим именем. Поступил управляющим к одной помещице. Образцово управляя имением, он вместе с тем производил самые дерзкие нападения и грабежи во всей округе, при чем грабил только богатых, будто бы, и широко помогал бедным. Долгое время полиция никак не могла установить, что этот полулегендарный не то Дубровский, не то Робин-Гуд, и Котовский, образцовый управляющий, — один и тот же человек. Но, наконец, его выследили; подробности его ареста рассказываются со всякими украшениями; словом, он был ранен, арестован, снова судим и снова сослан. Революция 1917 г. освободила его, и он появился в Одессе. В юродском театре, в фойе, одна из ограбленных им дам узнала его и упала в обморок. Он весьма галантно привел ее в чувство. Затем отправился на митинг, который шел в театре, и весьма шикарно продал с аукциона в пользу чего-то, наверно свободы, свои кандалы за 5 000 рублей. Как он стал командиром дивизии, я не знаю, но могу засвидетельствовать, что он содержал ее в строгости и благочестии, бывший каторжник, — «*honu soit, qui mal y pense*». В особенности замечательно его отношение к нам — «пленным». Он не только категорически приказал не обижать пленных, но и заставил себя слушать. Не только в Тирасполе, но и во всей округе рассказывали, что он собственноручно застрелил двух красноармейцев, которые ограбили наших больных офицеров и попались ему на глаза.

«Товарищ Котовский не приказал», — это было, можно сказать, лозунгом в районе Тирасполя. Скольким это спасло жизнь...

Надо отдать справедливость и врагам. Я надеюсь, что, если «товарищ Котовский» когда-нибудь попадет в наши руки, ему вспомнят не только «зло», им сделанное, но и добро... И за добро заплатят добром.

\* \* \*

Обедать мы ходили в одну столовую. Это куда-то в подвал; там были своды. На кровати лежала больная хозяйка, еще молодая, рыжевато-растрепанная. Она кляла [117] весь мир, как-то забавно-жалобно ругаясь последними словами.

— Большевики, меньшевики, — черт, дьявол... чтобы они все подошли, проклятые. Лазят тут... Что им надо? ..

После этого начинались дальнейшие lamentации на тему, как было хорошо при старом режиме, когда ни большевики, ни меньшевики, ни черт, ни дьявол не лазали, и все было прекрасно.

Впрочем, кормила она нас хорошо и сравнительно довольно дешево.

Цены в это время в Тирасполе были следующие: бублик стоил полтинник фунт, фунт белого хлеба десять рублей, чулки сто рублей, сахарный песок сорок рублей, перочинный ножик сто рублей, обед из двух блюд обходился нам в 60 рублей; стакан чаю три рубля.

Но все же оставаться долго в Тирасполе не представлялось возможным. Скрываться в маленьком городке трудно. Пришлось думать о том, что с собой сделать. Решено было пробраться тем или иным способом в Одессу. Для этого, прежде всего, нужен был пропуск.

\* \* \*

Вагон где-то на запасном пути... Около дверей, как всюду и везде, очередь. Топчутся на морозе часами жаждущие пропусков на выезд из Тирасполя. Впрочем, нашелся благодетель, один из «товарищей-красноармейцев», роздал билетки, чтобы те, которые сегодня не достоялись, уже завтра не мерзли.

Пришли завтра. Наконец, вызывают. Я был под фамилией... но к чему имена? *Nomina odiosa sunt*. Если бы этой поговорки не выдумали римляне, то ее следовало бы изобрести в Совдепии.

Купэ. У столика сидит товарищ. При мне он отказывает какой-то еврейке в пропуске.

«Ну, — думаю, — если ей отказал, то что же вам?».

Еврейка ушла, товарищ вопросительно смотрит на меня.

— Прошу пропуск в Одессу. Обстоятельства следующие. [118]

Тут я ему рассказал целый роман о том, почему я пробивался в Румынию и как румыны меня выгнали

Он выслушал всю мою тираду, не прерывая.

Затем взял мой паспорт и сил меня экзаменовать. Элементарный прием. Часто люди забывают вызубрить фальшивый паспорт и на этом попадают

По-видимому, я выдержал экзамен вполне, но дело было не в этом. Весь трюк состоял в том, что в этом фальшивом паспорте была румынская виза от ноября 1918 года. Эта виза подтвердила вполне мой рассказ о том, почему я пробивался в Румынию

Словом, товарищ комиссар написал мне пропуск.

Разрешается такому то с племянником Владимиром свободное следование в Одессу»

Поставит печать и подписался



Это был первый советский документ, который я получил в моей жизни.

## По шпалам

Выехать из Тирасполя было не так просто. Много раз мы приходили на станцию, ободранную, грязную словом, революционного вида. В Тирасполе было очень много вагонов. Конечно, без окон, разбитых, исковерканных, но масса. Все это столпилось сюда, очевидно, при отступлении бредовских частей. Торчали, впрочем, кое-где и роскошные вагоны заново отделанные, это по большей части были «кают компании» бронепоездов. Тут же красовались каким-то чудом уцелевшие вагоны штаба гвардейской дивизии. Ни надписи ни гвардейские андреевские звезды не были даже замазаны. И было как-то больно на это смотреть.

Вот эти всякие вагоны сгоняли в составы, в них прицеплялась какая-нибудь калека в виде локомотива, и такой караван от времени до времени посылался куда-то по рельсам. Надо было втиснуться в один из этих, с позволения сказать, поездов. Да еще билет надо было брать, что было уже совершенно возмутительно с точки зрения социалистического строя. [119]

Мы втискивались. Ждали несколько часов в эти нетопленных, искалеченных коробках. Потом приходили товарищи и выгоняли нас, заявляя, что поезд не пойдет. Однажды лежали мы в вагонах полночи. Было, конечно, совершенно темно, но полно народом. В одном углу шел усиленный разговор. По голосам я понимал, что это какие-то интеллигентки беседуют с военнопленными солдатами, прибывшими из Франции. Дикой ненавистью ко всему на свете были наполнены разговоры этих солдат. Я от времени до времени засыпал и просыпался и сквозь сон слышал

— А я бы его, если бы запопал, то так бы не убил... А мучил бы, долго мучил бы. Сначала нос бы отрезал.. а потом уши, а потом глаза; бы выколол.

Интеллигентки возмущались и ахали, впрочем, осторожно и в таком тоне.

— Неужели бы вы так сделали, товарищ?

А он отвечал убежденно:

— Сделал бы.

Я лежал и думал о том, что, если бы его как-нибудь выманить из вагона и пойти с ним в черную ночь, то я бы его не мучил, но застрелил бы, как собаку «хай злое не диве на свити»...

Наконец, отчаявшись в социалистическом транспорте, мы прибегли к историческому русскому передвижению «пехотой». Словом, пойти по шпалам.

Шли до вечера. Заночевали в какой-то хате около какой-то станции. Этот день прошел без приключений. Впрочем, мы встретили два раза конных товарищей, которые двигались по пути очевидно, в качестве патруля. Вид у нас был, скорее всего «мелкоспекулянтский». Три субъекта в штатских «пальтах», с физиономиями достаточно небритыми. Плох был Ляля. Его какая-то страдающая шинель и лицо больного юнкера явно выдавали нечто деникинское. Но нас выручали «пропуска». Просмотрев их, товарищи пропускали. [120]

Приключения начались утром, потому что мы проспали единственный поезд. Однако, на станции был еще паровоз, который собирался в Кучурганскую, изрыгая белый пар. Я назвал машиниста «товарищем механиком», и он пустил нас на паровоз. А если бы я сказал «товарищ-машинист», — отказал бы.

Паровоз очень стонал и, кажется, собирался совершить «надрыв». В этих случаях он пускал массу пара, становилось тепло — и тогда... Впрочем, об этом довольно. Я уже сказал однажды, что революция и «паразиты» неразлучны. Не следует повторяться.

Но, в общем, паровоз догнал тот поезд. Он стоял на станции среди других составов, таких же разбитых, вопиющих к небу. Мы пошли лазать из вагона в вагон, отыскивая место потеплее. Наконец, нашли. К удивлению, в этом вагоне были целы все окна, и какие окна! — великолепные, толстые, зеркальные. Солнце грело сквозь них, и было совсем ничего. Но внутренность вагона, это было нечто ламентабельное. Это, видимо, когда-то был очень роскошный вагон, должно быть служебный, ибо здесь были и маленькие салончики и купэ, в былое время снабженные всем слицинкаровским» комфортом. Сейчас ничего не было, кроме кой-где торчащих пружин. Одно купэ показалось мне целее других; тут можно было хотя сесть. Однако, осмотрев его внимательнее, я ушел. Тут очевидно несколько часов тому назад произошло убийство или самоубийство. Мозги и кусок черепа валялись тут же.

\* \* \*

В этом вагоне мы доехали до Раздельной.

На этой станции мы несколько часов ждали какого-нибудь поезда. Тут стояла целая армия всяких составов, и целые воинские части жили в поездах. Кажется, это были галичане, в энный раз кого-то предавшие. Но никакого поезда не шло. Мы ходили пить чай в местечко.

И вдруг встретились. Да, это был Владимир Германович. Он тогда в саду у Днестра сдался делегатам Котовского. Солдат отпустили, офицеров, изъявивших желание [121] поступить в Красную армию, куда-то отправили, а отказавшихся держат на положении арестованных, заставляют что-то работать и собираются отправить в Одессу. Однако, надзор слабый, что и дает возможность поговорить с ним. Здесь же целый ряд других из нашего отряда. Пока никого не расстреляли. Но вид у них всех был ужасный. Недоедание, тяжелая работа... Однако, бессменный Владимир Германович не терял бодрости духа.

Мы не дождалась поезда. Пошли пешком. Был дивный солнечный день. Но, когда мы прошли несколько верст, я почувствовал ломоту в пальцах. Потом как будто стало немножко холодно. Идти стало гораздо труднее. И заходящее солнце с его желто-красными переливами почему-то было противно. Мы отдыхали где-то на рельсах, и против нас бродили индюки. Меня тошнило от этих индюков. Я чувствовал, что заболеваю.

Ночевали в «казарме» у какого-то «старшего рабочего» — это такой железнодорожный чин. Он просмотрел наши пропуска и принял нас очень радушно. Хозяйка сделала нам ужин и чай.

За ужином «старший рабочий» говорил много и вразумительно, ссылаясь на священное писание. Он читал апокалипсис вслух и объяснял нам, что все, что сейчас происходит, вся эта резня, и убийства, и грабежи, и ужасы, и ненависть, — все это предсказано.

Потом он прочел из библии то место, где в пророчестве Даниила говорится, что придет «великий князь Михаил». Под этим он подразумевал великого князя Михаила Александровича. Тогда кончатся все беды. Надо сказать, что я уже не в первый раз наталкиваюсь на таких людей. Сидят где-нибудь, в какой-нибудь станционной будке и в священном писании ищут утешения и объяснения всех тех ужасов, которые происходят.

\* \* \*

Нет, это проклятое пятно, белое пятно на солнце среди черных полей, сведет меня с ума.  
[122]

Идем по шпалам. Я болен. Чувствую жар и невероятную слабость. Иду от версты до версты. На этой прямой, как стрела, линии далеко видно верстовой столбик. Я иду только потому, что знаю: вот этот столбик с дощечкой, где написана верста, — надо дойти до него. Там я лягу на рельсы и буду лежать... Пять минут по часам... Потом дальше до следующего...

Но вот это проклятое пятно справа от дороги, там на холмах, где-то за несколько верст, — это, я знаю, немецкая колония. Я ее ненавижу всей душой. Потому что, сколько мы ни идем, она торчит тут, и кажется, что мы не двигаемся. И кажется, что от этой кучки игрушечных домиков эта болезнь и эта валящая на землю слабость... Все равно... дойти до столбика только.

Но мы дошли в этот-день не только до столбика, но до станции Карповка... Тут, в ожидании какого-нибудь поезда, мы залегли в какой-то грязной комнате на станции. Комната была. полна всяким народом. Какой-то безрукий, который прекрасно шьет обувь одной рукой, какая-то разбитная хохлушка с яйцами и с целым ворохом деревенских рассказов из современной жизни, больше на тему о том, что «всех этих разбойников надо вырезать». Кого он подразумевала под разбойниками, не всегда, можно было определить, — не то денкинцев, не то коммунистов. Вообще, она, видимо, за порядок и какое-то не осмысливаемое, но явственно ею самой понимаемое «благопристойное житие». Определенной здоровой «мещанской» моралью веет от ее «розгепанных» манер. И еще много всякого народа. Я лежу на лавке, жар усиливается. Иногда, раза два-три в сутки, проходят поезда, в которые мы не можем влезть, — слишком набито или у нас слишком мало энергии. Не надо думать, что это обыкновенные поезда нормального. типа. Это какой-то сброд вагонов с издыхающими паровозами...

\* \* \*

Ночью мне было нехорошо. Жар все усиливался. Я не спал. Остальные все спали. Все эти однурукие, бабы и много еще каких-то людей. Я не спал и заметил, что мой [123] податной инспектор начинает метаться. Так как я хорошо знаю его с детства, то знал и то, что он сейчас начнет разговаривать во сне и при том на всю комнату. У меня мелькнула мысль, не сболтнул бы он чего-нибудь опасного, и в то же мгновение он сделал резкое движение и совершенно ясно и отчетливо произнес:

— Да... Но я требую, чтобы все пели гимн... Все, все, и женщины... «боже, царя храни!».

Я с ужасом растолкал его. По счастью, все спали. Но мораль сей басни такова: кто говорит во сне, пусть не спит у большевиков в публичных местах...

\* \* \*

Пропустили еще какой-то «поезд». Потом еще прошел один... Мы лежали на станции уже третьи сутки. Почти ничего не ели. Наконец, «комиссар станции» окончательно рассердился на нашу никчемность. Он нас ругал всякими скверными словами и кричал, указывая на меня:

— Ну, а если он умрет у вас тут... Что я с ним буду делать!

После этого, очевидно, устыдившись докучать «товарищу комиссару», в качестве мертвого тела, я перестал капризничать и влез на какой-то «холодный» паровоз, по указанию комиссара. Этот паровоз был, очевидно, совершенно искалеченный, а тащил его полукалека. Последний доставил нас до станции Одесса-Товарная. Там мы лежали, до рассвета. Было абсолютно темно, очень холодно и противно...

\* \* \*

Одесса. Вот она, под властью красных. Изменилась? Изменилась. Толпа совсем другая. Да и нет ее почти. Уныло на улицах. А впрочем — жар усиливается, — может быть, это от жара такая тоска. Болезнь — это болезнь... [124]

## Recurrans

С первой квартиры, куда мы притаились с сыном, пришлось уходить через несколько часов: меня узнали. «Вся улица», т. е. некоторое количество евреев, говорили про то, что я вернулся. Мы ушли.

Не забуду этого «перехода». У меня была температура около 41°. Мне казалось совершенно невыносимым, что я пройду два квартала, которые надо было пройти. Но, пробираясь, держась за стенки домов, я увидел Владимира Германовича... Он шел мне навстречу, и вид у него был тоже нехороший. Он был не один, и по лицу его я понял, что не надо признаваться: я отвернулся к стенке, и он прошел около меня... Это был последний раз, что я его видел.

В эту же ночь он заболел сыпным тифом. И в эту же ночь его арестовали и отвезли в чрезвычайку. Там он и умер. Умер в ужасных условиях. Много дней к нему никто не входил, и когда, наконец, пустили близких... словом, это было ужасно...

В эту ночь случилось и другое событие. Был внезапно обыск в той квартире, где я приютился сначала. Арестовали всех, кто там был. Правда, через некоторое время выпустили. Но меня бы, вероятно, не выпустили!..

\* \* \*

Владимир Германович И. был одним из тех людей, которые так ценны в русской жизни. Происхождением немец, он был русским патриотом; давно известным типом — Штольдом среди Обломовых...

Последнее дело, в которое он вложил свою удивительную энергию, был так называемый «Отряд В. В. Шульгина», проделавший весь поход с полковником Стесселем.

Весьма возможно, что все это была ошибка и этого отряда не надо было, но нельзя не отметить этой настоящей deutsche Treue, которая побуждала В. Г. стоять до конца, сделать все возможное, исполнить свой долг до последней черты...

\* \* \*

Все мы четверо (один из фрагментов стесселиады) переболели возвратным тифом. Об этом не стоило бы упоминать, если бы это не было так типично для нашей эпохи. Мало кто из русских времен борьбы белых с красными избежали того или иного тифа. «Abdominalis», «Erxanthematicus» и «Recurrrens» были истинными архангелами русской революции. Многие испытали все три тифа. Мы обошлись одним.

Может быть, читателю будет интересно знать, что моя семья, с которой я расстался где-то в румынской деревне и собирался встретиться в Белграде, очутилась... в Одессе.

Румынам неприятно будет, быть может, прочесть эти строки. Но «сами боги не могут сделать бывшее небывшим», — говорит греческая поговорка. На следующий день после нашего ухода румыны выгнали из своей страны оставленных нами женщин и детей. Напрасно сочинялись пламенные телеграммы королеве румынской о помощи и милосердии. Конечно, если бы ее величество получила эти телеграммы, вероятно, что милосердие было бы оказано. Но в том-то и дело, что никаких телеграмм румынские офицеры не принимали, и вот произошла эта невозможная история: доведенных до последней грани отчаяния и усталости женщин выгнали к большевикам. Некоторые не выдерживали и искали в своих сумочках яду. По счастью, у других хватило мужества перенести все до конца и удержать ослабевших.

К чести «товарища, Котовского» надо сказать, что его штаб принял этих несчастных прилично. Особых издевательств не было, они получили даже возможность нанять подводу за «царские пятисотки» и приехать в Одессу.

\* \* \*

Свет не без добрых людей. В этом я убедился... Нас приютили всех... Когда меня раздевали, я пробовал бормотать этим до той поры мне незнакомым людям:

— Вы ведь не знаете, что у меня... Может-быть, «сыпняк»...

На что хозяйка ответила:

— Это будет восьмой в моей квартире...

\* \* \*

Recurrrens был, как recurrens... Четыре приступа...

Меня лечил один врач... Он приходил каждый день и очень хорошо знал, кто я.

Это я пишу так, на всякий случай для тех, кто обуян жаждой расстреливать «комиссаров»... Смотрите, не расстреляйте в припадке святой мести тех, кто, ежедневно рискуя головой, спасал жизнь вашим близким и друзьям...

Такие случаи бывали и будут. Ибо не все ведают, что творят...

\* \* \*

Этот доктор был окном нашей больной комнаты в мире, которого я не могу назвать божьим, ибо он был большевистским.

Перевязывая сыну отмороженные ноги, он начинал говорить о политике. Разговоры эти сводились к обсуждению тех слухов, которыми питалась Одесса. Каждый день она изобретала что-нибудь новое, — без промаха лживое... Но все же все верили и надеялись.

Я обыкновенно в этих случаях светил доктору огарком свечи, который немедленно гасился, как только операция кончалась. Ибо свечи были в то время уже предметом роскоши. Тогда разговор продолжался в сумерках масляной коптилки, — инструмент, бывший в эту зиму во всеобщем употреблении в Одессе.

Resurgens длился приблизительно март месяц. Я имел время подумать. Я думал и во время приступов, и в перерывы, и во время выздоровления.

И странно... Жизнь окрашивалась то в терпимые, то в мутные, то в безысходно мрачные тона.

Все от точки зрения. [127]

Когда я смотрел назад, в недавнее прошлое, теперешняя наша жизнь казалась чуть ли не раем... Давно ли мы замерзали на снегу ночью, скрываясь, как волки, в зарослях и лесах... А теперь мы имеем кров и пищу... нас лечили, о нас заботились, сколько возможно...

Когда же я сравнивал с далеким прошлым, давно прошедшим, на душе становилось серо до мути.

Следующие строки я пишу только потому, что ведь так, как мы, жили все в этом большом городе... А в других больших городах жили неизмеримо хуже.

Маленькая комната, где нас трое или четверо. Не топлено... Никто не топил этой зимой в Одессе. А измученный после болезни организм просит тепла. Тепло иногда и приходит утром с солнцем. Проснешься рано и долго ждешь этого красноватого, первого луча., который, загоревшись красным пятном, желтея и теплея, двигается по стене. По его движению мы научились узнавать и время.

Часов ведь нет...

Когда немножко нагреет комнату, начинается комично мерзкое занятие. Ужасно трудно от них избавиться. Для этого надо постоянно менять белье. Если перемен нет, мыть надо. И моется, но ведь в холодной воде. Для горячей надо дров. А другие вещи, например, которыми укрываешься, разные фрагменты бывших пальто, их надо бы продезинфицировать. Но это не так просто. Конечно, в конце концов, справляются, но путем упорной борьбы. Борьба ведется: или просто охотой, или стиркой, или утюгом... Сильно горячим утюгом выгладить вещи по швам очень хорошо... Рекомендую всем впавшим в социализм...

Затем следует приготовление какого-то суррогата чая или кофе на керосинке... Ого, какая это возня!.. Фитили не горят, вечно что-то портится... Скучно и грязно... И никаких способностей.

Мы ведь были артисты, поэты и писатели и

.. рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв...

А тут...

Надо стоять в очереди за керосином несколько часов, потом бежать куда-то за хлебом, потом... Потом уборка комнаты, мытье посуды, стирка, починка, тысячи этих изводящих мелких дел. Потом надо взять обед. Опять бежать куда-то в очередь. С обедом мы устроились поразительно дешево. 18 рублей обед... Но это потому, что... словом, через кого-то мы стали семьей какого-то «спеца». Обед состоял из какого-то варева вроде супа или борща, без мяса, конечно.

Кроме того, каша. Каша перемежалась: гречаная, пшенная и «шрапнель». Шрапнель многие саботировали. Другие, более смиренные, съедали. Мы брали два обеда на троих.

Общее правило после тифов: зверский голод. Надо жиров. Их и покупают. За деньги все можно достать пока. Но ведь денег хватит еще на некоторое время, а дальше что?..

Что дальше?..

Гонишь эту мысль, пока светло.

Почитаешь у окна в кресле. Окно низкое и выходит на улицу. Видишь людей, иногда они любопытно засматривают в окошко. Тогда непременно кто-нибудь обеспокоится, не выследили ли уже!..

\* \* \*

Я читал, что попал». Но больше всего мне понравился одна польский роман. Действующие лица исключительно графы и князья. Описывается великосветская охота, балы и все это getue-mépage большого света. Княжна Гальшка Збаражская правит четверкой великолепных лошадей, окруженная свитой не ниже барона. Ее брат никак не может жениться на девушке колоссального состояния, потому что она не записана в какую-то родословную книжку. [129]

Мне доставляло искреннее удовольствие сопоставление этого мира с тем, что шмыгало у меня за окном... Для любителей контрастов это было весьма недурно...

Сыну Ляле, который лежит с отмороженными ногами и голодает между приступами «возвратного» тифа, тоже нравится польский роман. Но иногда он швыряет книжку и с неподражаемым выражением апострофирует:

— Буржуи проклятые...

Когда же дело осложняется какой-нибудь психологической драмой, он презрительно прибавляет:

— О «нравственного жиру» бесятся...

\* \* \*

И действительно...

Немножко смешными кажутся эти «душевные страдания», когда все «живы и здоровы» и находятся в полной безопасности.

Мы знаем только две «психологические» муки; когда близким людям грозит тяжкая болезнь или смертельная опасность...

\* \* \*

Но они возвращаются, эти мысли о том, что будет дальше, когда стемнеет. Когда стемнеет, в комнате почти мрак. Электричества нет, керосин слишком дорог, горит коптилка на масле. Она дает столько света, сколько лампадка, но последняя — утешение сердцу, а эта наводит мрак на душу.

\* \* \*

Что впереди? Какой выход из этого положения? Ну, хорошо, — теперь я болен. Стесселевские деньги еще есть. Но дальше?

Служба?.. У кого? У большевиков? Нет!.. Частную найти очень трудно. Где? Все закрывается и притом... Не сказать, — кто я, — подвести... А сказать... кто примет?..

\* \* \*

От собственного положения мысли бегут к общему. Что делается?

\* \* \*

Это был первый период, когда большевики покончили, как они думали, с Деникиным и пытались или симулировали попытку смягчить террор. В Москве была объявлена амнистия и даже отменена смертная казнь. Правда (и это, кажется единственный раз, когда «Украинская Социалистическая Советская Республика воспользовалась своей самостоятельностью»), было разъяснено из Харькова, что все это к Украине не относится: здесь, мол, продолжается контрреволюция и потому к террор должен продолжаться. Но все же общее настроение сказалось и в Одессе.

Конечно, чрезвычайка должна убивать кого-нибудь. Для власти, держащейся только на крови, опасно не упражнять людей в убийстве: отвыкнут, пожалуй. Поэтому убивателям нашли дело. На этот раз, впрочем, это еще была наиболее благоразумная локализация кровожадности: чрезвычайкам приказали убивать «уголовных».

Одесса о покон веков славилась как гнездо воров и налетчиков. Здесь, по-видимому, с незапамятных времен существовала сильная грабительская организация, с которой более или менее малоуспешно вели борьбу все пятнадцать (нет, их было, кажется, 14), — все четырнадцать правительств, сменившихся в Одессе за время революции. Но большевики справились весьма быстро. И надо отдать им справедливость, в уголовном отношении Одесса скоро стала совершенно безопасным городом.

\* \* \*



Остальных пока не трогали. В отношении офицеров несколько раз объявлялись сроки, когда все бывшие белогвардейские офицеры могут заявить о себе, за что не будут подвергнуты наказаниям. Часть «объявилась», часть — нет. [131]

Разумеется, все это не относилось к лицам, «имевшим с большевиками особые счета, вроде меня.

Однако, в направлении «смягчения» были даже довольно странные факты.

В один прекрасный день пришел циркуляр из Москвы, по-видимому, от Луначарского, — предписывавший читать лекции рабочим и солдатам, с целью развития в них «гуманных чувств и смягчения классово-ненависти». Во исполнение этого те, кому сие ведать надлежит, обратились к целому ряду лиц с предложением читать такого рода лекции и с предоставлением полной свободы в выборе тем и в их развитии. Эти лекции состоялись. Одна, из них имела особенно шумный успех и была повторена несколько раз. Это была лекция об Орлеанской Деве. Почему коммунистам вдруг пришла мысль поучать «рабочих и крестьян» рассказами о французской патриотке, спасавшей своего короля, объяснить трудно. Но это факт...

Что же, можно из этого делать какой-нибудь вывод?.. Неужели большевики действительно поумнели?..

Вздор! Все это на первых порах. За «эскападами» товарища Луначарского стоит власть, которую так ненавидят, что ей остается одна дорога: дорога террора. И они начнут его опять, непременно начнут.

Единственное, что мотто бы «изменить курс», это если бы кто-нибудь из них, напр., Ленин, поняв, что они идут в пропасть, расстрелял бы всех своих друзей и круто повернул бы прочь от социализма... Но ведь это невозможно.

\* \* \*

Где фронт? Существует ли он вообще? Как будто бы Крым еще держится. Но какая слабая надежда, чтобы он удержался. Что там происходит? [132]

Слухи... Да ведь как верить этим слухам. Разве давно вся Одесса поверила тому, что украинцы где-то совсем близко? Потом их заменили румыны. Затем румын сменили какие-то союзники. После союзников была очередь сербов. Затем исправили: не сербы, а болгары. После болгар была очередь поляков. Наконец, самое последнее изобретение столько-то полков немцев перешло румынскую границу и находится уже в немецких колониях. Все это вздор, все эти слухи плодит страстная жажда освободиться от большевиков какую угодно ценой.

Обыкновенно в бессонные ночи я додумывался до трех часов. Я знал, что это три часа, потому что в это время кто-то оглушительно среди мертвой тишины стрелял из нагана перед самым окном. Выстрел этот звучал неприятно, как-то жутко...

Иногда глубокой ночью проходили моторы, и всегда казалось, что это едут расстреливать...

Может быть, и расстреливают — только мы не знаем...

\* \* \*

Так тянулись дни и ночи. На страстной неделе я в первый раз вышел. Как трудно было передвигать ноги. Я зашел в церковь. Служили панихиду по ком-то, а после панихиды какая-то женщина обносила «церковных старичков» кутьей и кодовом, как принято. И мне дали. Я ел, во-первых, потому, что был голоден, а, во-вторых, потому что я был очень рад, что меня приняли за церковного старичка. Значит, мне нечего было опасаться: теперь меня никто не узнает. После этого я поплелся на свидание, которое было у меня назначено с моим родственником Ф. А. М. Свидание должно было произойти в Александровском парке у колонны.

Когда я подходил, я увидел, что у колонны один человек. Это должен был быть он. Я подходил тоже совершенно один. Кроме нас двоих никого не было. Но мы долго стояли друг против друга, не решаясь подойти. Я никак не мог определить, он это или нет. А он смотрел на меня, очевидно, с той же мыслью. Наконец, я решился. Да, это был он. Действительно, узнать его было [133] невозможно. Он же, со своей стороны, утверждал, что никто в целом мире меня не узнает.

Когда я шел обратно, я хорошо рассмотрел себя в большой зеркальной витрине.

Да, действительно. На меня смотрел человек лет около шестидесяти пяти с большой седой вьющейся бородой. Согнутый, еле двигающий ногами... «Церковный старичок» — одно слово.

Это была работа рекурренса. Оказывается, что болезнь искусный гримировщик. Это, впрочем, было донельзя кстати...

\* \* \*

На, Пасху, которая была 29 марта, было большое торжество. Очевидно, еврейская власть захотела сделать любезность по отношению к христианскому населению, потому что после целой зимы беспросветного мрака на три дня Пасхи дали электричество во все квартиры.

Кроме того, у нас был роскошный домашний обед. Главное блюдо составляли мидии, — ракушки, которых во множестве выбросило сжалившееся над несчастными белыми доброе Черное море... Вера и Ваня (дети хозяев) целый день их собирали...

## Страхи

Ирина Васильевна поступила в театр. Объявила в себя «балетную студию», что по большевистским законам давало ей право на лишнюю комнату большевики покровительствуют искусствам. Вот именно эту комнату вместо балерин после Пасхи заняли бывший редактор «Киевлянина» и поручик инженерных войск В. А. Л.

Отвыкшие от всякого комфорта, мы умели ценить то, что обыкновенно в прежние времена даже не замечалось.

\* \* \*

Удобная кровать... чистые простыни... одеяла .. подушки... два мягких кресла .. диванчик... даже маленький письменный стол... на дверях портьеры... из хорошей старорежимной серой парусины... [134]

Я помню, сколько раз, просыпаясь по утрам, я мечтательно смотрел на эти портьеры и думал:

«Вот рубашка, вот гм... гм... а, впрочем, вышел бы и верхний, летний костюм...».

Пол был паркетный. Я тщательно выметал его по утрам и мечтал хоть один раз «ополотериться», как сказал бы Игорь Северянин, то есть натереть его воском.

И потом... ведь в этой квартире можно было прилично вымыться... Правда, при социалистическом режиме вода в водопроводе не всегда идет и никогда не идет в верхние этажи. В этом доме воду можно было получить только во дворе. И это была моя обязанность. Я отправлялся в маленький садик, где среди цветов был не фонтан, но кран, или, как говорят в Одессе, «крант», и таскал ведрами воду. Норма была восемь ведер, которые я вливал в ванну, и было всем благо.

Иногда я пилил дрова, но это, так сказать, по большим праздникам.

Но кроме всех этих благ в этой квартире оказалась еще... гитара...

Да, смейтесь...

Нужда пляшет, нужда скачет...

Я решил, что пора «песенки петь».

\* \* \*

Дело в том, что деньги быстро таяли...

Все мое состояние заключалось в двадцати английских фунтах и остатке от тех «колокольчиков» (доникинские тысячерублевки), которые тогда в лесу были розданы Стесселем...

Кстати, должен сказать, что «колокольчики», несмотря на официальное запрещение под страхом расстрела, котировались на подпольной бирже Одессы. Стоимость их, кажется, не падала ниже трехсот советских рублей, но порою подымалась до «a1 ragi».

Огромное количество людей в Одессе занималось спекуляцией на деньгах. Да могло ли это быть иначе? Куда же могли деваться эти «кошмарические» стада [135] всевозможных биржевиков, которые наполняли Фанкони и Робина и густой толпой стояли на углу Дерибасовской и Екатерининской, торгуя кокаином, сахаром и валютой?

Одесская чрезвычайка вела с ними борьбу, многих расстреляла, но остальные продолжали работать.

Но, разумеется, теперь работа шла в самом строгом подпольи. Итак, деньги таяли. Служить у большевиков я не мог и не хотел. Пристраиваться к каким-нибудь

кооперативам было трудно: незнакомые меня не приняли бы, а знакомые, боясь не столько за себя, сколько за меня, всячески отговаривали. Что делать?

И вот выходом из положения явилась гитара.

Старик с седой бородой... Ясно, что человек знал лучшие времена... какое-нибудь небольшое кафе... разбитый, надтреснутый голос... такой же разбитый, как и безвозвратное прошлое... старинные романсы... исключительно старинные, такие забытые и такие незабываемые... Жалобный звон струн... очень тонко...

И вот я, действительно, подготовлял себе такое местечко. Составил себе уже целый репертуар, мобилизовал голос...

Помню, мне когда-то П. Н. Милюков сделал комплимент. Я жаловался, что совсем не могу говорить в Думе из-за крайней слабости голоса. Он мне ответил:

— Да, голос у вас очень слабый... Но он поставлен, как у певца. Вы не поете?..

И вот на старости лет оказалось, что я пою... для развлечения пролетариата...

Нужда песенка поет...

«Кто не трудится, тот да не ест...».

\* \* \*

Ирина Васильевна (настоящее ее имя другое) в этот день очень беспокоилась...

Ей почудилось, что кто-то следит не то за ней, не то за мной, — вообще что-то жуткое. Я кое-как ее успокоил. Но к вечеру «инцидент» всплыл снова, в форме категорического «предчувствия» у Ирины Васильевны, что ночью [136] придет чрезвычайка, а потому мне совершенно невозможно оставаться в квартире. И это предчувствие росло в такой угрожающей форме, что мы с поручиком Л. решили уйти, ибо совершенно было ясно, что все равно в эту ночь оно никому спать не даст.

И мы ушли...

Но это легко уйти, когда знаешь, куда пойти. А ведь мы отлично понимали, что во всякой квартире нам, быть может, и не откажут, но особого счастья не ощутят: ведь везде каждую ночь может быть обыск, и тогда хозяин квартиры будет отвечать за укрывательство контрреволюционеров.

Поэтому мы решили ночевать на улице. Но опять-таки это удобно можно было сделать «под игом самодержавия». Но в свободном социалистическом государстве всякого человека, который осмелится показаться на улице позже известного часа, ловят, как преступника, и тащат в участок. Почему при социализме нельзя ходить по ночам, никак не могу понять.

Мы решили ночевать где-нибудь в подъезде.

\* \* \*

Нет, это слишком холодно. Эти камни обладают удивительной способностью быстро остывать. И притом эта ниша, куда мы залезли, плохо защищает от взоров патрулей. А сейчас патрули пойдут. На улицах уже ни одного человека. Идет тихий, мирный дождь. Удивительно, как быстро большевики покончили с грабителями, налетчиками и всякими уголовными.

Надо пройтись. Ну, в конце концов, наскочим на патруль, как-нибудь вывернемся. И потом — блестящая мысль: пусть патруль нас забирает. В конце концов, не расстреляют же за это, за позднее хождение, переночуем в участке, где, во всяком случае, теплее...

Пошли... На одном из перекрестков:

— Стой!..

Мы остановились. [137]

— Откуда так поздно, товарищи?..

— Да разве ж поздно?.. Вот беда, часов нет!.. Что, будете забирать нас, товарищи, в район?

— А вы кто такие?.. Далеко вам?

— Да нет, не далеко нам... Тут на Канатной.

Патруль, собравшись вокруг нас кучкой, раздумывал.

— Ну, идите... домой... все равно...

Вот неудача...

Идем дальше. Дождик перестал, — работает луна. Это большое подспорье социалистическому хозяйству. При социализме как общее правило, — электричество не горит. Совершенно тихо. Вдруг снова наткнулись на патруль.

Эти нас взяли. Мы едва успели условиться, что сочинять, как нас разделили.

Старший подошел в Вовке и о чем-то с ним беседовал на ходу. Потом подошел ко мне.

— Откуда вы идете товарищ?

— С Ришельевской.

— А номер?

Я сказал условленный номер.

— У кого же там были?

Я сделал застенчивое лицо.

— Да это... его знакомые... он молодой... я там в первый раз и был...

— Ну да, а фамилия как?

Я сказал нарочно исковерканную фамилию, но похожую на ту, которую должен был сказать Вовка, При этом прибавил, что, может быть, и не так, потому что я этих барышень не знаю, мне старому неинтересно...

— Значит, выпивали, товарищ?

— А что же я пьяный, что ли? Я дунул ему в нос.

— А чем занимаетесь?

— Артист... музыкант... Раньше на рояле и на скрипке давал уроки, а теперь на гитаре. Специальность «старые романсы»... Ученики ко мне ходят... Сам голос я уже потерял, не выступаю... После тифа...

Заинтересовавшись, подошел другой патрулист.

Так вы, товарищ, гитарист?.. Я тоже на гитаре играю. Хорошая у вас гитара?

— Ничего себе... Только раньше я привык играть на одиннадцатиструнной, а это обыкновенная — семиструнная... Ничего, сходит...

— А какие романсы, товарищ?

— Исключительно самые старинные. Ну вот, например, «Тигренок», «А из рощи, рощи темной», «Три создания небес», — вот тоже замечательный романс... Это не то, товарищ, что теперь пошло — Вертинский-Вертинский... «Лиловый негр ей подает манто»... ну, какой смысл!.. Почему он «лиловый», когда все негры черные?

Тут я решил остановить поток своего красноречия: кажется, было довольно. Патруль явно убедился в нашей невинности и подлинности. Старший сказал дружелюбно:

— Ну, если, товарищи, у вас документы в порядке, то вам ничего не будет... Сейчас и отпустят...

Район... Темень полная. Патруль, ругаясь, поднимается по лестнице на ощупь. Вводят нас в какое-то помещение. Тут тоже абсолютно темно. В темноте ставший кому-то докладывает про нас. Происходит ругань в виду того, что нет ни света ни спичек. Наконец, с трудом находят. Зажигают какую-то коптилку, которая считается лампой. Участок. За перегородкой начальство, в виде какого-то еврея. Нотабена: патруль, как, по-видимому, вся низшая милиция, — из русских. А начальство, так, приблизительно с чина околоточного надзирателя, — евреи.

Начальство спрашивает, кто мы, где живем, документы. Предъявляем...

Комиссар занялся тем, что вызвал по телефону адресный стол: проверить, живет ли такой-то по указанному мною адресу. Но, видимо, с ответом что-то не ладилось...

— Что? Нет света в адресном столе?.. Не можете дать справки? Что? Разбили себе голову?.. Обо что?.. О шкаф?.. Что за безобразие...

В конце концов, проэкзаменовав нас еще о роде наших занятий, при чем снова на сцену выплыла гитара и [139] старинные романсы, нам объявили что мы свободны. Но это совсем не входило в мои планы.

Прежде всего, я рассудил, что прятаться от чрезвычайки выгоднее всего в районе, ибо карающей руке советской власти не придет в голову искать контрреволюционеров в своей собственной полиции. А, во-вторых, куда же нам идти?.. Опять на улицу? .. Но первый патруль схватит нас снова.

Поэтому я попросил разрешения переночевать здесь в районе, каковое милостиво получил.

Мы улеглись на широком подоконнике. Начальство «дормировало» на деревянных скамейках.

Утром мы были разбужены довольно странным инцидентом.

Начальство хотя и грозно, но довольно беспомощно взывало :

— Вестовой!.. Что вы не слышите, вестовой!..

Да, у них есть «вестовые»... В этом государстве социалистов, тех самых социалистов, которые чуть ли не краеугольным камнем своей программы ставили борьбу против «денщиков»...

— Вестовой...

В ответ на последний отчаянный призыв неожиданно раскрылся... шкаф... Большой шкаф для дел .. И с верхней полки раздалось:

— Чого?

Потом свесились громадные сапоги, которые вместе с нечесаной головой н прыгнули в комнату.

Посмотрев на нас, «вестовой Украинской Советской Социалистической Республики» добродушно изрек:

— Такая наша квартира...

\* \* \*

Было уже совсем светло. Мы пошли. Но так как в пять часов утра возвращаться не приходилось, решили пройтись по базару, благо он под боком.

Какая красота, этот базар... [140]

Правда, ничего, кроме редиски... Но зато ее-то уже вдоволь. Она собрана в большие корзины, которые напоминают огромные чудовища с сотнями усиков, — это хвостики редисок. Чудовища розовые, красные и лиловатые всех оттенков, впрочем, есть желтые и белые.

Мы купили по пучку (50 рублей пучок) и лазали по базару, аппетитно закусывая... Захотелось бубликов. Торговка долго почему-то смотрела на Вовку. Наконец, сказала:

— Извиняюсь, вы русский?

— Русский...

Она перекрестилась...

— Вот, поверите, первый раз, как ушли деникинцы, на русском человеке студенческую фуражку вижу... Ах, жида проклятые...

В это утро была суббота.

А потому, пробродив изрядное количество времени по улицам, мы сподобились увидеть «субботник»...

Субботник — это последнее слово социалистической изобретательности.

Субботник — это значит, что каждую субботу, в таком-то часу, все истинные сыны Советской Республики должны собираться на такую-то улицу... Сегодня они собрались здесь...

Впереди — колоссальный красный плакат с золотой надписью: «Кто не трудится, да не ест»... За плакатом оркестр военной музыки. За оркестром — небольшая военная часть, которой командует товарищ командир, расписанный, как картинка. Красные чакчиры, гусарские сапоги, голубой доломан... Без погон, но на рукаве роскошно вышитая золотом и серебром звезда. На голове кубанка, ноги пружинят, голос звенит... Смотри на него, вспоминаешь песню:

Я возьму воровскую дубину  
И разграблю я сто городов.  
Разукрашу себя, как картину...

Сам же «субботник» стоит вдоль улицы, в некотором роде поротно. Вглядываюсь в лица — почти сплошь евреи... Вглядываюсь подробнее — вижу массу студентов или, во всяком случае, еврейчиков в студенческих фуражках... Стараюсь сообразить, почему бы это, — и догадываюсь: ведь это цвет нации, это «партийные коммунисты», для которых участие в субботниках — обязательно...

Впереди плакат, посредине плакат, сзади плакат...

Музыка играет марш, товарищ командир в красных штанах командует с непередаваемой интонацией наглости и презрения, и субботник дефилирует...

Куда? Зачем?

Совершать «пресловутое русское дело»... В завтрашней официальной газете в отделе известий можно прочесть, что сегодняшний субботник прошел с громадным успехом и что собравшиеся «истинные граждане Советской Республики» без всякого вознаграждения : «перенесли с места на место столько-то десятков шпал, вымели столько-



то квадратных аршин такого-то двора, перетолкали без помощи паровоза целых пять ужасно тяжелых нагруженных вагонов»...

\* \* \*

Лиловый ирис стоял на балконе... Это был знак, что можно безопасно входить в квартиру.

Никого, конечно, ночью не было, все это были только призраки.

Но что такое «факт»?.. Когда он светит из прошедшего, тогда его называют воспоминанием. Когда же его луч пробивается сквозь «туман будущего», — это предчувствие...

«Беспричинные страхи» Ирины, конечно, были предчувствием факта. Она только не могла справиться с четвертой координатой, — с временем.

То, чего она боялась теперь, случилось несколько позже. [142]

## Курьер

Мы знали к концу апреля, что Крым держится, что борьба возобновилась, что во главе армии стал генерал Врангель. Однако, меня удивляло, почему наши крымские друзья не подают никаких известий.

Правда, несколько раз бываю так, что по Одессе бежал слух — высадилось столько-то человек. Но это, обыкновенно, сопровождалось через некоторое время разъяснением, что все они или часть попали в чрезвычайку и расстреляны...

Я получил приглашение от своего родственника Ф. А. М. увидеться с ним по важному делу. Я пришел к нему кочевать. Он жил далеко, на Молдаванке.

Был май месяц, на улицах было много цветов и много жизни. Правда, особенной жизни... Веселящегося, жизнерадостного русского типа здесь нельзя было встретить. Но еврейская молодежь «фетировала» весну...

Я добрался до Молдаванки. Научились мы, контрреволюционеры, ходить необычайно. Ведь лучшее средство, если существует опасность, что за вами следят, — это бешеная быстрота ходьбы. Ибо те, которые следят, тоже должны будут неистово нестись, обгоняя всех, и вам скоро это станет ясно.

\* \* \*

У Ф. А. я застал ошарашивающую новость: курьер из Севастополя. Он был туг же в комнате, этот человек, и мало того — он был одним из тех людей... словом, Ф. М. его хорошо знал. Его инициалы Н. Л. Б.

Вот, наконец, первые, более или менее достоверные известия о Крыме.

Да, армия существует... Перешейки держат крепко и не думают уступать. Армию нельзя узнать, — дисциплина восстановлена, грабежи и всякие мерзости прекращены беспощадными, но умелыми действиями генерала Слащева. [143]

Был бунт капитана Орлова, но он подавлен. Теперь положение прочное. Намечаются реформы — земельная, волостная... С рабочими отношения урегулировались в Севастополе. Вообще, в Крыму полны надежд...

Он приехал за информацией, просит дать ему всякие письменные сообщения обо всем, что мы знаем.

На днях он едет обратно, тем же путем — через Тендру...

Было решено, что Ф. А. М. поедет с ним...

\* \* \*

Ф. М. пришел ко мне перед отъездом проститься. Выяснилось, что Н. Л. Б. ехать еще не может. Но взамен себя он предложил одного из своих товарищей. Они, оказывается, вчетвером приехали из Крыма. Один из этих четырех, совершенно верный человек, должен был сопровождать Ф. М.

\* \* \*

Ф. М, или Эфем, как он иногда подписывался, был мне близким человеком. Я любил его, как младшего брата. Поэтому больно мне было, что он такой грустный и даже совсем как-то «не в себе» был при нашем расставании...

Я вышел провожать его на лестницу... Он, спускаясь, смотрел на меня своими красивыми глазами, и были они полны чего-то прощального и обреченно-смирившегося, и вся его удаляющаяся, слегка согнутая, фигура сжала мое сердце тоской...

\* \* \*

Я приписывал его состояние, «не в себе», тому настроению, которое было для него характерно последнее время...

\* \* \*

Это готовилось в нем давно. Но окончательно утвердилось в последнее время.

Он пришел к богу. В особенности к Христу... Он был необычайно талантлив, но очень непостоянен. Он бросил политехникум для живописи, живопись для беллетристики, беллетристику для скульптуры, скульптуру для Красного Креста, Крест ради изобретения какого-то [144] нового мотора и, наконец, во время революции принял участие в политической борьбе. И вот тут и сформировалось это...

Он разуверился в силе разума. Он понял, что идут верно только те, кто имеет бога в сердце. Он стал искать веры. И она пришла, к нему, пережившему и передумавшему все ухищрения ума, — простая и бесхитростная...

На этой почве у него родилась мысль... Чисто христианская... Он все мечтал о создании, как он говорил. «Политического Красного Креста»... Чтобы было такое учреждение в гражданской войне, которое при красной власти имело бы право «печаловаться» о белых, а при белой — о красных... Такое учреждение, которое признавали бы обе стороны... Это учреждение он мечтал назвать «Обществом имени св. Николая Мерликийского»... Чтобы это понять, надо вспомнить картину Репина, где св. Николай останавливает меч, занесенный над головой осужденного...

На следующий день мне сообщили, что он ушел со своей квартиры, — так было условлено — вместе с приятелем Н. Л. Б. Они должны были добраться до знакомых рыбаков, которые переправят нас на Тендру. На Тендре уже наши — генерал Врангель... Переход морем верст семьдесят... может-быть, бог поможет...

\* \* \*

Если бы Эфем добрался благополучно и оттуда, из Крыма, прислал бы деньги и инструкции можно было бы кое-что сделать. Хотя из Одессы бежали все, кто мог, но все же кое-кто остался, волей или неволей. Мы могли бы работать... Этот курьер из Крыма подбодрил всех нас...

Появился просвет... Ведь этот курьер значит, что есть еще земля обетованная, клочок русской земли, где нет этих проклятых красных знамен, где не слышно гнусного Интернационала, где люди вольно и легко дышат.

Надо работать для них, для тех, кто борется, кто идет нам на помощь... [145]

## «Котик»

Я помню хорошо этот день. Это было начало мая, кажется, 6-ое число. Я, по обыкновению, сидел около раскрытого окна и пробовал набросать на бумагу то, что было очень давно. В окошко мне виделась часть города с садиками и двориками.

В этих садиках всюду шевелились работающие на земле люди. Можно было без всякого колебания сказать, кто они. Это, конечно, были буржуи, контрреволюционеры, парии советского режима. В социалистической республике почему-то устроено так, что чиновники, профессора, писатели, адвокаты, торговцы, офицеры, словом, люди интеллигентных профессий, должны работать физическим трудом. А люди мускульного труда должны работать головой.

Что же делают эти «буржуи» на хорошеньком квадратике, где зеленые узоры на желто-коричневом фоне раскалившейся одесской земли?.. Кажется, ухаживают за розами... Неужели розы есть в Советской Республике?.. Представьте себе, — есть... Не только розы, — масса цветов на улице. Просто удивительно, — почему нет декретов об уничтожении всех цветочных заведений и запрещении продажи цветов на улице. Что может быть буржуазное цветов... Есть, пить, — это ведь, во всяком случае, и пролетарское занятие. Но цветы? Ленин и нарциссы... Троцкий и фиалка...

Глупые люди... Я бы на их месте этого не потерпел... Как они не понимают, что, пройдя по городу, в котором там и здесь на углах огромные, яркие пятна массируемых в одном месте этих чудных существ — цветов, самый жалкий, самый забитый, самый загнанный в щель буржуй вздохнет полной грудью и станет напевать:

Ще не вмерла Украина . . .

Итак, был чудный майский день... В окошко, кроме мыслей о буржуях, трудящихся над розами, врываются звуки военной музыки. [146]

Удивительно, как большевики полюбили военный оркестр. Бедна все-таки человеческая изобретательность. Для того, чтобы поддерживать бодрость духа в армии, гимн которой «Отречемся от старого мира», — не нашли иного средства, кроме средства старого, как мир, — медь бряцающую.

Против моей квартиры за квадратиками с розами — большое красивое здание. То есть оно, собственно, потому кажется красивым, что оно свежо оштукатурено. В социалистическом раю не моются не только люди, но и дома. Это подлинное царство «неумытых рыл», и по весьма простым причинам... нет воды для лица, нет денег для ремонта домов. Кто будет ремонтировать? Частная собственность уничтожена. Дома вправляются «домкомами», т. е. комиссиями, избранными населением дома. «Избранный» домком, разумеется, не может потребовать с «избирателей» такой платы за квартиру, которая дала бы возможность отремонтировать дом. И потому дома постепенно разрушаются, и уже, конечно, не до того, чтобы штукатурить фасады...

И вот посреди этих угрюмых, постаревших, покрывшихся преждевременными морщинами домов нарядное, чуть голубоватой свежей штукатурочкой кокетничает это большое здание...

Что это такое?... Ну, разумеется, это то, чем только интересуются в царстве «трудящихся»... Это — штаб, т. е. место, где разрабатываются способы, как принудить 150 миллионов народа трудиться, не покладая рук, для того, чтобы 150 тысяч бездельников, именующих себя «пролетариатом», могли бы ничего не делать. (Это строй, как известно, называется «диктатурой пролетариата»...).

Так вот, против нарядного советского штаба, влезшего в здание которое было построено до революции для Военного Округа, всегда происходят какие-то парады.

Парадомания у большевиков ничуть не меньше, чем в эпоху

Павла I. Вот играют «встречу». Кого это встречают?... Ах, да... наш город посетил высокий гость, — товарищ Луначарский... Питомец киевской императорской Александровской гимназии, ныне нечто вроде [147] министра искусств Социалистической Республики. Почему ему устраивают военную встречу, — понять трудно: это пахнет Гоголем...

Музыка замолкает. Слышны какие-то отдельные нечленораздельные звуки, как испорченного, поставленного на чердаке, граммофона. Очевидно, товарищ Луначарский говорит речь. Затем,... ах, что это такое? Да, — это оно... Знакомое, могучее, непобедимое... Ах, глупые, глупые люди, несчастное русское стадо.. Кричат «ура»... Волной перекатываясь, затихая и снова взмывая, волнуемое, щемящее...

Есть ли предел русской дури...

Кому кричат «ура», заветное русское «ура», прокатившееся по всему миру, от Парижа до Пекина, от Швеции до Персии... Кому? Одному из тех негодяев, которые заставили русскую громаду резать друг друга и в награду за море крови подарили им голод, холод и темноту...

И кричат «ура»...

Значит, еще не конец... Значит, дурацкие головы, судьба будет еще хлестать вас по щекам до тех пор, пока не поумнеете...

\* \* \*

— Вас желает видеть какая-то дама...

Следует продолжительное совещание  
Общее правило в Социалистической Республике, что каждый незнакомый человек может быть шпион. Я вдруг начинаю понимать, почему образовался этот обычай при встречах протягивать открытую руку...

Это вот почему... В век звериный, когда, во мрачной земле бродили люди, видевшие за каждым стволом дерева смертельную опасность, — люди свирепее скифов, — они все же иногда встречались... И если у них не было враждебных намерений, что бывало не часто, они показывали друг другу открытую ладонь, в доказательство того, что в руке нет камня. Затем тихонько, с опаской подходили друг к другу, ближе и ближе и, наконец, чтобы убедиться окончательно, ощупывали друг другу руки. И с течением времени это превратилось в дружественное рукопожатие [148] Так и сейчас... В этом царстве XX века, нео-зверином, люди опять ощущают справедливость старинной поговорки. homo homini lupus est.

И они не смеют прямо и просто подойти друг к другу. Подозрительно и долго по разным, неуловимым дня свежего человека, но явственным для истого контрреволюционера признакам, определяется — не из чрезвычайки ли этот человек, в данном случае — эта дама.

Но скоро я понял, что это просто Вера Михайловна...

\* \* \*

Когда я с ней познакомился, мы очень быстро сблизились... как это бывает только у большевиков, — на почве общей опасности и взаимопомощи. Оттенки ведь в Совдепии не в моде. Наказание, например, одно — «к стенке»... Так и в человеческих отношениях...

Вчера вы не были знакомы... сегодня у вас дружба в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть... ибо завтра вы спасли ее или она вас... а послезавтра вас вместе расстреляют...

И вот она сказала мне

— Вы знаете, что, кажется из всех людей на свете, я больше всего ненавидела вас...

— За что?

— За ваши речи в Государственной Думе... Ведь я — убежденная эсерка... то есть была...

— А теперь

— И теперь тоже... то есть, нет... то есть не знаю... во всяком случае...

Я не стал расспрашивать об этом «всяком случае»... Дело было и так ясно...

Как много теперь таких на свете... сознавшихся... не сознавшихся... и полу-сознавшихся, как Вера Михайловна...

\* \* \*

Вера Михайловна была очень взволнована. Вот что произошло.

В кафе, куда она случайно зашла, пришел какой-то субъект. Он обратился к прислуживающей в этом кафе [149] даме. Известно, что революция произвела в России революцию также и в кафе. Образовался целый ряд предприятий, содержимых так называемыми «дамами из общества». Поэтому вы никогда не можете быть уверенным, что барышня, которая подает вам кофе или пирожок, не какая-нибудь звонкая русская фамилия или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, профессия, именуемая на Западе кельнершами, почти целиком перешла к интеллигентным русским женщинам.

Это кафе было в этом роде. Между столиками бродили придымленной походкой «бывшие дамы».

Этот субъект пил кофе и говорил непонятные вещи Он, мол, приехал из Крыма и имеет важное поручение. От кого?.. От «Слова»? К кому?.. К «Веди»?.. Усталые дамы с придымленной походкой ничего не поняли в этой таинственности. Они не знают никакого «Слова» в никакого «Веди»...

Тогда субъект стал говорить прямее. Он прислан к В. В. Шульгину, и в Крыму ему сказали, что он доберется до него через это кафе...

На бледных лицах бывших дам отразилось изумление и страх. Конечно, они слышали мою фамилию и очень понимали, что вести со мною знакомство в настоящую минуту не безопасно. Но ведь они по-настоящему никакого понятия обо мне не имели!. А вдруг этот человек провокатор...

Вера Михайловна слушала все это, не подавая виду.

И вот прибежала сообщить мне. Субъект говорил, о том, что он имеет очень важное поручение из Крыма, что ему совершенно необходимо меня повидать, что он привез деньги для меня. Он будет ожидать завтра целый день в такой-то квартире. Он называет себя «Котиком».

Вера Михайловна сидела на подоконнике. Обвивая ее с двух сторон, врывались желтые звуки медных инструментов. Какому еще великому человеку играли встречу?..

В эту минуту, несмотря на запрещение, в комнату вошла Ирина. У нее был румянец на щеках, и голубые глаза явственно доказывали, что она или скажет дерзость, или будет плакать. За ней с виноватым и хмурым видом вошел [150] Вовка — поручик Л. Очевидно, ему не удалось ее удержать, как ему было приказано. Я понял, что ничего не поделаешь, и познакомил этих дам.

Обсуждение положения началось вчетвером. Ирина сразу приняла агрессивное положение. — Ясно, что этот «Котик» провокатор... От «Слова» к «Веди»... Ведь это прямо очевидно... Ваши письма были озаглавлены от «Веди» к «Слову»... Естественно, что

provokator, чтобы заслужить доверие, употребит те же выражения в обратном порядке... И потом этот рассказ...

Она запнулась, потому что этот рассказ обозначал, что Эфема схватили... Рассказ был такой. Будто в день, когда он должен был уехать с товарищем того курьера, который был прислан из Крыма, его видели на улице на извозчике с какими-то вооруженными красноармейцами. Этот рассказ страшно взволновал меня, и я сделал сейчас же ордер по всей линии узнать через наши связи, — не попал ли Эфем в одно из мест заключения, которых было несколько. Главное было на Маразлиевской, огромный дом, который одной стороной выходил на Канатную 29. Потом была еще чрезвычайка на Екатерининской, потом была тюрьма и еще несколько мест... Всюду были наведены точные справки, ибо списки во всех этих местах ведутся. Но нигде его не было обнаружено. Это меня успокоило, и мы объяснили то, что его видели на извозчике с красноармейцами так, что его спутник переоделся красноармейцем для безопасности. Ирина В. утверждали, что субъект, появившийся в кафе, — провокатор... Но ведь можно было предположить и другое... Именно, что Эфем благополучно доехал и действительно передал письма «Веди» — «Слову» и что «Котик» привез ответ.

Расчет времени, правда, плохо выходил. Прошла ведь только одна неделя со дня отъезда Эфема. За это время ему доехать до Севастополя, а «Котику» приехать из Севастополя в Одессу было почти невозможно. Но «почти» не есть полная уверенность... А вдруг Эфем все же доехал, там мои друзья переполошились и в тот же день послали в Одессу мне на помощь... [151]

Мы долго обсуждали этот вопрос. Шансы почти уравнивались. Может-быть, и настоящий курьер, может-быть, и провокатор.

В конце концов, я решил пойти на свидание с этим «Котиком»... Благо он устроил это очень удобно — завтра он будет ждать меня целый день.

\* \* \*

«Завтра» с утра собиралась гроза. И разрешилась она тогда, когда Ирина с Вовкой ушли.

План кампании был таков. Вовке было поручено войти в ту квартиру, которая была указана, под предлогом, что он отыскивает комнату. Сделать рекогносцировку, так сказать, на взгляд, насколько квартира подозрительна и, если возможно, не спрашивая ничего, а только «ловкостью рук» повидать этого «Котика», как он себя назвал. Сделав рекогносцировку, прийти в одну квартиру, где я его буду ждать.

Ирине было приказано (именно приказано, — она только что вступила в «организацию» и психологически душа ее жаждала приказа) неотступно следить за Вовкой, когда он будет выходить из той квартиры, и вообще на всякий случай. Самому человеку очень трудно определить, следят ли за ним. Для этого случая обязательно должен быть сопровождающий, который легко выследит следящих. Это слежка за слежкой.

Они ушли, и пошел дождь, как говорится в каком-то глупом каламбуре. Этот дождь сыграл роль во всей этой истории.

Я слушал в продолжение часа, как он барабанил по крыше, потом надел какое-то непромокаемое пальто, которое я случайно нащупал в полутемной передней, свою черную фетровую шляпу и вышел.

Люблю грозу в начале мая...

\* \* \*

Дождь стих и очень пахло свежестью и цветами. Я страшно люблю эту минуту, когда после пустынности разогнанной дождем улицы вновь с феерической быстротой [152] закипает жизнь. Люди почему-то в эти минуты какие-то веселые и молодые... Я думаю, всем, даже самым старым, хочется пошлепать по лужам...

Я поднялся в эту квартиру.

Две молоденькие барышни... Они были предупреждены, что я приду. Но им не было сказано, кто я. Им было сказано, что придет господин, которому надо видаться с Вовкой. И это было для них достаточно.

Я сказал с ними несколько слов. Они были киевлянки... У них не было почти никакой мебели в комнате. Одна лежала на полу и что-то учила. Другая сказала мне, что она сестра милосердия. Обе были в большой нужде, но бодрые и радостные радостью молодости. И улыбались так, как могут улыбаться только киевлянки.

Узнали ли они меня?.. Может быть, да, может-быть нет.

Говорят, что женщины болтливы... Но как бы они могли, если бы это было, так обманывать? Ни один мужчина самый скрытный, не так скрытен, как самая откровенная женщина. Это у них в крови.

Пришел Вовка. Он вошел в квартиру и нашел, что все в порядке, опросил «Котика» и даже привел его сюда...

— Как... Где же он?...

— В передней...

Мы попросили барышень «очистить помещение», и Вовка ввел этого человека.

Это был человек маленького роста, неопределенных лет, от 25 до 40... Совершенно бритый, голова и лицо. Характерно было следующее: он производил впечатление мертвой головы с этими, глубоко втянутыми щеками и задавшими глазами.

— Вы — «Веди»?.. Я прислан от «Слова» к «Веди»...

— Да, я — «Веди»... Садитесь, пожалуйста...

По классическому обычаю всех Шерлоков Холмсов, я опустился в кресло спиной к свету, чтобы мое лицо было в тени.

То есть я это сделал потому, что мои глаза не [153] выносят света, но он-то, вероятно, подумал, что я это делаю из предосторожности. Он сидел около стола, маленький, незначительный, одетый в темно-синий люстриновый костюм. Такие стали почему-то входить в моду среди советского чиновничества (очевидно, прислали какую-то партию). Это мне не понравилось. Но ведь разве он не мог переодеться здесь?.. Он начал:



— Я очень боюсь... как бы меня не выследили... Правда, я переоделся совершенно...

Вот и ответ...

— У вас есть ко мне письмо?..

— Нет, письма не успели написать. Меня спешно вызвали к капитану Александросу, то есть к моему начальнику...

— Где?..

— В Севастополе... Я служу в военной разведке... Вдруг меня зовут и приказывают спешно ехать в Одессу, найти вас... Ведь вы господин Шульгин?

— Да, я Шульгин.

— Найти вас и передать вам хоть на первое время деньги. Эти деньги лично для вас... Немного... Тут, же был и «Слово»... господин Л.

«Слово» вовсе не господин Л... Это на мгновение возобновило мои подозрения... Но, с другой стороны, — откуда бы он мог знать, кто такой «Слово»... Очень естественно, что «Слово» не оказалось в Севастополе. Л. вскрыл письмо и поспешил прислать мне, прежде всего деньги... Но подозрительно было, почему нет хоть бы маленькой записки, как это у нас было принято... Но, с другой стороны, ведь деньги не имеют запаха, а записка... записка всегда может погубить курьера.

— Хотите получить куш?..

Меня это выражение «куш», под которым он подразумевал присланные деньги, покорило. Но ведь мало ли какой у них жаргон, в этих разведках!

— Пожалуйста.

Он вынул пачку денег.

— Тут немного... Лично для вас... Сейчас же после меня или я сам или другой курьер привезут вам деньги на «дело». Вы только напишите, что вы предполагаете делать, ваши планы и размер организации и сколько вам, приблизительно, нужно... А тут разными деньгами... царскими, советскими... понасобирали...

— Это же собственно чьи деньги?..

— Это... право, не знаю... Мне передал Александрос, но я думаю, что эти деньги господина Л... Вы мне расписку можете написать?

— Пожалуйста...

— Еще одно...

По его лицу прошло нечто, что я сразу понял... Он будет просить какое-нибудь вознаграждение.

— Если вы можете, я вам часть этих «царских» дам «советскими».

Дело было ясно... «Царские» стоили во много раз дороже, чем «советские». На этом обмене он зарабатывал порядочную сумму...

Я его сразу понял, но решил ему не отказывать, — человек сто раз рисковал своей жизнью, чтобы добраться до меня, как ему не дать?

Я дал ему расписку, сообразив, что и после этого вычета останется порядочная сумма по нашим средствам. Деньги перешли в мой карман.

Я стал расспрашивать его о Крыме...

— Как армия?.. Дисциплина восстановлена? ..

— Восстановлена. В некоторых частях очень хорошо... Был бунт Орлова, но это кончилось... Земельная реформа производится. С рабочими теперь стало лучше... Дорого, но хлеб есть...

— Что же, есть какое-нибудь правительство? ..

— Да... во главе стоит как... его фамилия !.. он еще был при старом режиме министром...

— Кривошей? — подсказал Вовка.

— Да, да. Кривошеин...

— Как вы ехали?

— Через Тендру... на Тендре — там пункт... а оттуда знакомые рыбаки переправили. [154]

— Сколько времени вы ехали? ..

— Три дня... там очень просят, чтобы вы как можно скорее прислали план вашей работы... Что вы предполагаете делать и все прочее... как можно скорее... я завтра хоту ехать обратно, я бы и ответ...

Я принял решение. Мне он казался настоящим курьером. Держал он себя просто, интеллигентности был средней. Я спросил его еще.

— Вы офицер?

— Нет... я из рабочих... Ропитовец...

Значит, и в этом пункте не врет: мне ясно было, что он не офицер. Среди же ропитовцев, т. е. рабочих «Русского общества пароходства и торговли» действительно было очень много сочувствующих нам элементов.

И я решил так. То, что он от меня просит, я дам ему завтра. За сутки что-нибудь выяснится. Нужно назначить ему второе свидание. Если выяснятся. что-нибудь подозрительное, я не пойду.

И я сказал ему:

— Вот что... я приготовлю план. Он будет изложен коротко, но по возможности полно; я заделаю его так, чтобы вам легко было его везти. Например, вы получите завтра коробку с папиросами, и в одной из папирос будет все, что вам нужно. Вы передадите папиросы «Слову».

— Хорошо... только, пожалуйста, отметьте хотя бы точкой, какая будет папироса.

Эта фраза сильно усыпила мои подозрения. Если он провокатор, неужели он будет заботиться о какой-то точке на папиросе. Очевидно, в нем говорит добросовестность добросовестного разведчика. К тому же для провокатора он поразительно спокоен. Ведь он один в квартире, в совершенно незнакомой ему квартире, и в сущности в наших руках. Допустим, каким-нибудь образом мы узнаем, что он провокатор. Нам нечего терять, потому что мм в мышеловке, — наверное, подъезд окружен — и тогда в отчаянии из злобы и мести можем отправить его на тот свет. Провокатор все-таки бы волновался. А этот абсолютно спокоен. [156]

В это мгновение распахнулась дверь, и в комнату ворвалась... Ирина. Именно ворвалась. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что она сильно взволнована.

— Простите, что я так вошла... мне нужно поговорить с вами, Владимир Александрович.

Мы встали при ее появлении. Встал и «Котик». Она подала ему руку и по привычке и в растерянности, ткнула ее ему в губы. Тут произошло мгновенное замешательство. «Котик», может-быть не привыкший целовать дамам ручку, сильно покраснел, смутился...

— Владимир Александрович, можно вас.. на минутку...

Они ушли в коридор.

Я остался вдвоем с «Котиком» к, пытаюсь сообразить, что обозначает появление Ирины, продолжал расспросы о Крыме. Но предварительно я сказал ему на всякий случай:

— Вы простите, пожалуйста... и не опасайтесь... Она ни во что не посвящена и совершенно даже не догадывается... Очевидно, какая-то история...

При этом я сделал такое выражение лица, чтобы можно было подумать, что Ирина закатывает какую-то сцену молодому студенту, т. е. Вовке.

Мы поговорили еще о Крыме. «Котик» оправился от смущения и отвечал на расспросы толково. Для меня было ясно, что он, во всяком случае был в Крыму.

Вошел Вовка.

— Необходимо вам сказать два слова.

Я извинился перед «Котиком» с видом «о, господи, боже». Я чувствовал, что что-то случилось.

В темном коридоре Ирина взволнованно шептала.

— Я следила за Вовкой... он вошел в квартиру «Котика»... Был сильный дождь... никого не было на улице... А у подъезда, куда он вошел, я увидела двух... бритые... должно быть жиды... Один побольше, другой — поменьше... и толстый... Высокий в желтых ботинках, низкий в черных лакированных... Они не уходили, несмотря на дождь. Я тоже не уходила... Стояла напротив... Они меня заметили... я делала вид, что пережидая дождь... Вовка вышел... с «Котиком»... [157] желтые и лакированные пошли за ними... на углу к ним подошло еще двое — их четверо... я не могла больше следить, потому что все они меня хорошо заметили... этот мой клетчатый костюм бросаются в глаза... и золотые волосы... я должна была уйти... я обежала несколько кварталов, чтобы их сбить, и пришла сюда... Но они тут!.. у подъезда... желтые и лакированные!.. Что мне было делать?!.. Они вас схватят, как только вы выйдете, они вас схватят.

Я понял, что опасность действительно есть. В сущности, мы были в мышеловке... Но надо выкручиваться как-нибудь....

— Позовите сюда этих барышень... Пусть переоденут Ирину.

Все с этой минуты пошло очень быстро.. Я вернулся к «Котику», сообразив, что надо быть особенно осторожным сейчас. Конечно, он провокатор. Каким образом эти «желтые» и «лакированные» могли очутиться здесь у подъезда этой квартиры после того, как они стационарировали у квартиры «Котика». Совпадение... Нет, таких совпадений не бывает.

Я сказал ему:

— Вы знаете, эти барышни, в комнате которых мы сейчас, они глупенькие барышни, которые, по счастью, ничего не понимают... Но они начинают волноваться... Ведь я им даже не знаком, вы — тоже... Какое-то таинственное заседание у них в комнате... Они боятся... Вот почему приходится их успокаивать...

Сказав ему еще несколько фраз, я опять вышел в коридор. Ирина была уже готова. Передо мною стояла незначительное существо в каком-то длинном стареньком бурнuse, закутанное в темную вуаль... Неопределенного возраста женщина, скорее пожилая, и бедная...

Я сказал барышням:

— Проводите ее черным ходом... Ирина, выходите через ворота... И не возвращайтесь домой... Ночуйте у знакомых.

Теперь очередь была за Вовкой. Вовку «желтые и лакированные» хорошо видели. И надо было, чтобы он ушел [158] незаметно во что бы то ни стало, ибо если его и не схватят, то за ним будут следить, пока не откроют нашу квартиру. Вот тут-то сыграло роль то непромокаемое пальто, которое я случайно захватил, так как шел дождь. Я одел в него Вовку и нахлобучил на него свою черную фетровую шляпу. Из студента, если и не нарядного, то, во всяком случае, вполне студента, вдруг получился какой-то молодой еврейчик, не то скрипач в дешевеньком ресторане, не то мальчик для подозрительных поручений.

В это время барышни донесли, что Ирина выбралась благополучно.

— Ну, поручик... ваша очередь...

Он ушел. А я пошел к провокатору.

Теперь вопрос состоял в том, как мне уйти... Но это меня мало затрудняло. Из нас троих я был единственный, которого «желтые и лакированные» не видели. Узнать же меня, как Шульгина, если даже они меня знали раньше, почти невозможно. Они увидят перед собой старика с большой седой бородой в какой-то фуфаечке, не то шарманщика, странствующего по дворам, не то мастерового. Эта вязаная куртка, что была на мне, она очень меня выручала.

Главный вопрос состоял в том, даст ли мне «Котик» выйти первым. Если он уйдет первым, он, конечно, укажет меня, и меня уже не выпустят. Но если я уйду первым, то «желтые и лакированные» не могут знать, что я — я...

Я сказал ему:

— Знаете что... Я немножко побаиваюсь за вас... Как бы вас не выследили... Поэтому, подождите еще четверть часа, пока стемнеет. И выходите черным ходом... вас проводят... А я пойду... Завтра к вам придут с папиросами, и, если успеете, я бы хотел еще вас повидать... Вы тогда условитесь с тем, кто вам принесет папиросы.

К удивлению моему он согласился. Значит, он выпускает меня. Или он был уверен в своих «желтых и лакированных», или испугался и боялся себя выдать. Чувствовал ли он, что открыт и если не исполнит того, что [159] я ему говорю, то с ним поступят плохо... Во всяком случае, он остался сидеть в комнате, а я спустился по лестнице и вышел на улицу.

Тут только я сообразил, что мне нечего надеть на голову. В руках у меня была Вовкина студенческая фуражка, но не мог же я ее надеть с седой бородой. Шея мелкий дождь. Я сделал вид, что мне жарко и я подставляю голову «освежающей влаге». Растирая голову рукой, одновременно я маскировал верхнюю часть лица, то есть собственно глаза. Говорят, по глазам легче всего узнать... Я сделал несколько шагов и стал пересекать улицу.

В это мгновение с другой стороны улицы ко мне бросилось двое. У меня было определенное ощущение, что они меня схватят за руки. Я опустил глаза и увидел справа от себя желтые... а слева «лакированные»... Это были они...

Это продолжалось одно мгновение... Они заглянули мне в самое лицо с двух сторон. Тогда я поднял глаза и изумленно посмотрел на одного и другого. . Этот взгляд решил дело.

Очевидно, они оба сказали себе: «Нет, не может быть»... Они пропустили меня, и я прошел между ними. Мне даже не хотелось оглянуться. Я так сильно чувствовал, что я старик-мастерской, которому никакого дела нет до этих господ.

Я обернулся, пройдя два квартала. По-видимому, никто за мной не следовал. В это мгновение я наткнулся на переодетого Вовку, который бродил около, опасаясь, что со мной. Из предосторожности я не подошел к нему, а только сказал:

— Идите прямо... я нагоню вас...

\* \* \*

Я нагнал Вовку, который внимательно читал у какого-то тамбурина.

— Вовка, этого не следует делать... Эти объявления наклеены три месяца тому назад... Он вздрогнул и обрадовался. [160]

— Ну, погуляем... Если эти господа следят, то пусть поработают.

И мы гуляли... хорошим шагом... контрреволюционным... Наконец, мы вышли на длинную улицу, которая была хорошо видна и на которой не было ни одного человека. Тогда я сказал Вовке:

— Теперь мы гарантированы... начисто...

Рекомендую вниманию тех, кому приходится скрываться от слежки, что это единственный способ действительно быть уверенным, что за вами не следят. Если на улице есть хоть несколько человек, каковы с виду они бы ни были, у вас нет уверенности. Но если вы выйдете в такое место, где, насколько доступно оку, нет ни единого человеческого существа, ваша игра отыграна...

В этот вечер по совершенно пустынным улицам, среди дождя и темноты, мы все же разыскали Ирину. Она кочевала у какой-то своей подруги и утверждала, что за ней не следили. У нее на этот счет был очень хороший прием, но о нем умалчиваю, может быть, пригодится еще когда-нибудь...

Мы же с Вовкой вернулись домой.

Мы выскочили на этот раз... Но что же с Ф. М.?! Если этот человек провокатор то значит Эфема схватили. Откуда они могли знать «Веди» и «Слово», как не из писем, которые были на нем...

## **Письмо от Главнокомандующего**

Вера Михайловна вызвала меня на свидание. Она назначила, мне собор. Я пошел туда. За мной на таком расстоянии, чтобы не терять меня из глаз, шел сын — Ляля.

Я чувствовал, что вокруг меня и всех нас шарят ищущие руки чрезвычайки. И потому надо было принимать меры Мы никогда не выходили из дома, не осмотревшись хорошенько, и взяли себе за правило всегда обращать внимание, не следит ли кто-нибудь. Но вдвоем это гораздо легче. [161]

Мне предстояло пройти через большой кусок города. По дороге вышла задержка. Впереди раздались какие-то выстрелы. Люди шархнулись во все подъезды. Улица опустела.

Я сначала не понял, что это такое, но потом сообразил. Это было в своем роде поучительное зрелище.

Сначала показалась цепь красноармейцев, она захватила улицу поперек и от времени до времени палила в воздух. За этой цепью шла толпа людей с маленькими узелочками, мужчины и женщины. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что это наш брат, — контрреволюционеры. Их переводили из центральной чрезвычайки куда-то в другое место, должно быть, в тюрьму. Очевидно, это были важные преступники, если судить, с какой помпой их вели. Не только передняя цепь красноармейцев, но и боковые, которые шли по тротуарам, вдоль самых домов, палили в воздух. Для чего это они

делали... Чтобы в панике население разбежалось по домам, и было им свободно вести добычу...

Я думал о том, что вот Эфем, может-быть, среди них? Но его не было.

\* \* \*

Было еще приключение...

Мы наткнулись на облаву. Облава — это одно из обычных явлений «социалистического рая». Идут люди по улице тихо, мирно, все, как всегда... Но вдруг начинается бегство. Навстречу мчатся люди...

Это значит, они там, впереди, наткнулись на цепь. Часть этих бегущих успеет проскочить. Остальных поймают. Ибо такие же цепи внезапно вынырнут в противоположном конце улицы и на всех боковых. Эти цепи постепенно сближаются и сгоняют людей в одно место. Тогда начинается процедура пересмотра «улова». Иногда, таким образом, ловят тысячу-две, один раз поймали 8000 человек.. Тут же, на улице, начинается проверка документов, ибо цель этих облав поймать, контрреволюционеров, дезертиров, спекулянтов и всяческих врагов Советской Республики. [162]

Облавы эти колоссально глупы потому, что у настоящих врагов советской власти, активных, документы всегда в блестящем порядке. Длится эта процедура много часов, затем подозрительных ведут в чрезвычайку. Естественно, что подозрительными оказываются, главным образом, те, у кого есть деньги. Деньги остаются в чрезвычайке.

Мы с Лялей удачно юркнули в переулок. Как только мы прошли, он замкнулся цепью. Но мы уже выскочили.

Эти люди имели совершенно особый вид и наводили панику. Рассказывали, что одесская чрезвычайка получила из Москвы 400 абсолютно верных и прекрасно выдрессированных людей. Было ли это так, не знаю, но внешний вид их был, действительно, если не устрашающий, то действующий на воображение. На, головах у них были только что примененные тогда новые головные уборы. Они несколько напоминали шеломы былинных русских витязей, но были сделаны из сукна защитного цвета, на каком-то черкасе. На шлеме была нашита большая красная звезда. Остальная одежда, была обычная — форменная, одинаковая у всех и хорошего качества. Люди имели сытый и довольный вид. Очевидно, этих верных псов чрезвычайки холили и лелеяли... На взгляд все это были русские, — но великороссы, не здешние...

\* \* \*

Белый одесский собор. Народу немного... Сейчас нет богослужения.

Я сел на скамейке. Вера Михайловна долго не приходила, И приятно мне было, страшно приятно в храме...

Мне припомнилось, как перед эвакуацией Одессы я был в митрополичьих покоех и думал:

«Ну что же... придут большевики, а это останется...».

И вот «это» осталось. Стоит этот собор, как и остальные церкви в Одессе, и всем своим существом невидимо, ненащупываемо противится красному миру.

Отчего большевики переменили свою политику в отношении религии, — я не знаю. Я даже не знаю, переменили ли они ее там, в Великоруссии, в Москве... Но здесь, [163] в Одессе, я должен засвидетельствовать, что отправление богослужения, как такового, не преследовалось. Все храмы открыты, кроме домовых церквей. Домовые почему-то закрыты.

Отчего это произошло? Оттого ли, что большевики не посмели тронуть религию вообще, или потому, что пришлось бы тронуть одну религию? Ведь невозможно было бы закрыть церкви, но не закрыть синагог...

\* \* \*

Наконец, она пришла... бледная, расстроенная... Это ужасное известие подтверждалось. Нашлись люди, она говорила с ними лично, которые видели, как несчастного Эфема везли. Это были чрезвычайщики. Они держали револьверы у его висков, он был очень бледен и, по-видимому, узнав тех людей, его знакомых, что стояли на тротуаре, отвел глаза...

И вместе с тем она принесла еще другое.

«Котик» опять был. Он очень обижен, что, по-видимому, ему не поверили и прервали с ним сношения; ему совершенно необходимо со мной увидеться еще раз. Он побывал у Варвары Петровны — дамы, у которой жил Эфем. И совершенно убедил ее в том, что он настоящий, а не провокатор. Варвара Петровна в ажиотаже и умоляет с ней повидаться.

Я вышел из собора, но не увидел сына, который должен был меня дожидаться. Зная, что мальчик ни за что не уйдет со своего «поста», я начал сильно беспокоиться. Пример Эфема действовал на меня, и мне мерещилось, что Лялю схватили. Я долго его разыскивал и пережил несколько ужасных часов.

Но дело объяснилось... К вечеру он пришел на одну из наших квартир. Он потерял меня из виду, когда я вошел в собор, бросился разыскивать в соседние улицы, пропустил меня поэтому, когда я уходил, и, верный «долгу [164] службы», метался до вечера вокруг собора, пока ему не пришло в голову искать по квартирам.

Проклятая жизнь... Это вечное беспокойство, дрожание за жизнь людей... Хоть мы и привыкли к этому, но все же...

\* \* \*

Я увиделся с Варварой Петровной...

— Помилуйте, Василии Витальевич...

— Сколько раз я вам говорил, что я не Василий Витальевич, а Иван Дмитриевич...

— Ну, Иван Дмитриевич... Подумайте... что это в самом деле... Да ведь он честнейший человек.



— Кто? ..

— Да «Котик»... Я же его прекрасно знаю... он десять дней каждый день ко мне приходит...

— Как? когда? почему?

— Да потому, что он тот самый, с которым Ф. М. уехал. Господи.. Да я их сама выправляла в дорогу. И то, что у них было, все эти бумаги и письма, все я Котику» собственными руками позашивала.

Да что вы, Василии Витальевич... Честнейший он человек...

— А вы знаете, что Ф. М. арестован?

— Да что вы... Врут они все... врут, все врут... а ваша Вера Михайловна сумасшедшая... и ничего этого не было... я вот перекрещусь вам, чтобы вот так моим сыновьям было, как сейчас Ф. М... так ему хорошо, как, никогда не было... я и на карты бросила,... верно говорю вам...

— «Котик» был у вас теперь?

— Да был...

— Что же он говорил?..

— Да говорит, что довез благополучно Ф. М до этого острова, как он называется... Тендра... И там передал его нашим... а сам вернулся.

— Как вернулся?.. да ведь мне он сказал, что он прямо из Севастополя... А деньги как он получил?.. Тоже на Тендре?.. А господина Л. тоже видел на Тендре?.. [165]

— Да я уже не знаю... Может-быть, перепутал он что, как увидел, что ему не верят..

— А почему же он не сказал, что это именно он ездил с Эфефом?

— Да ведь вы его не спрашивали?

— Я не спрашивал... но Владимир Александрович спрашивал, и он сказал, что не знает никакого Ф. М.

— А как же он мог сказать неизвестному студенту? .. Вели бы вы его спросили, он бы сказал. А вы не спросили... Василий Витальевич?

— Иван Дмитриевич... В соседней комнате слушают..

— Иван Дмитриевич, не губите вы дело... Подумайте, вам письмо, личное от самого Врангеля...

— Как, это еще что? ..

— А то, что вслед за «Котиком» прислали они второго курьера. С письмом от Врангеля к вам и с деньгами, чтобы вы работу открыли... Иван Дмитриевич, не слушайте вы тех... Большое дело можете сделать...

Мне бы то совершенно очевидно, что «Котик» провокатор и что он погубил Эфема. И что этот второй курьер с письмом от Врангеля тоже провокатор. И все-таки...

И все-таки. .. Когда женщина смотрит вам в глаза и вы читаете а них, что, не окажем прямо трусость, а просто «излишняя осторожность» может погубить дело, — это плохая атмосфера для принятия благоразумных решений.

Я решил рискнуть... Она, оказывается, видела уже этого второго курьера.

— Честнейший человек... Офицер... фронтовик... так и видно... Целый день у меня вас ждал. Приходите завтра, я им скажу, в семь часов...

Я согласился.

\* \* \*

Я шел обратно через какой-то базар. Ах, какие там за 200 рублей можно было поесть щи!... Мне очень хотелось. Но это было слишком дорого для меня.

Но зато я не отказал себе в удовольствии пощупать гитару... Хорошая гитара продавалась на базаре. [166] И сверкала так на солнце медными струнами, как золото 10000 рублей...

И когда я взял несколько аккордов на этой золотострунной гитаре, внутренний голос совершенно явственно и отчетливо зашептал:

— Берегись... берегись... берегись...

Мне не было страшно, и он не отговаривал меня от моего решения... Он только настойчиво твердил:

— Берегись... берегись... берегись...

\* \* \*

Бывают же такие случайности...

Когда я шел при белом свете солнца по Н-ской улице я столкнулся лицом к лицу с человеком, который был тогда в «желтых» Теперь я рассмотрел его вполне. Он был одет иначе в темно-синем люстриновом, а на голове форменная фуражка, вроде как у заграничных моряков. И вообще в его облике было что-то заграничное. Он был еврей, — это несомненно. Но я бы сказал — иностранный еврей.

Встретив его я подумал:

«А не будет сейчас маленький толстый, что был в черных лакированных...».

И через несколько шагов столкнулся с этим последним. И этот, несомненно, был тоже евреем. Он был одет одинаково с тем первым, с тем же заграничным отпечатком. Теперь я их великолепно рассмотрел...

\* \* \*

Отравляясь на свидание с почти заведомым провокатором, я должен был принять некоторые меры. Я сделал так:

Во-первых, я решил опоздать на час. Я понимал, что провокатор приведет с собой свой хвост, который расположится на улице. И мне было выгодно, чтобы они пришли раньше меня, потому что, если бы мне удалось остановить наличность агентов чрезвычайки у дома, я бы просто не вошел. [166]

Но для этого мне нужно было иметь свою полицию. Так и было сделано. Я решил поставить дело семейным образом. Я поручил главное начальство Ляле. У него под началом был младший сын — Димка, а в резерве моя жена. Она очень беспокоилась, и я чувствовал, что ей легче будет на «поле сражения».

Они должны были занять свои места раньше условленного времени. Ляля — против дома, Димка — через квартал так, чтобы видеть Лялю и исполнять его телеграфные приказания, жена — около ограды одной церкви поблизости. Я должен был прийти с опозданием на час к церковной ограде. Здесь мне бы сообщили, что там делается около дома.

Я пришел к ограде, как было условлено. Знакомая фигура жены, которую никак нельзя было подогнать под защитный цвет, стояла у ворот. Ее внешность, также как и вид обоих сыновей, всегда меня беспокоила. За три улицы от них веяло белогвардейщиной.

— Мальчики не приходили?

— Нет...

Значит, все благополучно. Я пошел, думая о том, какой жестокой пытке я подвергаю близких. Но как-то мы все дисциплинировались. Надо, так надо. Ни протестов ни упрашиваний... В общем мы научились понимать, что в трудных положениях только отчетливое исполнение того, что надо, спасает дело.

\* \* \*

На условленном углу я нашел Димку. Он в своей красной рубашке и с вьющейся шевелюрой совсем напоминал Ваню из «Жизни за царя». Опера не совсем подходящая к случаю, хотя...

— Благополучно? ..

— Можно идти... Вон Ляля...

\* \* \*

Ляля, по классическом обычаю, применяемому в таких случаях, лузгал семечки. Удивительно, как семечки [168] действуют успокаивающим образом на чрезвычайку. А еще, говорят, верный способ, если кто-нибудь вас подозревает, — пройти мимо и пустить

ему дым в лицо. Впрочем, не пробовал — некурящий... Но знаю, что очень хорошо почаще сплевывать... Плевки и до сих пор служат гарантией демократичности...

— Ну, как дела? ..

— Тех нет.

Под словом «те» он подразумевал бывших «желтых и лакированных», ныне называемых «заграничные жида в морских фуражках». Благодаря сегодняшней встрече я мог с совершеннейшей точностью описать их наружность.

— А кто-нибудь входил в дом?

— Входили, многие... Но невозможно определить... На улице никто не дежурит, это я знаю...

— Ну, я пойду... Тебе хорошо виден балкон?

— Виден...

— Я суду сидеть на этом балконе. В случае чего — наш условленный знак... Если со мною что-нибудь случится, — я запрещаю делать глупости... Понимаешь?

Он приложился головой к моему виску и несколько раз как-то особенно постучал. Это с детства было у него выражением нежности, повиновения и беспомощного протеста...

Расположение было такое.

Вход был только через ворога. Нужный мне дом стоял во дворе, квартира была в третьем этаже. С балкона хорошо было видно улицу, потому что по фасаду были только одноэтажные здания.

Я вошел в квартиру. Варвара Петровна встретила меня :

— Нет его еще...

Это было скверно... Они меня перехитрили. Я опаздывал на час, очевидно, решили опоздать на два... Теперь я в западне, если сейчас не уйду отсюда. Когда он придет, то, разумеется, оставит свой хвост у ворот. [169]

А ведь это единственный выход. Значит, он будет у меня отрезан. Впрочем, я заметил рядом с воротами лавочку. Лавочка, наверное, имеет черный выход во двор, а значит, в крайнем случае, можно будет выйти через нее.

Я стал ожидать. Варвара Петровна продолжала убеждать меня в том, какой хороший человек «Котик», и что новый курьер — тоже хороший. Я сидел на балконе и ясно видел Лялю на скамеечке, напротив. Я даже видел Диму через квартал, по крайней мере, его красную рубашку. Ляля сидел смирно, изредка мельком взглядывая в мою сторону, так что я понял, что он меня видит. Но он не подавал никаких тревожных знаков.

Во дворе под нами появилась высокая фигура в сером.

— Это он, — сказала Варвара Петровна.

— Вы господин Шульгин? ..

— Да... с кем имею честь? ..

Это был неприятный человек. Очень испорченные передние зубы, маленькая, сильно морщинистая голова. Морщины шли кругом, через весь лоб, переходя на щека и подбородок. Зеленоватый цвет лица, лицо — порочное, злое.

— Моя фамилия Петров. Но это вам ничего не скажет...

На самом деле моя фамилия другая... У меня есть удостоверение, которое я предъявлю... Я прислан к вам от военной партии... Надо вам сказать, что в Крыму две партии. Во главе военной стоит генерал Слащев... У меня письмо к вам от Слащева... Я... я — фронтовик... ничего в политике не понимаю... Но мне приказано доставить письмо вам... Приказали ехать в Севастополь... там явиться в разведку... я так и сделал, и мне там указали, как добраться сюда... Есть, кроме того, «куш»... Опять этот «куш»...

— Куш — кушем, но, прежде всего, письмо... Тут я сделал ошибку. Конечно, прежде всего, надо было получить деньги... Но меня так интересовало это письмо, что я даже мало обратил внимания на одно [170]

обстоятельство: Варвара Петровна говорила мне о письме от Врангеля, а «гот говорит о письме от Слащева.

— Итак, письмо?

— Письмо... вот видите... его сейчас нет при мне...

— Вы забыли? .. -

Нет. Я не забыл... я вам скажу откровенно... Мне приказано вручить письмо лично Шульгину. -

Я посмотрел на него, не понимая.

— Вот видите... не угодно ли вам взглянуть... вот мое удостоверение...

Он протянул мне клочок холста, на котором было написано удостоверение от какого-то штаба. Была и печать. Для меня, разумеется, это не могло служить никаким доказательством. Сколько таких же удостоверений, только большевистских, было изготовлено в свое время по моему поручению.

Но я сделал вид, что это для меня вполне убедительно.

— Да все в порядке... А дальше? ..

— Так вот, видите ли, я, значит, удостоверяю свою личность... а чем вы можете удостоверить, что вы именно и есть Шульгин? ..

Этого поворота я меньше всего ожидал. Очевидно, я, действительно, так изменился, что не только меня не могут узнать, но даже когда я сам заявляю, что я — я, мне не верят.

— Потому что, видите ли, — продолжал он, — я получил сведения, что Шульгин, или, что тоже, «Веди», великолепно скрывается или маскируется и что он очень осторожен. И в особенности после того, что произошло вчера, Варвара Петровна, я в особенности....

— А что же произошло вчера? .. — удивилась Варвара Петровна.

— А вот что... Я, как вы знаете, целый день ждал у вас прихода «Веди», но он не пришел... Но когда вы поздно вечером меня провожали, то около ворот я увидел высокую темную фигуру, которая там притаилась... Это, конечно, и был. «Веди»... И правильно, так и надо поступать... [171]

В течение этого разговора я не терял Лялю из глаз. Мне казалось, что он проявляет признаки беспокойства. Наконец, я определенно увидел, что он делает мне тревожный знак большой опасности... Этот знак был в том, что он подносит платок к носу, будто бы у него насморк... Он несколько раз сделал этот жест, сидя на скамейке, потом, очевидно, боясь, что я не заметил этого жеста, он перешел через улицу, все время держа платок у лица.

Какая могла быть это опасность, о которой мальчик так определенно сигнализировал? Для меня это было очевидно. Это значит, что агенты чрезвычайки у ворот и что предо мной сидит подлинный провокатор. Это значит, что надо попытаться вырваться отсюда...

Для этого нужно: с одной стороны — дотянуть до темноты, чтобы облегчить себе бегство, если оно понадобится, а, с другой — надо поддержать в нем сомнение, что человек с седой бородой, который сидит перед ним, не Шульгин, а подставное лицо. Тогда ему будет полный расчет меня выпустить, чтобы проследить меня и, таким образом, добраться до настоящего «Веди»...

В это время Варвара Петровна решила прийти мне на помощь.

— Да что вы, голубчик... Я Василия Витальевича десять лет знаю. Самый он и есть, настоящий, перед вами... Что вы выдумываете!..

Эта женщина была необычайно сообразительна...

Я сказал:

— Вполне вас понимаю... Но, если хотите, давайте сделаем так... Все равно у вас нет письма с собой, так давайте сойдемся еще раз... ну завтра... вы принесете письмо, а я достану вам доказательства... . Ну, хотите, например, паспорт Шульгина? ..

— Нет, какое же это доказательство... Паспорт...

— Вы что же думаете, что вы, как не специалист, не сумеете отличить подложного паспорта от настоящего? ..

— Нет, я-то специалист...

Тут я подумал: «Странный фронтовик, который в то же время специалист по подложным паспортам». [172]

— Нет, я-то специалист, но это так, ведь, просто... Шульгин даст вам настоящий свой паспорт, и вы с ним и придете... Какое же это доказательство.

— А какое же вы хотите?

— Да вот давайте поговорим. Например, если бы вы могли мне рассказать что-нибудь о лицах, несомненно близких к Шульгину... Вот, например, у вас был племянник, редактор газеты...

Я понял, что он хочет...

— Вы говорите о Ф. А. М.?

— Да... Он же Петр Иванович З-ов...

Он хотел этим еще больше вверить меня в своей подлинности, называя мне фальшивое имя Эфема, то самое имя, под которым он жил здесь у Варвары Петровны, вон там, через эту столовую, где уже становилось сильно темно...

Я сказал.

Но не в моих интересах было убедить его, что я — я..

— Ну, какое же это доказательство .. Пол-Одессы знает, что Ф. М. племянник Шульгина... Знаю это, конечно, и я, — и могу знать и в том случае, если я — не я, то есть не Шульгин, кто-то другой...

Я не видел больше Ляли... Он, очевидно, переменял позицию. Я перевел разговор и стал расспрашивать о Крыме, чтобы затянуть время.. Быстро темнело... Больше напряженными нервами, чем слухом, я почувствовал стук во входную дверь Варвара Петровна, которая перед тем ушла, в глубину квартиры, вернулась на балкон.

— Там ваш Ляля пришел. В передней... Я извинился перед «фронтовиком-Петровым» и вышел в переднюю. Там была абсолютная темнота. Ляля не заговорил до тех пор, пока я не нащупал его руками. Он боялся говорить в этой квартире.

— Ну, что?..

— Никаких сомнений... Это они ..

— Кто?.. [173]

— «Заграничные жида в морских фуражках»...

Я их хорошо рассмотрел... Они пришли за этим серым, высоким... и стоят у ворот.

— Это они — наверное.

— Наверное... Один большой, другой меньше — толстый... Оба бритые, в морских фуражках... совсем как ты рассказал, это они...

— Ну, хорошо... Беги Ляли... Я сейчас за тобой... тоже буду бежать...

Он постукался лбом о мой висок...

— Я подожду тебя у скамейки...

Ему нельзя было отказать.

— Ну, жди...

Я не пошел больше на балкон.

Я стал шарить по квартире в полной темноте, отыскивая спальню Варвары Петровны. В спальне я искал туалетный столик. На туалетном столике я нашел ножницы... Потом нашел умывальник. И над умывальником на ощупь стал снимать свою знаменитую седую бороду.

В это время входную дверь кто-то открыл ключом. Я сообразил, что это, должно быть, сестра Варвары Петровны. Что с нею будет, если она войдет сюда со светом и увидит эту дикую картину. Перепугается насмерть, подымет сумасшедший крик. А она чиркнула спичку и идет сюда... Тогда я пустая в ход фразу почти что из Пиковой Дамы».

— Ради бога, не пугайтесь...

Она испугалась, но не крикнула. В это время, покончив с бородой, я изменял свой туалет... Я сбросил пиджак и пустил рубашку на выпуск.

— Дайте мне какой-нибудь поясок.

Она послушно стала шарить, запалив ночничок, и подала мне огрызок какого-то ремешка. Он не сходил наполовину, но терять времени больше не стоило. Я схватил огрызок и вышел из квартиры. [174]

Сбежал по лестнице во двор. Тут мне пришла в голову лавочка. Вот какой-то ход, очевидно, сюда. Опрошу папирос... И выйду через тот ход на улицу...

Вошел... У них светло... По странным лицам каких-то девушек, которые что-то кому-то продавали, я сообразил свой вид. Вероятно, борода, подстрижена невозможно, и потом эта рубаха на выпуск, лиловая, ночная... Однако, они продали мне папиросы. Но когда я хотел выйти на улицу, сказали:

— Нет, заперто... выходите через двор...

Если бы эти женщины знали, как мне неудобно, как меня «не устраивает» выходить через двор... Но делать нечего... надо выходить.

Я закурил папироску для большей ноншалантности и переступил порог.

\* \* \*



Я решил уходить не вправо и не влево, а прямо перед собой, поперек улицы и затем по улице, упирающейся в эту.

Прямо от ворот я пошел очень быстрым шагом. Было полутемно, но, очевидно, меня выдала походка... Я не успел перейти улицу, как почувствовал за собой спешащих людей. Должно быть, я на одно мгновение обернулся, мне кажется, я видел, как они отделились от стенки. Я ускорил свой шаг и, быстро проходя мимо Ляли на скамейке, пыхнул папироской, чтобы он увидел мое лицо... Народу было мало на улице, и я чувствовал за собою торопливые шаги. Я знал, что за этим кварталом будет улица налево, та еще пустынной... Дойдя до угла, я брошусь влево и побегу. Черт с ними!

Неужели я дамся этим мерзавцам, не испробовавши быстроту нот! В молодости я бегал, не как Ахиллес, конечно, но все же недурно...

За собой я слышу бег этих людей, кажется, какие-то крики... Я пробежал улицу, бросился вправо, влево еще куда-то... не слышно больше? Да... Потеряли?. Или задохлись?.. [175]

«Заграничные жида в морских фуражках»!.. ведь, он был толстый, этот маленький, очевидно, задохся... А русские контрреволюционеры, вышколенные на голодных хлебах, легки на бегу...

«Потворствуй русской силе»!..

\* \* \*

Покрутившись еще по улицам, я пошел на условленное место сбора. Оно было у ограды этой церкви. Ни жены ни Димы уже не было. Меня беспокоил Ляля... Но вот из темноты вынырнула его белая рубашка. Те, кто не жили в советском раю, не знают, что значит выражение: «жив и невредим»... «Кто на море не бывал — богу не маливался»... Кто ищет сильных ощущений, например, скучающие английские денди или эксцентричные янки, могли бы излечиться от сплина и скуки... Меня удивляет, отчего они не совершают увеселительных прогулок в Совдепию с женами и детьми..

— Ах... как они бегали!..

— Ты видел? ..

— Да,, видел все!.. Я в восторг пришел, когда ты помчался... а они за тобой... большой и толстый... но как ты бежал!..

— Да ты же как за этим следил? ..

— А я бежал за вами... они за тобой, а я за ними... Будто бы я тоже преследую... Но они не могли... тот толстый скоро задохся, остановился и стал по-жидовски ругать того большого и кулаками ему в нос... Это они так разозлились, что выпустили... А потом ко мне бросились... поняли... Я побежал от них не очень скоро, так, чтобы посмотреть, что они сделают... Но они сейчас же отстали...

Положительно было жарко в этот теплый майский вечер. Он даже был душный: как бывает, когда звезд нет, а тучи, как бы ватным одеялом, прикрывают город. Это было 28 мая по старому стилю...

Мы пошли с Лялей... Уже было совсем темно. И эта темнота была приятна, как безопасность. На одном углу светился рундук. Я купил Ляле... не семечек, а шоколаду... за «спасение отца»... Он был очень тронут... [176]

Нам предстояло еще очень много деда в этот вечер.

Теперь чрезвычайка ясно понимает, что я вижу их карты. Бег за мною «заграничных жидов» ясно доказал, что и «Котик» и этот второй, «фронтовик Петров», — провокаторы... Значит, я больше не пойду на эти удочки: им остается одно: захватить тех лиц, которые, по их мнению, имеют с нами связь. Надо было предупредить теперь же их, какой оборот приняло дело, и посоветовать кой-кому в эту же ночь переменить квартиры.

Но ничего этого нам не удалось сделать. Ибо никак нельзя было добиться в квартиру. По советскому декрету в то время в десять часов закрывались все ворота, и добиться какого-нибудь толка от смотрителей двора (новый титул дворников) было в высшей степени трудно.

Мы ходили долго, наблюдая, как быстро замирает жизнь среди темных, только кое-где отдельными фонарями освещенных, улиц.

Впрочем, все было по-иному.

\* \* \*

Но надо было еще добраться на квартиру, где жил Ляля с матерью и братом. Как они должны были беспокоиться? Эта квартира была очень удобная. Она выходила окнами на улицу, и подоконники ее были на аршин от земли. При этих условиях сдать Лялю через окошко в темную комнату, откуда неся взволнованный шепот, и протягивались дрожащие руки, не представляло затруднений.

\* \* \*

Я пошел один... Время становилось совсем позднее, я чувствовал, что наскочу на патруль. Если бы не мой туалет и эта ужасно обстриженная борода, это мне было бы безразлично. Я уже ночевал в районе за позднее хождение и знал, что там делается. Но тут, в таком виде...

Совсем не далеко от дома я таки «влип»...

— Кто идет? ..

Что им ответить? .. [177]

— Человек идет... вольный...

Слово «вольный» обозначает штатский. Кто мог быть в этом патруле? Конечно, солдаты.

— Отчего так поздно, товарищ?..

— Да разве поздно? ..

— Три часа било...

Советские часы переведены на три часа вперед. Три часа обозначают полночь.

— Ну, вот, так я и знал... Я же им говорю, что поздно... а они все: успеете, да успеете!.. Вот и успел... Часов нет. Если бы я еще необразованный человек, а ведь я же знаю, что надо закон исполнить... Сказано нельзя, — значит, нельзя...

— Да откуда вы, товарищ, идете?.. Из больницы, что ли?..

— Почему из больницы? .. от знакомых,..

— В рубашке? а пояс где? ..

По счастью, огрызок был у меня до сих пор в руках.

— Пояс вот!.. оборвался... Они пощупали ремень...

— Документ есть? ..

— Есть...

— Какой? ..

— Паспорт...

— Только? .. а советский документ? ..

— Ну, на что мне советский документ?.. Мне пятьдесят лет, значит, я не дезертир, на должности не состою, — на что мне советский документ? ..

— Как же так, товарищ... Столько времени, как советская власть настала, а у вас документа советского нет... Пойдем в район!..

— Товарищи, ей-богу, тут живу, совсем близко... Мне что! — в район, так в район, — да дома беспокоиться будут, сами знаете: время какое...

— Да нельзя никак, товарищ... Вы же понимать должны, что мы службу должны исполнять...

— Я к вам не имею претензий. Эх, черт!.. Вот так всегда русский человек... Все авось да авось, дойду да дойду, вот и дошел... [178]

— Да вы чем, собственно, занимаетесь?

Тут меня осеняло вдохновение... Патруль обступил меня кругом, вроде, как публика. И я внезапно «впал в роль».

— Чем я занимаюсь? .. Ведите меня в район — вот что!.. Мне все равно... чем я занимаюсь? Как вы меня спросили, — так лучше бы не спрашивали!.. Потому, — я человек пропащий... Все равно — в район, так в район !..

Наступила почти драматическая пауза..

— Чем я занимаюсь?.. Как бы не так?.. Чем я занимался!.. Скрипачом был, скрипку имел хорошую... Вот в оркестр договорился... Так вот нате... заболел!.. Сыпняк. Денег нет... Продал скрипку... Теперь, какой я человек?! Скрипач без скрипки... Где ее возьму?.. Что мне с этой чертовой гитары!.. Гитара у меня осталась. Учю романсы распевать... Так много ли их, дураков, ко мне ходит? Сыт с этого будешь?!

Длинная пауза. Кажется, они были растроганы .. И с заднего ряда кто-то сказал:

— Отпустить бы...

Тогда, старший, почувствовав «глас народа», который действительно был для меня и данном случае почти что «гласом божьим», оказал;

— Ну, как вы скрипач, товарищ...

И прибавил:

— Только не попадитесь другому патрулю... Тихонько идите, не шумите...

О, русский народ... Зверь-то ты, зверь... Но самый добрый из зверей...

Добрался домой благополучно... но без «письма главнокомандующего», конечно... [179]

## У моря

Вкратце говоря, наступил период, который можно было бы обозначить:

Мной овладело беспокойство —  
Охота к перемене мест,  
Весьма мучительное свойство...

Чрезвычайка каким-то образом выследила, где я живу, и узнала фамилию, под которой я скрываюсь. По этому поводу пришлось менять не только квартиру, но и имена, и пройти практический курс подделывания паспортов, метрик и других документов, как для меня, так и для других лиц, запутавшихся в эту историю. И так, я жил сначала у одного украинца, потом у одной гречанки, затем у немки и в других местах. В одном месте меня едва не избрали председателем домкома, в другом хотели привлечь за кражу (по счастью истинный вор вовремя нашелся). Профессии мои также менялись: я был музыкантом, артистом, учителем, библиотекарем...

Из одного дома мне пришлось спешно выехать, потому что... j'ai tonché du piano неосторожно... По особенностям моего «туше» соседи безошибочно определили, что я человек весьма подозрительный. В конце концов, я перешел к системе жить в нескольких местах одновременно под разными фамилиями. Но эта система требует некоторого напряжения памяти, чтобы не перепутать своих прежних жизней, а также ясно помнить историю о жизни всех сродников каждого отдельного «я». Но, в общем, я справлялся.

\* \* \*

Квартира у немки была мрачная. Она действовала на меня угнетающе. Вечная мысль о судьбе несчастного Эфэма довела меня до поступка, достаточно бессмысленного.

Я знал адрес «Котика». Знал также, что бывает «фронтовик Петров» и «заграничные жида». Я послал по этому адресу письмо, приблизительно, следующего содержания:

«Высшим представителям советской власти в Одессе:

Милостивые государи. Обращаюсь к вам по нижеследующему поводу. Распоряжением Чрезвычайной Комиссия арестован Петр Иванович З-ов, в судьбе которого я [180] принимаю ближайшее участие. Я предлагаю вам обмен: я готов явиться в Чрезвычайную Комиссию в том случае, если вы выразите согласие возратить П. И. З-ву свободу. Если вы согласны на этот обмен, напечатайте в „Известиях» в отделе справок нижеследующую фразу:

«Товарища Веденецкого просят явиться немедленно. Если это будет напечатано, я буду считать это вашим согласием освободить З-ова, в течение трех дней после напечатания явлюсь в Ч. К.

«Я знаю, что у социалистов совершенно иные понятия о чести, чем у нас. Поэтому я не исключаю возможности, что вы меня обманете. Но, с другой стороны, я думаю, что, несмотря на всю разницу, существующую между нами, не все человеческое вам чуждо. Для того же, чтобы вам было ясно, почему я решаюсь на этот шаг, я должен объяснить, что З-ов арестован исключительно из-за меня, так как лично он имеет весьма мало отношения ко всему этому делу. Я буду ждать вашего ответа в течение трех недель. (Подпись)».

\* \* \*

К беспокойству за Эфема присоединился страх за других. Дело в том, что чрезвычайка, добравшись до моей первой квартиры (мне повезло: я ушел с этой квартиры утром того дня, когда, они явились), захватила в свои когти Ирину Васильевну. Правда, они не арестовали ее, но подвергнули утонченным пыткам, в виде ежедневных допросов, и окружили непрерывной слежкой.

Мне удалось при помощи целого ряда хитроумных комбинаций поддерживать с ней связь. Между прочим, она успела сообщить, что если она будет вызывать нас на свидание или что-нибудь подобное, не верить ни единому ее слову. Это было не особенно понятно, но главное состояло в том, чтобы она всегда знала мой адрес для того, чтобы в нужную минуту знать, куда бежать.

\* \* \*

И бессознательно и сознательно я все время стремился устроиться поближе к морю. Я чувствовал, что при сложившихся обстоятельствах я бессилён помочь Эфему, что [181] я с каждым днем вовлекаю в опасность новых лиц, помогавших мне так или иначе, что инициатива вырвала из моих рук и перешла к чрезвычайке, что борьба становится совершенно неравной, главным образом, из-за отсутствия денег. Я пробовал действовать подкупом через третьих лиц, но скоро мне стало ясно, что те суммы, которые я бы мог собрать, недостаточны.

Как следствие всего этого, вырисовывалось одно определенное решение: надо бежать в Крым. Надо бежать и пробовать сделать что-нибудь оттуда.

Сухопутный путь был на Александровск в то время. Ибо у нас было предчувствие, что его рано или поздно возьмут войска генерала Врангеля. Но здесь было много трудностей. Мои друзья работали по подготовке соответствующих документов, удостоверений и командировок. Рядом с этим разрабатывался «морской драп», как мы выражались.

В связи с этим, но и по другим причинам, я очутился «у самого синего моря»...

\* \* \*

Да, оно было пленительно синее... Никогда, кажется, за всю жизнь оно так не манило меня. Море всегда — «зовущее». Даже в самое спокойное, золотое, «старорежимное» время. А теперь...

Теперь, ведь, за этой синей пустыней лежит спасение, — земля обетованная...

\* \* \*

У «самого синего моря» я устроится весьма удобно. Я изображал из себя советского служащего одного из бесчисленных советских учреждений, получившего отпуск для поправления здоровья и нуждающегося в морских купаниях. На этот предмет у меня был документ, в котором были подделаны подписи, а бланк и печати были самые подлинные.

Делается это так. Впрочем, оставим это... вспомним с благодарностью тех, кто это делал, а рецепт оставим про себя: пригодится... [182]

\* \* \*

Мы жили с сыном, Лялей, вдвоем. Неудобство этой квартиры было в том, что, кроме садовых скамеек, никакой другой мебелировки не имелось. К тому же у нас к этому времени совершенно не стало вещей, почему мы спали на голом полу. Кроме того, у нас была одна выходная рубашка на двоих. Но это уже относится к разряду удобств, ибо вследствие этого мы никогда не выходили вместе, а только поочередно и, следовательно, меньше привлекали внимание.

К неудобствам этой квартиры можно, пожалуй, отнести то обстоятельство, что у нас систематически нехватало денег. Но в самую трудную минуту обыкновенно судьба выручала.

Иногда бывали инциденты, которые меня глубоко трогали. Почему люди, совершенно мне далекие, о которых я даже не знал, вдруг оказывались такими близкими, заботились обо мне, доставали мне все необходимое?..

\* \* \*

Однажды я особенно долго лежал на высоких обрывах.. Ах, оно в этот день было особенно приглашающее... Типичное «драп-море». Легкий ветерок, чтобы не было жарко и чтобы не было большой волны. Ничего грозного, опасного в нем, только что-то большое. Пора... положительно пора...

Когда я вернулся домой под вечер, Ляля встретил меня в саду:

— У нас гости... одна дама, она говорит, что ты ее знаешь, но она не хочет себя назвать...

Я вошел и поздоровался с этой молоденькой женщиной, которая действительно казалась мне несколько знакомом. Но только, когда она не выдержала и рассмеялась, я узнал Ирину Васильевну: она была в темном парике и загримирована «четвертым номером», т. е. под смуглянку...

— Когда вы ушли, они пришли в тот же день...

— Кто они? .. [183]

— «Заграничные жида»...

— Как они узнали?

— Они выследили меня, должно быть... но меня уже не было дома, когда они пришли. Они пришли под видом служащих Жилотдела... На самом деле это были чрезвычайщики, мне хозяин дома сказал. И через два дня я получила повестку явиться в «Чрезвычайную Комиссию»... Я пошла. Сначала хотела бежать... А потом решила пойти. Он стал меня спрашивать.

— Кто он?

— Следователь, которому было поручено все это дело. Он меня спросил, куда исчезли мои жильцы. Я сказала, что я не знаю и что сама очень беспокоилась. Он спросил фамилии, хотя он их знал от хозяина и дворника, но стал вас называть почтительно Иван Дмитриевич и Владимир Александрович.

Тогда в ему стала рассказывать все, как мы условились... Он всему как будто верил. И потом вдруг спросил: «А зачем вы 7 мая были в квартире такой-то?». Тут он меня поймал. Потому что он спрашивал о той квартире, где было свиданий с «Котиком»...

Я видела, что я сейчас запутаюсь и будет мне конец, и чувствовала, что надо сделать что-нибудь особенное. А надо сказать, что нас вызывали вдвоем с мужем... и вдруг мне мелькнуло... Я сказала ему тихонько: «Удалите мужа...».

Он под каким-то предлогом выслал Владислава... Когда, мы остались одни, я стала сильно плакать и сказала, что, если он меня не выдаст мужу, то я все скажу... Он обещал, и я ему созналась, что у меня в этой квартире было любовное свидание с Владимиром Александровичем, и что Иван Дмитриевич покровительствовал нам...

После этого мы стали как бы друзьями... Он мне сказал, что Иван Дмитриевич и Владимир Александрович — честнейшие люди, но что над ними повисло обвинение в злостной спекуляции и так как это карается очень строго, то они и сбежали... Но на самом деле Чрезвычайной Комиссии известно, что они не виноваты и что им надо вернуться, чтобы себя обелить... Больше в этот день ничего не было. Он отпустил меня домой, на следующий день он ко мне приехал...

Тут опять была масса разговоров, я [184] еще больше плакала. И немножко стала возмущаться Владимиром Александровичем, что он меня бросил и ничего не сообщил, и что я не знаю даже адреса. И даже я стала чуточку сомневаться, любит ли он меня... А если любит, то, вероятно, постарается увидаться, хотя бы это и грозило опасностью. Потом я настойчиво спрашивала, может-быть он настоящий спекулянт, так я не хочу иметь с ним дела... Он меня разубеждал и говорил, что В. А. честнейший человек... В

конце концов, я согласилась помогать ему в его деле «обеления В. А. и И. Д.» и сказала, что сделаю все возможное, чтобы как-нибудь отыскать след В. А. Но перед этим я устроила бенефис слез и повела его к иконе.

— Да, ведь, он жид?.

— Нет, русский... Я его заставила клясться перед иконой, что он никакого зла Ив. Дм. и Вл. Ал. не сделает. Он говорил: «Да почему вы так о нас думаете?». Я ответила: «Вы все-таки чрезвычайка, вы людей убиваете и пытаете»...

Он мне клялся, что никого они не пытаются уже больше... Так продолжалось несколько дней... Наконец, он стал уже нетерпеливый... некоторое время мне удавалось смягчать его тем, что я ездила с ним кататься по Французскому бульвару (у него своя лошадь), потому что он почему-то был убежден, что Ив. Дм. живет, где-то на Французском бульваре. Про каждого высокого седого он спрашивал: «А это не Иван Дмитриевич?». А я дрожала: а вдруг я действительно вас увижу и выдам, — он ведь мне в самое лицо смотрел... и ловил выражение...

Наконец, он мне сказал, что, если я до такого-то дня ничего не сделаю, то меня арестует, а если я сбегу, арестует мужа... Тогда я стала думать о том, что надо услатить куда-нибудь мужа... Это удалось, он получил командировку. А я... мне очень помогло то письмо, которое вы мне написали... Оно было так написано, что я могла показать ему. Он был очень обрадован, узнав, что Вл. Ал. просит свидания... Я написала вам письмо, назначая свидание, и ему показала...

Свидание было назначено в одном скверике... Я сидела, как дура, [185] на скамейке три часа... Я насчитала, что вокруг меня было семь сыщиков... Один из них одно время даже сел на ту же скамейку, на которой я была, и из кармана его торчал револьвер... Конечно, никто не пришел, и он страшно рассердился... Но я ему сказала, что, если он будет сажать таких дураков-сыщиков, которые будут садиться на ту же скамейку, то Вл. Ал. совсем не придет, потому что он-то не дурак: он, наверное, был, но увидел мой антураж и ушел. И теперь, наверное, будет мне не верить. И опять плакала. Он очень ругался и говорил, что с «этими болванами» ничего нельзя сделать...

\* \* \*

— Ну, и так далее... Все это продолжалось в этом духе... То он заставлял меня приходиться к себе, то ко мне приходил... То он мне верил, то начинал подозревать... Труднее всего мне было изображать, что я — дурочка... А на этом все шло... Между прочим, этот человек...

— Он идейный, по-вашему?

— Идейный? .. нет... Но он и не продажный... Между прочим, я видела, как он сам себе рубашку стирал... У него не было много денег... Но честолобец... упрямый... и без всякой жалости... О, я дрожала... он бы всех, всех вас расстрелял... совершенно спокойно... Страшный человек.

— Как вы думаете, — они пытаются по-прежнему?

— Нет... не думаю... не из жалости... а просто сочли, должно быть, невыгодным... Я страшно боялась, что они будут меня пытаться. А вдруг я не выдержу... мне даже не



хотелось, чтобы мне сообщили ваш адрес... Но нет... видимо, у них другие способы, более совершенные... Раз он рассердился, вышел из себя и сказал:

«Знаете что, я несколько месяцев буду работать, но я их поймаю всех...». Они думают о нас, что мы — сильнейшая организация... Они не знают, что у нас нет денег. Между прочим, он знает про ваше письма «вышшим представителям советской власти»... Он мне сказал: «Иван Дмитриевич с нами в переписке»... [186]

— Почему же они ничего не ответили, не напечатали?

— Не верят... боятся ловушки... Они думали, что, если они это напечатают, то подадут кому-то условный знак, которого вы хотите... Они ни за что не могут поверить, что вы придете... Между прочим... Эфем жив... Я знаю наверное... Они его держат под страшным секретом, но одна дама, которую выпустили из чрезвычайки, его видела, с ним говорила. Он совершенно помирился со своей участью... и готов к смерти... Но бодр.. и всех там поддерживает...

\* \* \*

— Как-то они меня позвали на Екатерининскую, № 3... Там у них было что-то вроде вечеринки...

— Зачем же они вас позвали?

— Дело в том, что он мне все-таки верил... Но другие, видимо, над ним смеялись... И вот он привел меня, чтобы им показать, чтобы и они убедились, что я дура... Это был вечер!.. Там и жены их были и любовницы... И эти были, «заграничные жида»... они действительно — заграничные... Они из Германии... Даже по-русски плохо говорят. Одного из них зовут Макс... Ах, это был вечер, пили вино... играли... веселились... я думаю, что через этик дам можно было бы кое-что сделать. .. им легче всего всунуть взятку... им хочется одеваться...

\* \* \*

— Мне очень трудно было бежать... За мной следили неотступно... но я их все-таки обманула... Правда, меня нельзя узнать... Не даром я в театре... Но где же я буду спать?..

\* \* \*

Ирине Васильевне не прошло даром это напряжение нервов. Игра в «кошки-мышки» с чрезвычайкой сказалась теперь, когда она очутилась в сравнительной безопасности...

Днем все было хорошо. На даче никого не было, кроме нас, она никуда не выходила за пределы сада. Но ночью... [187]

Но ночью дело принимало скверный оборот. Ночь мы проводили под знаком — «идут!».. Ей все казалось, что агенты чрезвычайки идут нас арестовывать. Никакие убеждения не действовали. Она всегда придумывала новый способ, каким нас могли бы «выследить». На счастье дача имела два выхода, так, что можно было бежать даже в случае, если бы вошли в одни из ворот. Но можно было бежать даже в том случае, если бы окружили с двух улиц, — через другие дачи. И вот из-за, этого все и происходило: если возможно спастись, то преступно проспать! Поэтому она и не спала всю ночь напролет,

прислушиваясь, приглядываясь, постоянно вскакивая и обходя сад по всем дорожкам в ночной темноте. Чтобы ее успокоить, я пробовал устраивать дежурства, наконец, ложиться в разных местах сада, откуда могли войти, но беда в том, что у нее слух и зрение обострились до такой степени, что она слышала шаги на таком расстоянии, с которого мой слух совершенно ничего не улавливал, и видела там, где зоркие глаза Ляли ничего не усматривали. Поэтому она никому не верила, кроме как самой себе. Никогда не спала и не давала никому спать.

— Слышите... тише..., да как — же вы не слышите!.. идут!..

— Ну, допустим, идут... Ну, пусть себе идут... Но она не успокаивалась, пока, пройдя мимо, шаги не затихали. Через десять минут она слышала новые шаги, и так до бесконечности...

Это, в конце концов, переходило в пытку. Но кончилось самым неожиданным образом. Изведенный, я сказал ей однажды:

— Неужели вы так боитесь смерти?.. Ну, хорошо, идут, придут, возьмут, расстреляют... Ну, черт с ними!.. Ведь, хуже смерти ничего не бывает...

И это странное рассуждение подействовало. По-видимому, она боялась чего-то, что хуже смерти. Когда она ясно поняла, что рискует только этим, — она заснула. Заснула, хотя совершенно негде было спать. Ничего, кроме садовых скамеек... [188]

\* \* \*

Надо было поскорее устраивать «морской драп». Для этого я решился на одно путешествие: надо было пройти верст 35 по берегу моря. Конечно, мне нужны были документы. И мне смастерили превосходные. Я получил приказание от соответствующего советского учреждения «осмотреть помещения для расстановки конных постов» по берегу.

Как необычайно ретивый службист, я вышел в тот же день. Ведь, Врангель каждую минуту может сделать десант, расстановка постов дело важное и спешное.

По дороге я встретил трагикомичное и, вместе с тем, поучительное зрелище.

Навстречу мне, по шоссе, шла группа людей; не то большая артель, не то рабочих, не то арестантов. Когда они приблизились, я увидел, что это среднее между тем и другим: это государственные рабы советской власти.

В это время декретом советской власти в Одессе все вообще люди были разделены на несколько разрядов или категорий. Первая категория — это привилегированная, получающая полный паек от советской власти. Вторая категория — это те, которые почти ничего не получают, — им предоставляется околевать с голоду, но на свободе. Третья же категория, которых кормят впроголодь, но лишают свободы.

За какое-нибудь преступление? Нет. Просто известная часть одесского населения, не имевшая, по мнению советской власти, достаточно почтенных занятий, была заключена в концентрационные лагеря и гонялась партиями на работу.

Одна из таких партий шла мне навстречу. Поучительность этого зрелища была в том, что вся партия состояла сплошь из евреев.

Что это были за люди? Самые разнообразные. По всей вероятности, наибольший процент здесь был из тех спекулянтов, что тучами бродили около кофейни Робина в [189] былое время. Теперь всех этих гешефтмахеров дюжие солдаты гнали по пыльной жаркой дороге на какие-то сельскохозяйственные работы.

Воображаю, что они там наработают! Для того, чтобы судить об этом, я как бы нарочно встретил другую партию, тоже исключительно из евреев. Эту уже пригнали на место. Они починяли мостовую. Поистине жалки до комизма были эти типичные еврейские ничемные в физическом труде фигуры с кирками и лопатами в руках. Они впятером ковыряли ровно столько, сколько, сделал бы один деревенский парнишка.

Я думал...

Вы, бессмысленно ковыряющие одесскую мостовую под лучами палящего солнца, поняли ли вы, наконец... При «самодержавии» вы торговали властью, кушая мороженое у Фанкони, а теперь — не угодно ли... Долбите камень, приготовляйте щебень и прославляйте Великую Русскую Революцию, которая принесла вам равноправие...

Когда я прошел верст 25, мне стало жарко до нестерпимости. Вот какая-то деревня. Зайду, попрошу пить.

Зашел. Спиной ко мне сидел человек. Я попросил у него воды. Он обернулся и оказался красноармейцем. И вместо воды оглядел меня с головы до ног и потребовал у меня... документ.

Я счел за лучшее рассердиться.

— Я по казенной надобности иду, а вы мне документ!..

А вы сами кто такой?

Он посмотрел на меня так, как обыкновенно в этих случаях смотрят солдаты. И сказал:

— Ну, так пожалуйста...

Я понял, что надо идти за ним. Он ввел меня в хату. Очевидно, это было караульное помещение.

За большим столом сидело человек пятнадцать красноармейцев. Мой солдат, вытянувшись, обратился к одному из них: [190]

— Товарищ командир, разрешите доложить: вот не хотят документы предъявлять.

Товарищ командир перевел на меня вопросительный взгляд. Я сказал:

— Вам, товарищ командир, я, конечно, предъявлю документ. Только, пожалуйста, — про себя...

Это значило, что у меня секретная командировка, которую я не могу предъявлять всякому. Но ему, в виде особого доверия, предъявляю.

Он взял документ и внимательно прочитал. И посмотрев на меня, отдал мне документ.

— Вы свободны, товарищ... Только я вам советую идти не большой дорогой, а тропинкой... ближе...

Он стал объяснять мне куда идти, при чем я в глазах его ясно прочел: «Вот эти старорежимные. Контрреволюционеры они — все, а службу знают, ведь, вот действительно, секретная командировка, — правильно поступает».

В ответ мои глаза говорили : «Ну, конечно, я буржуй... и не скрываю; но раз я у вас на службе, я ее исполняю за совесть».

Он приказал солдату проводить меня, и тот, наконец, напоил меня водой. Но, когда я вышел оттуда, мне все-таки было жарко.

К вечеру я пришел туда, куда мне нужно было. Когда я переступил порог хаты, пожилая хохлушка-хозяйка встретила меня фразой:

— Отчего вы так согнулись?.. Отчего вы ходите все так, в землю смотрите? .. А они вот так!.

И она выпрямилась...

Этой загадочной фразой она давала мне понять, что она прекрасно знает, из какого я рода-племени и чего мне нужно.

Впрочем, она прибавила:

— За полверсты, как я вас увидела — вы шли по берегу, то уже знала, кто вы и зачем идете... Только плохо... сейчас нельзя отсюда, стерегут... по ночам все шаланды в одно место собирают... и солдат ставят... сейчас у нас [191] нельзя. Вот на днях расстреляли наших четырех... свои выдали... Но уж мы-то доберемся до них...

\* \* \*

Я остался у нее ночевать. Она угостила меня великолепным ужином, и наслушался я от нее...

— Когда деникинцы были, жил тут у меня один полковник. Я ему вес жаловалась, что неправильно деникинцы поступают... Надо снисхождение иметь к народу... Так нельзя... А он мне все говорил: «Верно, верно, хозяйка... неправильно мы поступаем... нехорошо... а вот как мы уйдем... будете по нас плакать»... А я не верила... думала, как неправильно поступают, чего же я плакать буду... А вот теперь плачу... День и ночь все плачем за деникинцами...

Ее сын, 17-летний хлопец, слушал этот разговор. И когда я случайно взглянул ему в лицо, я увидел такое выражение...

Нет, я бы не хотел быть на месте большевиков, попавшихся в руки этих людей.

\* \* \*

Утром я возвращался. У меня еще было несколько встреч с разными людьми, преимущественно «простыми». Они узнавали меня сразу, с одного взгляда, то есть, узнавали мое бывшее «социальное положение». Правда, я уже давно расстался со своей знаменитой седой бородой и являл миру обыкновенное чисто бритого интеллигента.

И вот что я ощутил. Трудно форматируемый, но несомненный ток симпатий, который все время меня окружал. Все эти люди оказывали мне всякие услуги с такой готовностью, которая говорила без слов.

И все мне вспоминались слова старой хохлушки, у которой я ночевал:

— А я вам правильно говорю: с Гершки да со Стецька не будет нам того, что нам нужно... Надо нам людей, как следует, образованных, чтоб знали свое дело... Только чтобы... снисхождение имели к народу..., [192]

\* \* \*

Там у нас на даче в тени каштана, иногда собиралось избранное общество. Избранное оно было уже поточу, что безбоязненно вело со мной знакомство. Наш кружок, т. е. люди, которые знали друг друга и на которых можно было положиться, надо было считать человек в пятьдесят. Все это были люди верные, испытанные с которыми можно было бы работать. Если бы не несчастный случай с Эфемом, мы действительно могли бы быть сильной организацией, по крайней мере, в смысле разведки. И тем более было это обидно, что несчастье произошло не по нашей вине, а потому, что из Севастополя в Одессу присылали вместе с действительными курьерами большевистских шпионов, служивших в севастопольской разведке. Ведь «Котик» был одним из таких.

Об этом случае следовало бы кой кому подумать. Стремление во что бы то ни стало «развернуть штаты» приводит к тому, что на службу берут людей не имеющих достаточных рекомендаций. И вот результат: такая разведка ничего не разведывает, но губит жизни.

\* \* \*

Разумеется, у меня под каштаном никогда не собиралось много. Я видел всегда двух-трех людей, через которых и передавал все, что нужно.

На одном из таких собраний выяснилось, что две барышни путешествовавшие по нашему поручению, нащупали случай купить шлюпку.

В это время террор уже опять возобновился. В газетах появились списки расстрелянных. Но туда не все попадали. Между прочим, погиб сын члена Государственной Думы А. И. Савенко — Вася Савенко. Ему было лет двадцать. Его расстреляли за то, что он был сыном своего отца. Погиб и тот настоящий курьер, с которым прибыл «Котик». Разумеется, его погубил этот последний. Эфема пока щадили. Чего-то ждали... [193]

\* \* \*

Однажды до нас донеслись звуки отдельной бомбардировки. Эти глухие удары шли с моря, и ясно было что работают тяжелые калибры. Что это могло быть?

Скоро мы узнали, это эскадра генерала Врангеля бомбардирует Очаков.

Мы слушали это с непередаваемым чувством.

И каждый удар сжимал сердце радостью и волнением

Там, за горизонтом, вот в этом направлении, длинный как змея, остров Гендра. Там, у северной его оконечности, стоянка эскадры Напрямик — верст семьдесят Там — свои... свобода... безопасность... и борьба за тех, кто не может вырваться отсюда..

## «Speranza»

Надо было бежать. Море звало, манило и приглашало определенно. В этом не могло быть сомнений.

Однако, рассуждая хладнокровно, пересекать море в небольшой шлюпке было все-таки очень рискованно и трудно было решать, в конце концов, что опаснее бежать или оставаться... Поэтому я решил пусть жребий укажет каждому его судьбу

Под тенистым каштаном Ирина Васильевна вытаскивала бумажки из шашки. И вытащила себя, моих двух сыновей, Вл. Ал. и меня. Надо к этому прибавить, что моей жене уже удалось выехать совсем особым способом

\* \* \*

Под видом купальщика, я осмотрел эту шлюпку. От была совсем маленькая, но на четыре весла. Паруса не было. Но и выбора не было. Или эту или ничего

Я сушил в ней только что выстиранное в море белье и размывал быть или не быть. И решил — быть.

Иногда судьба людей решается за время, гораздо более короткое, чем сколько нужно июльскому солнцу, чтобы высушить рубашку .. [194]

В тот же вечер она была куплена. Главным действующим лицом был Ляля. Он уже несколько дней ходил в эту семью и присматривался. Надо сказать, что эта операция — покупка шлюпки при советском режиме — дело, требующее большой осторожности Ляля, как многие русские, очень застенчив. Еще не так давно, если его послать в аптеку за аспирином или хиной, то он опрашивал «А как я войду? как я скажу?»

Но шлюпку он купил ловко. Заплатил он при этом двадцать девять серебряников (двадцать девять серебряных рублей — все состояние Ирины) и царскою пятисотку. И еще какую-то не то фуфайку, не то кацавейку... «

\* \* \*

Теперь надо было подумать о провизии. У меня была карта, по которой я видел, что нам идти верст 70. Это можно бы и сделать при тихой погоде за сутки. Но надо было рассчитывать на все, так как мы выходили в открытое море. Я решил пересекать напрямик, благо у меня был компас. Не малых трудов стоило его достать. Я взял провизии на три, четыре дня Столько же и пресной воды

Тут кстати упомянуть о ценах, которые стояли в то время. Хлеб — 150 рублей фунт, сахар — 1000 рублей фунт, сало — 1 000 рублей фунт. Удивительно дешево были дыни: они начинались от 5 руб., а за 50 можно было купить прекрасную дыню.

\* \* \*

Наконец, это совершилось...

Мой план был таков: действовать совершенно открыто при полном свете дня, так, чтобы большевикам в голову не пришло, что это может быть ..

В 10 часов утра шлюпка, которую мы назвали «Speranza» (по некоторым причинам, не подлежащим пока оглашению) отошла от того места, где она была куплена, а в 10½ часов утра под «мощными взмахами» весел Ляли и Вовки подошла к пустынному берегу, где должна была состояться посадка. К этому времени Димка привел туда [195] Ирину Васильевну, а я принес огромный мешок с этими проклятыми дынями.

«Пустынный берег» очень хорошо был виден с большевистского поста береговой охраны. Это меня вполне устраивало: мы, мол, не скрываемся. Море было на высоте: легкий ветерок, чтобы не было жарко, почти никакого прибоя.

Посадка не задержала нас. Груз состоял из мешка с дынями и двух сулей воды.

Перекрестившись, ровно в одиннадцать мы отошли.

На берегу осталась маленькая хрупкая фигура одной русской женщины с большим сердцем. Мы хорошо отходили, и белая статуэтка на обрывистом берегу становилась все меньше.

\* \* \*

Тут надо пояснить следующее. По всему побережью большевиками установлена запретная полоса, проходящая версты полторы-две от берега в море. Эту черту очень легко узнать, потому что вдоль всего берега стоят рыбацьи лодки на якорях и удят рыбу. Дальше они не смеют выходить.

Через несколько минут мы вышли на высоту этой черты. Вправо и влево от нас, насколько хватал глаз стояли рыбацьи лодки.

Тут мы остановились. Мы были против самого поста береговой охраны. Я решил продемонстрировать им «законопослушность».

Мы, мол, добрые граждане Советской Республики, вышли себе в море прокатиться, но отнюдь не желаем выходить за запретную черту. Наоборот, мы разделись и стали купаться, бросаясь с лодки в море вылезая из воды обратно, и еще раз в море. Ирина Васильевна нам не мешала, ибо вообще мы решили ее не показывать и потому запрятали ее на дно лодки и прикрыли мешком.

Так прошло столько времени, чтобы по моим расчетам большевикам надоело следить за этими резвящимися купальщиками. Тогда мы оделись, сели на весла и как можно явственней запели «Стеньку Разина». Это, как известно, весьма уважаемая в Совдепии песня. И понятно, княжну, т. е. «буржуйку», ведь бросают за борт... [196]

Под эти дозволенные звуки мы основательно налегли на весла. Я рассчитывал еще на то, что, если лодку повернуть прямо кормой к человеку (в данном случае к посту), то куда она идет, вперед или назад, и с какой скоростью, определить в течение некоторого времени довольно трудно.

\* \* \*

Мы налегли на весла в течение, быть может, получаса, когда на берегу раздались выстрелы. Сначала в одном месте, потом в другом, потом затарахтел пулемет.

Мы продолжали нажимать, и в то же время у нас произошел спор: по нас или не по нас. Впоследствии оказалось, что по нас. Как бы то ни было, мы, по-видимому, хорошо гребли, потому что берег заметно удалялся.

Через некоторое время у берега «под постом» появился парус.

Он почему-то очень беспокоил Ирину Васильевну, но Ляля непрерывно повторял «ерунда», пока я ему не запретил. На море становишься суеверным: а вдруг судьба подслушивает.

Тем не менее, я рассуждал так. Ветерок с моря — слабый. Парус, если это погоня за нами, должен идти в лавировку. При таком слабом ветре, принимая во внимание, что мы уходим в четыре весла, нас не догонят или догонят к вечеру, когда, мы скроемся в темноте. И притом, неужели это за нами?

Впоследствии я узнал совершенно с точностью, что это действительно было за нами. Пост, наконец, увидел, что мы уходим, поднял трескотню из винтовок и пулеметов, а затем в первой попавшейся рыбацкой лодке пустился в погоню.

Но ветер был такой слабый, а мы уходили так быстро, что, в конце концов, рыбаки определили: «У них не иначе, как мотор». После этого погоня вернулась обратно, — за мотором, ведь, не угоняешься. [197]

\* \* \*

У нас на «Speranza» царило полное удовольствие. Погода была дивная, берег куда-то уходил, как принято говорить, «в туманную дымку», и через несколько часов пропал из глаз.

Мы были в открытом море.

Тут младший сын Димка вдруг спросил меня дрожащим: голосом:

— Можно?..

Я посмотрел на его умоляющие и сверкающие глаза и понял, что он хочет.

— Можно... можно...

Тогда они торжественно встали с братом в лодке, и «открытое море» огласилось:

Боже, царя храни...



Бедные мальчики. У них совсем не было голоса... но зато сколько чувств...

Мы шли всю ночь. Иногда все спали, я греб один. Хорошо в море в такую ночь. И даже не очень жутко. Разве, если где-нибудь всплеснет, или, вернее, прошелестит гребешок в темноте, кажется, будто море хочет сказать:

«А ведь я могу наделать и гадостей». Но...

Нам звезды кроткие сияли . . .

По этим кротким звездам я «держал путь»... Это очень просто: поставишь корму на звезду, которую определишь по компасу, и так и держишь. Гребешь, и даже оборачиваться не надо. Правда, звезда куда-то ползет, вследствие вращения земли, но, ведь, нас зато несколько сбивает в противоположную сторону легкий ветер. Значит, звезда как бы делает поправку на ветер. А, впрочем, иногда сверишься по компасу и меняешь звезду.

Все-таки удивительно, что при таких элементарных способах нахождения курса, когда рассвело, мы увидели как раз в нашем направлении дымки. [198]

Мы знали, что там должна быть где-то около Тендры наша эскадра. Эти дымки не могли быть не чем иным.

Кроме того, что это такое?

Что-то торчащее на горизонте, в виде какой-то палки. Должно быть, от движения зыби казалось, что этот шест куда-то стремится с большой быстротой..

Мы решили, что, должно быть, это «мачта бешено несущегося за горизонтом контр-миноносца».

Но через некоторое время оказалось с несомненностью, что это быстро несущаяся мачта был — маяк, неподвижный, как все маяки.

\* \* \*

Итак, мы подходим в заветному острову Тендра...

## **Маяк**

...Он приближался медленно, этот маяк. Мы гребли сутки и выбились из сил.

Но все же он приближался, рос в небе, становясь из «мачты бешено несущегося за горизонтом миноносца» — высоким столбом, на котором появилось два черных кольца.

Он вырос над низкой, низкой песчаной косой, за которой опять виднелось море. Под ним — какие-то домики, два дерева, — больше ничего. Коса бело-желтая тянется сколько глаз хватит. Еще бы. Ведь это коса — знаменитый остров Тендра «чуть заметны». Он имеет семьдесят верст длиной при ширине от полутора до двух. Говорят, что, когда господь создал Крым, то черт этому позавидовал. Ночью подкрался и ухватился тащить

Крым в преисподнюю. Ангел господень отбил — не дал. Но черт успел, выдирая Крым из рук ангела, вытянуть из полуострова эти две стрелки: Тендру и Арбатскую.

\* \* \*

Неужели «то правда, что это Тендра? Не верилось... И потом... в конце концов, кто его еще знает... [199]

Там, на этом низком берегу, виднелись две группы живых существ.

Одна левее, — нарядная, ослепительно сверкающая белым, — это мартины, большие морские чайки... Они красиво неподвижны.

Другая правее, ближе к маяку — грязно-коричневая. Это люди. Они загадочно копошатся.

\* \* \*

Чего нужно ждать от этого копошения? Правда, рыбаки говорили нам, что Тендра у добровольцев, но кто ж его знает... Сегодня у нас, а завтра у «них».

Но нет, не может быть. Ведь вон там за этим диковинно узким островом опять море. Это, должно быть, Ягорлыцкий залив. И там явственно видны суда — морские суда. Откуда у большевиков может быть флот? Это наши!

Во всяком случае, отступать некуда. Наши или нет, все равно, если мы повернем обратно, в море, эта копошащаяся коричневая кучка откроет по нас пальбу...

\* \* \*

Мы выбросились на песок с одним из валов прибоя. За минуту перед этим я понял, почему кучка людей была коричневая: они были полуголые, в одних штанах и загорелые, как полинезийцы.

Но в ту минуту, когда я, «изящно перебежав» с кормы на нос по банкам «Speranz'ы», прыгнул на песок, от полинезийской группы отделился человек во «френче».

Ура, — на нем были погоны!

\* \* \*

Произошла, сцена из «Жюль-Верна».

— Я комендант острова Тендра. Кто вы и откуда? Я ответил в том же стиле:

— Шульгин... из Одессы...

— У вас есть документы?..

— Исключительно фальшивые... [200]

— Пожалуйте...

Он пригласил нас следовать за ним.

Мы пошли, увязая в песке. Коричневая кучка, любопытных надвинулась на нас с расспросами, но ее отодвинули.

Я успел, однако, рассмотреть, что все это была молодежь. По-видимому, интеллигентная или полуинтеллигентная, но страшно загорелая, поздоровевшая, бронзово-неузнаваемая...

Но отчего они все так одеты, то есть, неодеты? Что это — форма?

\* \* \*

Итак, мы пошли за комендантом.

Маяк смотрел на всю эту сцену, — я «пусть меня повесят», как говорят герои Жюль-Верна, если у него, этого маяка, при этом не было какое-то странное выражение.

Он смотрел на нас с сочувствием, даже ласково, но какая-то складка печальной иронии угадывалась в этих двух черных кольцах...

Я не понял тогда, к чему она относилась...

\* \* \*

Мы были, как пьяные. Нас качало во все стороны после шлюпки, а, кроме того, все смеялось кругом... Небо, море, песок и даже эта палящая жара, от которой единственное спасение в пене прибоя...

Но люди...

Люди были коричневатые.

Они не смеялись.

Они посмеивались...

\* \* \*

Некоторая часть «полинезийцев» приделась и оказалась молодыми морскими офицерами.

Они шутили на наш счет, т. е. больше насчет Ирины...

— Ты сегодня дежурный?

— Я... [201] - Значит, тебе...

— Что? ..

— Выводить в расход блондиночку...

— Ну вот...

— А ты думал... Явно шпионка! ..

— Я не дежурный...

— Не хочешь... ничего, брат, привыкай!

Через некоторое время мы уютно пообедали в кают-компании эскадренного миноносца «Капитан! Сакен», причем «расстрельщики» ухаживали за «жертвой» ..

Ни к этому ли относилась ирония маяка?

Нет, — к другому...

\* \* \*

Этой же ночью мы ушли в Севастополь на «Лукулле». Маяк не сверкнул нам в темноте на прощанье, — керосину не было...

## «Лукулл»

Это был тот «Лукулл»... «тот самый»...

«Лукулл» — яхта. Теперь многие знают его очертания. Это тот самый «Лукулл», на котором впоследствии держал ставку главнокомандующий генерал Врангель.

Но тогда это был мало кому известный «Лукулл», замечательный, впрочем, тем, что на нем шел командующий флотом адмирал Саблин.

Итак, мы в гостях у «комфлота»...

Адмирал пригласил нас к обеду.

Обедали на юте, на открытом воздухе.

Погода была дивная. «Лукулл» «пенил воду», как принято выражаться в этих случаях, и все было, как полагается.

Обед очень скромный по старым меркам, но для наших совдеповских желудков нестерпимо сытный... Сервировка тоже скромная, — но все же, боже мой... [202]

У нас там, «на берегу, моря», был один разбитый стакан «за все». А тут...

— И белая скатерть!..

Это не удерживается Ирина..

Белые офицеры (моряки сохранили белые кителя) учтиво расспрашивали, что значит «и белая скатерть»... А у адмирала на плечах среди золота, — черные двуглавые орлы...

И обедают, как раньше обедали культурные люди, и не надо каждую минуту прислушиваться, почему скрипнула садовая калитка, и читать в испуганных глазах: -

Идут?.. -

Нет, идет только «Лукулл», спокойный среди спокойного моря, и идет мирная беседа на юте, Спрашивают...

Мы рассказываем... И не знаешь хорошенько, что же сон: «это» или «то». Может-быть и то, и другое... Настоящая жизнь была до революции. Мы проснемся, когда все кончится.

Но когда же?..

\* \* \*

Теперь я расспрашиваю.

— Не грабят? ..

— Нет. В общем, нет. Бывают, конечно, случаи... но, в общем нет. Это надо сказать...

— Каким же образом удалось? ..

— Да сначала, конечно, мерами строгости... Расстреливали... А потом как-то поняли сами. Конечно, не все... но значительная часть поняла.... отчего мы в Крыму, а не в Москве...

— А население? Переменили отношение?

— Переменили безусловно... К нам, по крайней мере, морякам, хорошо относятся. Но ведь у нас строго... конечно, в армии бывает, но в общем былых безобразий нет... и отношение населения иное. [203]

Я знаю, как флот относится к армии и обратно.

Потому для меня свидетельство моряков о сухопутных ценно.

Затем следует неизбежное. Начинаются, жалобы, что флот забросили, притесняют, угнетают и т. д.

Но так как я твердо знаю, что нет ни одного рода оружия, и ни одной части, и ни одного полка, и даже ни одной роты, которая не была бы свято я нерушимо убеждена, что она самая угнетенная из всех, — то я слушаю это в пол-уха.

В доказательство, однако, говорят:

— Нашу новую форму видели?.. Не дают флоту обмундирования, что поделаешь... Пришлось узаконить это «полуголое состояние»... Вот придем в Акмечеть — и увидите...

\* \* \*

Мы подходим...

Тут стоит несколько судов и, между прочим, тот несчастный крейсер, на котором в начале революции произошли душу раздирающие избиения офицеров.

Вахтенный докладывает:

— Подходим в «Алмазу»... Команда стоит во фронт.

Адмирал подходит к борту.

Все замерло здесь у них.

Вот там, на борту «Алмаза», ровным, ровным коричневым частокольчиком стоят застывшие «полинезийцы».

Адмирал здоровается в рупор.

Оттуда через несколько мгновений доносится дружное, размеренное, скандированное:

— Ррррра... и,.. е... е... а... : е . . . а . . . е . . . ! рррррр... о!..

И чувствуется в этих гласных без согласных и согласие и сила...

И почему-то это волнует.

\* \* \*

А когда мы всходили на судно и капитан поздоровался с Лялей, он отчеканил, как и полагается «юнkerу флота»: [204]

— Здравия желаем, господин капитан перрррвого рраанга...

И расплылся радостной улыбкой... Ведь полагается весело приветствовать начальника»... Почему и этот пустяк... «щемит»? ..

\* \* \*

Сигнал. Адмирал покидает «Лукулл».

Это торжественно. Все на судне должно чувствовать этот момент.

У трапа нарядный вельбот. На веслах бронзовые полинезийцы.

— Встать! смирно!..

Бронзовые вскакивают и застывают в вельботе. Здороваются. Адмирал садится и берет в руки рулевые тросы.

— Садясь!.. весла разобрать!..

Бронзовые опускаются, а весла лесом встают к небу.

— На воду!!!

Весла падают на, воду.

Вельбот отваливает. Бронзовые тела; красиво покрываются мускулами, и Андреевский флаг волнующим крестом вьется над струйкой у кормы.

— Что с вами, Ирина? ..

— Ах, я не могу на все это смотреть... хочется плакать... Отчего это? ..

Мы снова вышли в море. И тут оно доказало, как нам повезло, и как оно было милостиво к нам накануне.

Разыгрался шторм. «Лукулл» держал себя хорошо, но море обращалось с ним безжалостно.

Меня каким-то чудом не укачало, и потому я мог оценить красоту шторма. Удивительно интересна взбесившаяся вода. Одно неприятно. Кажется совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь успокоилась. [205]

А меж тем все придет в порядок, когда настанет «час определенный». Не то ли и с революцией?

Люди, испугавшись этих косматых чудовищ, уверовали, что их силе нельзя противиться...

Нет, «Лукулл» не верит. Он бодро прокладывает себе дорогу через скверные забавы этих исполинских катящихся гадюк.

Летит корма меж водных недр...

На следующее утро, то есть 27 июля по старому стилю, мы пришли в Севастополь. Переход из Одессы, следовательно, занял трое суток.

## Севастополь

Несмотря на то, что мы пришли на адмиральском судне и обедали с «комфлотом», нас для верности все же направили прямо с Графской пристани, в «морскую контрразведку».

По дороге в окне одного дома я вдруг увидел знакомую фигуру Н. Н. Львова. В то же мгновение в окне оказались другие дружеские лица, а на дверях я прочел:

— «Редакция „Великой России». Основана В. В. Шульгиным».

Встреча была соответствующая.

— Господи, мы как раз обсуждали шестую версию вашей гибели. С того света вы, — с того света!..

\* \* \*

И вот начались наши впечатления выходцев с того света.

В контрразведке нас признали окончательно. Выразилось это в том, что нас снабдили документами, восстановившими наше, если не доброе, то настоящее имя. С этой минуты мы, так сказать, репатриировались, вновь стали гражданами «этого света»... [206]

Мы вышли на какую-то улицу, которую я тогда не знал. И эта улица и все в ней казалось не то, чтобы во сне, а как в кинематографе. Что-то свое, знакомое, страшно живое и реальное, но еще неухватимое. Казалось, что мы как бы не имеем права на все это, не можем с этим слиться — словом, что это не «о трех измерениях», а только на экране...

\* \* \*

Улицы полны народом, и каким народом. Прежним и даже как будто бы похорошевшим.

Масса, офицеров, часто нарядных, хотя и по-новому нарядных, масса, дам — шикарных дам, даже иногда красивых, извозчики, автомобили, объявления концертов, лекций, собраний, меняльные лавки на каждом шагу, скульптурные груды винограда и всяких фруктов, а главное магазины... Роскошь витрин:... особенная, крымская... и все тут, что угодно...

Кафе, рестораны...

Свободно, нарядно, шумно, почти весело....

\* \* \*

Но почему же это не наше, почему? ..

Потому ли, что мы не боролись за это, а только бежали сюда, — на готовое?

Но ведь тогда, в порту, в Одессе... Разве не «за нашими спинами» многие из тех, что здесь, выехали сюда?

Или потому, что мы оборваны так, что на нас оборачиваются и что у нас нет гроша в кармане!..

Или совсем, совсем по другой причине?

\* \* \*

Как бы там ни было, хотелось бы выпить кофе. Ничего не поделаешь — буржуйская привычка.

— Василий Витальевич!.. Вы!.. С того света!

Объятия, удивления.

— Конечно, у вас нет денег... Я вам дам сейчас... Но, простите, только пустяки... вот сто тысяч.. [207]

Я раскрыл глаза:



— Сто тысяч — пустяки? ..

Но когда мы зашли выпить кофе, неосторожно съели при этом что-то и заплатили несколько тысяч, — я понял...

— Квартира?

— Совершенно невозможно достать... Единственный способ — поместиться на судне.

— На судне?...

— Тут много кораблей стоит в порту. Много ваших друзей живет... Я вас устрою...

И, действительно, нас устроили. И с тех пор мы, так сказать, пошли по флоту: сначала на «Весте», пока она не ушла в море, потом на «Добыче», которая через некоторое время ушла за «Вестой», и, в конце концов, на гиганте — «Рионе», 13000 тонн которого не беспокоят по пустякам.

\* \* \*

Первые дни ушли на объятия и расспросы. Друзей много, но скольких нет... Кто погиб, кто...

Иные погибли в бою,  
Другие...

если не «изменили», то отошли в сторону.

\* \* \*

Прежде всего, надо одеться...

Одевают...

Обувь — 90000 рублей, рубашка — 30000,

брюки холщовые — 40 000...

— Но ведь если купить самое необходимое, то у меня будет несколько миллионов долга!..

Я пришел в ужас. Но мне объяснили, что здесь все «миллионеры»... в этом смысле...

\* \* \*

— Но как же живут люди? Сколько получают офицеры? [208]

— Теперь получают около шестидесяти тысяч в месяц.

Но на фронте — это совсем другое. Там дешевле. Вообще же, как-то живут.

— И не грабят?

— Нет, не грабят, в общем .. Пошла другая мода Вы думаете, как при Деникине .. Нет, нет, — теперь иначе... Как это сделалось — бог его знает, — но сделалось... Теперь мужика тронуть — боже сохрани. Сейчас следствие и суд... Теперь с мужиком цацкаются

«Цацкаются»... Так... Но все-таки многого не пойму.

Например

— Отчего такая дороговизна?

— Территория маленькая, а печатаем денег сколько влезет.

— А что же будет?

— Ну, этого никто не знает.

— А вы знаете, что большевики остановились в этом смысле, не повышают ставок

— Будто? Сколько у них жалования?

— Не свыше десяти тысяч. А то пять, семь...

— А цены? Хлеб? ..

— Хлеб — сто пятьдесят. А здесь? ..

— Здесь на базарах около трехсот.

— А другие предметы? Ну, виноград, например?

— Виноград — тысяча рублей.

— Что за чепуха. В Одессе хорошая дыня стоит пятьдесят.

— А вот вы увидите, что здесь действительно как раз все наоборот... Здесь верхам хуже, а низам лучше Да, да... Представьте себе, что в этом «белогвардейском Крыму» тяжелее всего жить тем, кто причисляется к социальным верхам... Низы же, рабочие и крестьяне, живут здесь неизмеримо лучше, чем в «рабоче-крестьянской республике» И причина та, — что в Крыму цены на предметы первой необходимости, вот как на хлеб, сравнительно низкие. А на то, без чего можно обойтись, как, например, виноград, очень высокие.

Я убедился, что это правда. Для примера возьмем заработок рабочего в Одессе и Севастополе. В Одессе очень [209] хороший заработок для рабочего — пятнадцать тысяч в месяц. А здесь тысяч шестьдесят, восемьдесят и много больше. А цена хлеба, главного предмета потребления, здесь только в два раза дороже. Следовательно, если измерять заработок одесского рабочего на хлеб, то выйдет, что на свой месячный заработок он может купить два с половиной пуда хлеба, а севастопольский — пять пудов и выше.

— Как же этого достигли здесь у вас в Крыму?

— С одной стороны, объявлена свобода торговли, а с другой стороны, правительство выступает, как мощный конкурент, выбрасывая ежедневно на рынок большие количества хлеба по таксе, то есть вдвое дешевле рыночного...

— Но все же... в Севастополе очень трудно жить?

— Как кому... Иные спекулируют, другие честно торгуют, третьи подрабатывают... Вот, видите этого офицера с этой барышней?

— Ну?..

— Они сейчас оба возвращаются из порта...

— Что они там делали?

— Грузили... тяжести таскали... мешки, ящики, дрова, снаряды... очень хорошо платят...

— Ну, например...

— Тысяч до сорока выгоняют некоторые за несколько часов... то есть за ночь...

— И офицерам разрешено?

— Разрешено.

\* \* \*

Надо подняться по характерной для Севастополя крутой каменной лестнице, которая заменяет улицу. Там, наверху — дом-особняк. У дверей почетные часовые — казаки конвоя, — эмблема ставки.

В небольшой приемной много народа. Происходит несколько встреч. Вот А. М. Драгомиров, экс-премьер деникинского периода и бывший наместник киевский. Человек долга, органически неспособный к интриге, он не побоялся взять ответственность, когда его позвали, и ушел в мирную тень, когда оказалось, что его «не требуется».. После установленных трансцендентальных удивлений и [210] приветствий, мы обмениваемся несколькими фразами по существу.

— Чем более я думаю обо всем, — говорит А. М. Драгомиров, — тем более я прихожу к убеждению, что все это только... этапы. Деникин был этап. Боюсь быть плохим пророком, но, мне кажется, то, что сейчас, — тоже этап...

К нам подходит «посеребренный» человек в чесуче и с шрамом на щеке... Он чуть постарел, но такой же... Это А. В. Кривошеин... Помощник главнокомандующего, теперешний премьер, гражданский правитель Крыма.

Я жадно всматриваюсь в его лицо. Когда-то правая рука Столыпина, этот человек сделал много в грандиозном деле Петра Аркадьевича, в той земельной реформе, которая одна только могла спасти Россию от социализма, — как он сейчас? Осталась ли былая энергия?

У меня остается смутное, чувство. И верится и нет. Кажется, надломилось что-то в нем... Выдержит ли?

Вот М. В. Бернацкий, мой сторонник в деле октрюирования так называемой одесской автономии.

Петр Богданович Струве.

Он только что вернулся из Парижа, где удалось «признать Врангеля».

— Мне нужно с вами поговорить... как следует.

Мне тоже нужно, но я уже чувствую, какое напряжение здесь у всех. Знакомое напряжение... Так живут все люди, которым надо властвовать.

Ах, друзья «управляемые»... если бы вы знали, что это за подлое ремесло, «ремесло правителей»... Самые несчастные люди в свете. Это так нестерпимо утомительно, — нужно быть вечным сторожем своего времени и своих сил, иначе вас разорвут или задавят алчущие и жаждущие «поговорить».

Для власти нужно быть рожденным.

Рожденна, не сотворенна...

И так как люди забыли, как «выводить породу властителей», то поэтому они и встречаются так редко.

Отворяется дверь, и на пороге появляется высокая фигура того, кого со злости большевики называют «крымским ханом».

\* \* \* [211]

Генерал Врангель встретил меня очень приветливо.

— Пожалуйста, пожалуйста... ужасно рад вас видеть... Мы ведь вас похоронили... Ну, позвольте вас поздравить...

Я не видел генерала Врангеля около года. Тогда (это было в Царицыне) он нервничал. Он только что пережил exanthematieus, у него были сильно запавшие глаза, но еще что-то кроме этого. Какое-то беспокойство, недовольство «общего порядка». Он сдерживался, привычный к дисциплине, но что-то в нем кипело. Мне казалось тогда, что он недоволен стратегией «влево», т. е. на Украину, и хочет правофланговой ориентации — на Волгу, на соединение с Колчаком, что, может быть, дело было глубже.

Меня поразила перемена в его лице. Он помолодел, расцвел. Казалось бы, что тяжесть, свалившаяся на него теперь, несравнима с той, которую он нес там, в Царицыне. Но нет, именно сейчас в нем чувствовалась не нервничающая энергия, а спокойное напряжение очень сильного, постоянного тока.

Я ответил:

— Нет, позвольте мне вас поздравить... я спас только свою собственную персону, а вы спасли... я не знаю, как это выразить... нечто...

Я растрогался и не нашел слов.

Он пришел мне на помощь.

— Я всегда думал — так... Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора... Когда я принял командование, дело было очень безнадежно... Но я хотел хоть остановить это позорище, это безобразие, которое происходило... Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью... И спасти, наконец, то, что можно... Словом, прекратить кабак.. Вот первая задача... Давайте сядем...

Мы сели.

— Ну, эта первая задача более или менее удалась... и тогда вдруг оказалось, что мы можем еще сопротивляться... Оказалось то, на что, в сущности говоря, очень трудно было рассчитывать. Мы их выгнали из Крыма и [212] теперь развиваем операции... Но я должен сейчас же сказать, что я не задаюсь широкими планами... Я считаю, что мне необходимо выиграть время... Я отлично понимаю, что без помощи русского населения нельзя ничего сделать... Политику завоевания России надо оставить...

Ведь я же помню.. Мы же чувствовали себя, как в завоеванном государстве... Так нельзя .. Нельзя воевать со всем светом... Надо на какого-то опереться... Не в смысле демагогии какой-нибудь, а для того, чтобы иметь, прежде всего, запас человеческой силы, из которой можно черпать; если я разброшусь, у меня не хватит... того, что у меня сейчас есть, не может хватить на удержание большой территории... Для того, чтобы ее удержать, надо брать тут же на месте людей и хлеб .. Но для того, чтобы возможно было это, требуется известная психологическая подготовка. Эта психологическая подготовка, как она может быть сделана? Не пропагандой же, в самом деле... Никто теперь словам не верит. Я чего добиваюсь? Я добиваюсь, чтобы в Крыму, чтобы хоть на этом клочке, сделать жизнь возможной... Ну, словом, чтобы, так сказать, — показать остальной России... вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода... Никто тебя не душит, никто тебя не мучает — живи, как жилось...

Ну, словом, опытное поле... До известной степени это удастся... Конечно, людей похватает... я всех зову... я там не смотрю, на полградуса левее, на полградуса правее. — это мне безразлично... Можешь делать — делай. И так мне надо выиграть время... чтобы, так сказать, глава пошла: что вот в Крыму можно жить. Тогда можно будет двигаться вперед, — медленно, не так, как мы шли при Деникине медленно, закрепляя за собой захваченное. Тогда отнятые у большевиков губернии будут источником нашей силы а не слабости, как было раньше.. Втягивать их надо в борьбу по существу .. чтобы они тоже боролись, чтобы им бы за что бороться .. Меня вот что интересует .. как вы думаете... большевики уже достаточно надоели? [213]

Я не берусь с точностью ответить вам за деревню. По сведениям, которые я имел, в деревнях их тоже ненавидят, но все-таки это не личные впечатления... я могу вам сказать об Одессе... Там большевиков русское население ненавидит сплошь... а евреи — наполовину...

— Так что вы думаете, что момент наступил. Сейчас нам, конечно, очень помогают поляки... Наше наступление возможно потому, что часть сил обращена на Польшу.

— А они не подведут по своему обыкновению?

— Могут, конечно... Но нельзя же не пользоваться этим благоприятным обстоятельством -

А если подведут, что тогда? - -

Тогда, конечно, будет трудно... я надеюсь удержать Крым... -

— И зимовать? ..

— Да, зимовать, конечно. Надо обеспечить хлебом.. хлеб будет. Я сделал так: я дал возможность людям наживаться Я разрешаю им экспорт зерна в Константинополь, что страшно для них выгодно. Но за это все остальное они должны отдавать мне. И хлеб есть. Я стою за свободную торговлю. Надоели мне эти крики про дороговизну смертельно. Публика требует, чтобы я ввел твердые цены. Вздор. Это попробовано, от твердых цен цены только растут. Я иду другим путем правительство выступает, как, крупный конкурент, выбрасывая на рынок много дешевого хлеба. Этим я понижаю цены. И хлеб у меня, сравнительно с другими предметами, не дорог. А это главное Но кричат они о дороговизне нестерпимо. Если бы вы написали что-нибудь об этом...

— Хорошо, я напишу... Но позвольте вас спросить...

Тут я спросил главнокомандующего об одном предмете, о котором я пока считаю лишним распространяться.

Скажу только, что тут наши мнения несколько разошлись. В конце разговора мы перешли к будущему. Нельзя же без этого...

— Как вы себе представляете будущую Россию? .. Она будет централизована? [214]

— Отнюдь нет... я себе представляю Россию в виде целого ряда областей, которым будут предоставлены широкие права. Начало этому — волостное земство, которое я ввожу в Крыму. Потом из волостных земств надо строить уездные, а ив уездного земства — областные собрания.

— Если уже мечтать, то мечтать... Как вы относитесь к тому, что когда-то раньше называлось «завершением реформ», то есть, как установятся государственный строй России?

— Да все как же. Когда области устроятся, тогда вот от этих самых волостных или уездных собраний будут посланы представители в какое-то Общероссийское Собрание, Вот оно и решит...

Тут я спросил о другом предмете, о котором пока тоже считаю излишним распространяться. Тут наши мнения сошлись.

\* \* \*

Я чувствовал острое напряжение в приемной. Время правителей — это нечто, чем злоупотреблять просто безбожно... Надо было кончать этот разговор, несмотря и весь его интерес для меня...

\* \* \*

Я ушел от главкома успокоенный и бодрый. В этом человеке чувствовался ток высокого напряжения. Его психологическая энергия насыщала окружающую среду и невидимыми

проводниками доходила до тех мест, где началось непосредственное действие. Эта непрерывно вибрирующая воля, вера в свое дело и легкость, с какой он нес на себе тяжесть власти, власти, которая не придавливала его, а, наоборот, окрыляла, — они-то и сделали это дело удержания Тавриды, дело, граничащее с чудесным...

Я вспомнил, как в начале этого года, еще в Одессе с А. М. Драгомировым и В. А. Степановым мы зажгли «Диогенов фонарь» и искали человека... Мы никого не нашли тогда, кроме генерала Врангеля, но дальнейшие события показали, что наш выбор был правильным. [215]

У раскрытого окна, из которого видна красивая севастопольская бухта, мы беседовали с А. В. Кривошеиным.

— Когда меня призвали, я думал об одном: хотя бы клочок сохранить, хотя бы, чтобы кости мои закопали в русской земле, а не где-то там... Клочок для того, чтобы спасти физическую жизнь, спасти всех тех, кого не дорезали... Не скажу, чтобы я очень верил в то, что это удастся... Я бы и совсем не верил, если бы я не верил в чудеса... Но чудо случилось... мы не только удержались. мы что-то делаем, куда-то наступаем... то, что совершенно разложившейся армии вдруг на самом краешке моря удалось найти в себе силы для возрождения, — это чудо... И что бы ни случилось, я всегда буду считать это чудом...

Он стал нервничать. Я сказал:

— Это правда... ведь в России бывает... но что же дальше?

— Дальше... Прежде всего, вот что: одна губерния не может воевать с сорока девятью. Поэтому, прежде всего, не зарываться. Надо всегда иметь перед глазами судьбу наших предшественников. Деникин помимо всяких других причин, прежде всего, не справился с территорией. Мы наступаем сейчас, но помним — *memento* Деникин.

— Если так, то где же предел наступления?

— Необходимо держать хлебные районы, то есть, северные уезды Таврии.

— Мне кажется, что удержать эту линию не удастся... Ведь настоящего фронта нет. Это не то, что война с немцами. Поэтому нас непременно или увлекут на север, или сомнут к югу до естественной границы...

— Да, конечно... Но хлеб нам нужен... Рассматривайте это, как вылазку за хлебом... Ведь если большевики называют генерала Врангеля «крымские ханом», то следует принять тактику крымского хана, который сидел Крыму и делал набеги...

— Но зимовать в Крыму?

— Конечно... К этому надо быть готовым... Надо ждать... [216]

— Ждать, чего? ..

— Одно из двух... Или большевики после всевозможных эволюций перейдут на обыкновенный государственный строй — тогда, досидевшись в Крыму до тех пор, пока

они, если можно так выразиться, не опохмелятся, — можно будет с ними разговаривать. Это один конец...

Весьма маловероятный... Другой конец, — это так, несомненно, и будет, — они вследствие внутренних причин, ослабеют настолько, что можно будет вырвать у них из рук этот несчастный русский народ, который в их руках должен погибнуть от голода... Вот на этот случай мы должны быть, так сказать, наготове, чтобы броситься на помощь... Но для того, чтобы это сделать, прежде всего, что надо? Надо «врачу исцелился сам». Это что значит? Это значит, что на: этом клочке Земли, в этом Крыму, надо устроить человеческое житье. Так, чтобы ясно было, что там вот, за чертой, красный кабак, а здесь, по сею сторону, — рай не рай, во так, чтобы люди могли жить. С этой точки зрения вопрос «о политике» приобретает огромное значение. Мы, так сказать, опытное поле, показательная станция. Надо, чтобы слава шла туда, в эти остальные губернии, — что вот там, в Крыму, у генерала Врангеля, людям живется хорошо. С этой точки зрения важны и земельная реформа и волостное земство, а главное, приличный административный аппарат.

— Насколько это вам удастся? ..

— Ах, удастся весьма относительно... Дело в том, что ужасно трудно работать... просто нестерпимо... Ничего нет... Можете себе представить бедность материальную и духовную, в которой мы живем.

Вот у меня на жилете эта пуговица приводит меня в бешенство, — я вторую неделю не могу ее пришить. Мне самому некогда, а больше никому... Это я, глава правительства, — в таких условиях. Что же остальные? Вы не смотрите, что со стороны более или менее прилично, и все как по-старому. На самом деле, под этим кроется нищета, и во всем так... Тришкин кафтан никак нельзя заплатать. Это одна сторона. А духовная — такая же, такая же бедность в людях!.. [217]

Он опять стал очень нервничать. Да, положительно надломилось что-то в этом человеке. Выдержит ли? Кажется, не выдержит...

— Но все-таки как-то мы держимся, и что-то мы делаем. Трагедия наша в том, что у нас невыносимые соотношения бюджетов военного и гражданского. Если бы мы не вели войны и были просто маленьким государством, под названием Таврия, то у нас концы сходились бы. Нормальные расходы у нас очень небольшие жили бы. Нас истощает война. Армия, которую мы содержим, совершенно непосильна для этого клочка земли. И вот причина, почему нам надо периодически, хотя бы набегами, вырывать...

— Ах, лишь бы только не зарваться...

— Да, да, конечно... Я же вам сказал «memento Деникин»...

\* \* \*

Итак (с моей, по крайней мере, точки зрения) и главком и его помощник рассуждают совершенно правильно. Но удастся ли им? Удастся ли удержаться, чтобы не зарваться и, делая выпад, не подставить себя? Здесь требуется очень смелое, но очень осторожное фехтование...

\* \* \*



Прошло три дня... Мы сидели на Приморском бульваре... Было так, как может быть в этих случаях: старший сын — Ляля — уезжал в полк.

\* \* \*

Народу было тьма... Толпа нарядная, красивая, — вся в белом, переливалась самолюбующейся жидкостью... И казалось, что кто-то собрал сюда, на этот красивый клочок земли у моря, какую-то дорогую эссенцию, — «пену сладких вин», — самый «цимес», как сказали бы у нас, в Одессе.

Что поразило многих в Севастополе — это здоровье, переходящее в красоту, женщин.

\* \* \*

Обычная русская культурная толпа — «интеллигенция», как говорили во время Чехова, «буржуи», как стали говорить вместе с Максимом Горьким, — поражала своей болезненностью...

Редко, редко можно было встретить яркие краски без условности... Обычно это все были лица в «блеклых тонах»... блеклых тонах условного петроградского изящества, — *alias* вырожденчества... Серо-желтовато-зеленое, — вот колорит чеховско-блоковской красоты. Литературность манер, поза на изысканность неестественная веселость, от которой грустно, — все это только подчеркивало бледную немочь догоревших родов и благоприобретенно-обреченных существ...

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым. Хочу одежды с тебя сорвать...

Ах, Бальмонт, не надо...

Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман...

К чему обнажать хилое, измотанное, больное...

\* \* \*

Здесь в Севастополе не то.

Ярко-пульсирующая жизнь, молодость и здоровье, нащупывающие красоту.

Ведь, так шли греки: они отыскивали красоту через здоровье.

Но откуда здоровье после всех этих ужасов, трех архангелов: *Abdominalis*, *Exanthematicus*, *Eesugrens*... После бесконечных эвакуаций — всех этих нечеловеческих лишений... Откуда?..

Очень просто. Все слабое вымерло в ужасах гражданской войны.

Остались самые выносливые экземпляры, которые расцвели здесь «под дыханием солнца и моря»

Красивая толпа переливается самовлюбленно эссенцией, и хотелось бы, чтобы некто «эстетный», но все же умный, одновременно восторженный и насмешливый, сказал про нее стихотворение в прозе...

\* \* \* [219]

Мои сыновья сумрачны оба. Мальчикам не нравится Севастополь.

Молодость не понимает компромиссов жизни. Там, в Одессе, за пять месяцев они привыкли к суровости... всегда полуголодные, всегда на пределе нищеты, всегда в спайности, — они научились легко выносить все это.

Но почему они какими-то недружелюбными глазами смотрят на эту несомненную красоту?

Да, почему?..

Это у них совершенно бессознательно. Они инстинктивно чувствуют, должно быть, что пока там, за горлышком Перекопа, лежит море нищеты, этому пленительному полуострову нельзя разнеживаться. Нельзя, — рано. Рано потому, что суровые смоят изнеженных. Суровых могут остановить только те, кто, если нужно, откажутся от всего «этого»....

А в этой самовлюбленной толпе чувствуется, что они не смогут отказаться... Даже перед угрозой смерти.

Меня немножко поразила, Ирина.. Ее синтез был категорический:

— Это не удержится..

\* \* \*

Еще резче это настроения оказалось в Ляле.

Я уже несколько раз говорил с ним об этом.

Я обращал его внимание на, то, что тыл — всегда тыл, что нужно сравнивать Севастополь с Екатеринодаром и Ростовом.

И если сделать это сравнение, то все преимущества будут на стороне Севастополя. Жизнь, правда, течет здесь по старорежимному руслу, ну и слава богу... Надо же, чтобы люди жили, а не мучились. Нельзя только,

чтобы было безобразие, безудержное пьянство и все прочее. А этого нет.

Наоборот, все очень подтянуто, так подтянуть, как давно не было.

Он слушал все это, соглашался но все же выдержал Севастополь только, три дня. Он ему не нравился, ему хотелось в полк. [220]

И он ушел... Ушел, простившись, прямо с этого красивого бульвара, где нарядная толпа переливала всеми красками жизни...

\* \* \*

.... Уведи меня в стан погибающих  
За великое дело любви...

## Тендеровский рецидив

*(Драма в трех действиях с прологом)*

В общем, как-то все складывалось так, что до известной степени я мог себя почитать свободным от общественных дел. Правда, и главком, и А. В. Кривошеин желали, чтобы я писал в «Великой России». Но это как-то не клеилось. Я написал две статьи «О дороговизне» и замолк. В сущности говоря, в данную минуту мне не то, что — не чего было сказать, но я чувствовал более, чем когда-либо, что молчание — золото.

Много времени спустя, как-то отвечая на одно открытое письмо, П. Н. Милюков написал:

«С ужасом прочел я о том, что вы появились в Крыму...».

Если бы П. Н. Милюков видел, что я делал в Севастополе, он не ужасался бы.

Зато у меня были свои личные дела, о которых надо было подумать.

Я ломал голову над тем, как помочь несчастному Эфему, захваченному чрезвычайкой. И придумал такой способ.

\* \* \*

Я выпросил у главнокомандующего отсрочку одного приговора. Это был видный большевик, пойманный в шпионаже и имевший по документам, захваченным при нем, серьезные связи. Я также получил разрешение главнокомандующего послать от своего имени радио председателю «Украинского Совнаркома» Раковскому. [221]

11 августа из главной радиотелеграфной станции пошла телеграмма следующего содержания

«Через председателя Одесской Чрезвычайной Комиссии председателю Совнаркома Украины Раковскому.

«В Севастополе военным судом приговорен к смертной казни такой-то. Предлагаю обмен на арестованного Одесской Чрезвычайной Комиссии такого-то. В случае согласия, об условиях телеграфировать туда-то. Подпись».

Большевистская радиостанция в Николаеве приняла эту телеграмму и дала «расписку», по терминологии радиотелеграфистов Харьков тоже, по-видимому, принял, но расписку не дал.

Кажется, это был первый случай за всю войну белых с красными. Жизнь за жизнь... Я ждал ответа первые дни лихорадочно. Ответа не было. Потом напряжение стало спадать и, наконец, надежда погасла. Тогда я решил действовать другим путем...

\* \* \*

И это те» более, что...

Я жил тогда на «Рионе»... Приятно жить на судне. В особенности в то время, когда там почти никого не было. Весь огромный корабль был почти пустынный... На всех падубах, спардеках и мостиках можно было дышать воздухом и солнцем...

А вечером как приятно было возвращаться «домой» из города... По тесным крутым каменным лестницам, затем по набережной, беспрестанно спотыкаясь через причальные канаты, потом по бесконечному понтонному мосту, переброшенному через бухту... В конце его, на том, берега, до самой поздней ночи всегда горят огоньки-свечечки, вроде как под вербы или под Пасху. Это там такой своеобразный базарчик, — он торгует чуть ли не всю ночь... [222] Тут за триста рублей можно съесть вкусную котлету или выпить стакан молока. И винограда по 1 000 рублей фунт — сколько угодно.

Потом идешь какими-то мрачными закоулками, среди замолкших черных мастерских и складов. Иногда тут останавливает охрана, но вежливо. Наконец, подходишь к тому месту, где — темной громадой виднеется «Рион».

Кричишь

— На «Рионе»..

Через некоторое время ответ:

— Есть на «Рионе».

— Подайте плот.

— Есть подать плот

Что то плескает по воде, очевидно канат, подходит миниатюрный паром, и через несколько минут подымаешься по трапу «Риона»

Проходишь все ни знакомые пере ходы и, «наконец, в полной темноте находишь внизу стою каюту.

Правда, простынь нет, подушек нет, одеяла тоже нет, спишь на каком-то брезенте, но это неважно. Научились обходиться и без этого, -лишь бы чисто.

Крысы?...

К ним быстро привыкаешь. Однажды они сволокли у меня целый хлеб в свою преисподнюю... И митинговали при этом нещадно.

\* \* \*

Я проснулся оттого, что там происходило что-то в коридоре. Было абсолютно темно и зажечь нечего. Кто-то ходит, что-то спрашивает по каютам Женский голос. Вдруг расслышал свою фамилию.

Кто-то шарит по стене на ощупь, постучался ко мне

— Вы здесь, Василий Витальевич Я вдруг узнал ее.

— Лена.

Это была жена Эфема

— Ну, наконец, я вас нашла... Я прямо с парохода Из Варны. Там узнала, что вы спаслись... А он где?..

\* \* \* [223]

И я должен был ей оказать

Всю ночь она билась у меня в руках... Ах, проклятый мир — ты слишком жесток...

\* \* \*

На следующий день я сел на пароход, который должен был идти на Тендру.

Но сесть не значит выехать. Так было когда-то раньше. А с революцией, куда ни ткнешься, всегда выйдет какое-нибудь глупое затруднение.

Так и с Казбеком» Стояли мы, стояли бесконечно, потом ходили из угла в угол по бухте, от пристани к пристани, все никак не могли нагрузить топливо. Наконец, пришли к какому-то молу, где стояли вагоны с дровами.

Казалось бы, слава богу. Так нет. Команда объявила, что не будет грузить, если ей сейчас же не заплатят денег за погрузку. А денег как раз не было наличных.

Но жизнь учит.

В кают-компанию, где все едущие на Тендру тоскливо ожидали, когда кончится вся эта история, вошел какой-то полковник и сказал:

— Господа офицеры. Судно не пойдет, если не погрузить дров Команда не делает. Если вам угодно будет самим погрузить дрова, мы отойдем через три часа. Надо погрузить восемьсот пудов. Деньги будут уплачены по расчету, но не сейчас, а через некоторое время. Кому угодно.

Переглянулись, и семь офицеров, в том числе я с Вовкой, заявили, что нам угодно.

Сбросили френчи и взялись за дело.

Первый час был труден. Положат тебе полные руки этих неудобнейших в мире дров — беги с ними по разным доскам до парохода Кто покраснел, кто побледнел от натуги.

Второй час дело пошло значительно лучше. Хотя руки и шею уже пообдирало корой, но мускулы приспособились. [224]

Третий час прошел совсем гладко. Образовался уже навык, и, когда все было кончено, показалось, что особенной усталости нет.

Как я обещал полковник, через три часа мы вышли в море. Мало того, было выполнено и другое обещание — были выплачены деньги. Недели через три я их получил. Пришлось около шести тысяч на брата...

2 сентября я снова увидел загадочный маяк с двумя черными кольцами. Мы обогнули косу. «Казбек» подошел близко к эскадре.

«Генерал Алексеев» в это время ушел, и центральным судном в Тендеровском заливе был крейсер «Генерал Корнилов», бывший «Кагул».

\* \* \*

«Патриот», т. е. «начальник третьего отряда», капитан первого ранга С., принял меня на юге. В это время откуда-то взявшийся орел, сделав несколько взлетов, опустился в двух шагах от нас на дуло орудия. Я склонен был это принять за доброе предзнаменование, но увидел, что у орла молодой желтый клюв, и тут же мне объяснили, что это воспитанник «Корнилова».

\* \* \*

Так началась «Корниловская эпоха», иначе называемая эпоха, «военно-морских ужасов».

Первый «ужас» разразился в тот же вечер. Было очень тихо и очень красиво. Маяк задумался о чем-то, как будто бы о «прошлом», по скорее о будущем. Вокруг царственного «Корнилова» мирно покачивались подвластные суда... «Альма» с ее характерным, возмущающим душу моряков видом «буржуа-жантильом», коммерческое судно, обращенное в крейсер — «шмага» по-морскому... Около «Альмы» маленький «Киев», довольно невзрачный тихоход, но громкоход. По другой стороне большая баржа «Тилли», безутешная вдова, как ее почему-то прозвали. Там впереди не то «Язон», не то «Скиф», кто их разберет, они так похожи друг на друга, эти два тральщика... [225]

Далеко в море погибшая, севшая на дно «Чесьма». Около самого «Корнилова» на должности пажа С.К.4 — быстроходный катер, изящный, приглашающий к прогулке.

У трапов две-три шаланды, наполненные арбузами... Эти арбузы неотделимы от Тендры. Таких арбузов, кажется, нигде и в свете нет. А дешевизна сумасшедшая. Сто рублей штука. В Севастополе «за порцию» надо платить триста. Но деньги берут неохотно. Вот если дать какую-нибудь вещь, какой-нибудь пустяк, старую рубашку, вот тогда начинается бомбардировка арбузами через борт. Их бросают с шаланды, и команда крейсера ловко ловит их в руки.

Мы мирно любовались всей этой картиной с юта, как вдруг произошло какое-то общее смятение. «Альма» сорвалась с моста и куда-то поползла с видом испуганной наседки. «Киев» тоже неистово застучал своим нестерпимым «балиндером», баржа «Тилли» осталась неподвижной, но пригорюнилась.

Вдруг рывкнуло орудие, и высоко в небе разорвалась шрапнель, сверкнув звездочкой. Это открыла, военные действия «Альма». «Киев» немедленно присоединился, и вдвоем они стали покрывать участок неба сверкающими огоньками, после которых оставались дымки. — Вон, вон, видите...

Между дымками я действительно увидел черную точку. Это и была приближавшаяся большевистская «гидра». Только что я подумал о том, что это «в честь нашего прибытия», как меня совершенно оглушило орудие, рывкнувшее на самом «Корнилове».

После этого пошло. Стреляли уж, стреляли... Но черная точка двигалась своим путем, по-видимому, даже но, замечая этих дымков; их ведь, говорят, и не видно и не слышно летчику.

Цель ее посещения, в сущности, была ясна. Большевики от себя видели по дыму, который развел «Казбек» утром, что пришло какое-то судно. И вот гидра летела проверить. Но, не долетев немного до «Корнилова», очевидно, для соблюдения этикета, что-то бросила, что произвело фонтанный всплеск, в море. Бомбу — конечно. [226]

В общем, все кончилось благополучно, как водятся. Но, так сказать, вечерний военноморской ужас удался на славу.

Но возмутительно себя вел маяк. Хотя какая-то наивная душа стремилась там достать гидру из пулемета, но маяк лично не принимал в этом ровно никакого участия. Выражение его было ироническое.

\* \* \*

В числе наивных душ, обстреливавших гидру из пулемета, оказалась женщина и даже молодая девушка. Она прибыла сюда на Тендру в качестве «разведчицы». Когда налетела гидра, оказалось, что она к тому же — «пулеметчица». И вот хотела достать гидру в небе.

Но вместо этого...

\* \* \*

Это было через несколько дней. Я зашел в кают-компанию к патриоту, — мне нужно было по делу.

Он жестом попросил меня подождать, пока кончит разговор.

Я опустился в уютное кожаное кресло. И задумался. Я полюбил эту кают-компанию... симпатичная... Сквозь раскрытые двери, которые вели на адмиральский мостки на самой корме крейсера, виднелось море — очень ласковое сегодня... Оно играло с солнцем.

Я невольно прислушался к разговору.

Этот молодой офицер, что докладывал патриоту, как видно, «заворачивал» там на маяке. Разговор шел о двух задержанных разведчиках, присланных из Севастополя, которых на маяке почему-то признали шпионами и жидами. Офицер говорил:

— Разрешите доложить... Он уже сознался, что, он жид... Я думаю, что его надо бы пороть до тех пор, пока он ее не выдаст. Она тоже шпионка, — это ясно...

Патриот успокоил его.

— Бросьте... я запросил Севастополь... Пока я приказал ее перевести на «Скиф». [227]

Я вышел на мостик. Вдоль крейсера медленно шла, направляясь к пришвартованному к «Корнилову» «Скифу», шаланда. На корме сидела женщина. Мне мелькнуло молодое, загорелое лицо из-под красного платка.

Это, должно быть, и есть шпионка...

Мне захотелось ее повидать. Кто-то сказал мне, что она уже была в какой-то разведке и потому может мне дать полезные указания. Кроме того, мне просто было любопытно. Неужели я не могу отличить «шпионку» от настоящей?

\* \* \*

Она сидела за столом в маленькой кают-компании «Скифа» и с аппетитом кушала жареного поросенка... Видно, голодная...

Я извинился и подошел к столу. Она встала, и так мы остались стоять... Это было молодое существо... сильно загорелое, с выразительными губами... еще жирными от поросенка...

Я стал ее спрашивать и по ответам почувствовал, что она затравленная, во все же доверчивая. Вдруг она спросила меня:

— Вы не... редактор «Киевлянина»? ..

И когда я сказал «да», вдруг в ее улыбке, внезапно снявшей всю затравленность и оставившей одну доверчивость, я поймал что-то знакомое и безошибочное.

— Так вы должны были знать мою сестру?

Вот !.. Конечно, я видел уже это когда-то.

— В семнадцатом году... она была у вас... тогда вам поднесли...

Она смутилась... Должно быть, поднесли цветы... Тогда эта бедная молодежь жалась к «Киевлянину». Но я вспомнил не это... Вдруг вспомнил, что еще так недавно в Одессе она оказала всем нам незабываемую услугу... Та, которая должна была быть ее сестрой. Но я не оказал ей этого из преувеличенной осторожности. [228]

Но я вернулся на «Корнилов» и сказал патриоту, что шпионка на «Скифе» — дочь генерала Н., семью которого я знаю.

Патриот ответил, что получен ответ из Севастополя, устанавливающий и подтверждающий подлинность разведчицы.

«Расстрелять, расстрелять!..» — сумасшедшие люди!..

\* \* \*



Мораль сей истории для молодых «расстрельщиков». Когда у вас будут чесаться руки непременно кого-нибудь «вывести в расход», подумайте о том, что, может быть, где-нибудь в другом месте, но с таким же легкомыслием, какой-нибудь из ваших товарищей расправляется с вашей сестрой или невестой...

\* \* \*

В уютной адмиральской кают-компания за столом, «заброшенным картами», обсуждалось предприятие. Тут я впервые узнал о тайнах мореплавания. Во-первых, для успеха, всякого морского дела нужно говорить компáс, а не кóмпас. Полезно также говорить рапóрт, а не рáпорт. Затем, нельзя называть веревку веревкой, а нужно говорить «трос», «шкот», «линь» и вообще так, чтобы было непонятно. Впрочем, все это описано Станюковичем гораздо раньше и гораздо лучше, а поэтому я могу не стараться.

В результате обсуждения оказалось, что на целой эскадре нельзя найти шлюпки за полной бедностью, и что в дело придется пустить старого друга «Speranzy», которая каким-то образом оказалась на каком-то судне, сохранившем ее для нас честно. Ее надо только отремонтировать. За это дело взялись рьяно.

\* \* \*

Когда стемнело, «Альма» вышла в море, имея на буксире «С.К.4», который, в свою очередь, буксировал «Speranzy». В эту ночь требовалось сделать разведку в эту сторону, а следовательно, была оказия для нас. [228]

На борту «Альмы» было приятно. Она шла без огней, прокрадываясь в темноте. Может-быть, именно потому, что машина у нее на корме, у нее очень тихий и плавный ход, какой-то скользкий.

Звезды сияли, и командир «Альмы» объяснял нам, где Полярная звезда, и давал некоторые другие указания. Впрочем, у меня был компас.

Мы уютно поужинали в командирской рубке, которую наглухо закрывали, чтобы не было видно света. Конечно, не обошлось без арбузов. Что это за арбузы!..

Потом я пошел спать. Судно чуть-чуть покачивало, и все было как-то необычайно тихо и мирно. Я спал три часа, когда меня разбудили:

— Пора...

\* \* \*

Я вышел из рубки. «Альма» остановилась. Было все так же тихо-торжественно и таинственно, как бывает в море...

В небесах торжественно и чудно...

«С.К.4» завел машину и большой темной рыбой подошел с правого борта.

— Ну, дай вам бог...

Мы перешли на «С.К.4», а с него на «Speranzy», прибуксированную к нему.

Тут случилась первая неприятность: я безошибочно определил, что «Speranza» нестерпимо течет. Пришлось тут же ее откачивать. Немедленно после этого произошла вторая неприятность: я стал надевать изготовленный стараниями «Корнилова» руль, щедро кованный железом, но он оказался таким тяжелым, что при надевании в темноте на проклятый шпенек, который не хотел влезать на полагавшуюся ему петлю, я упустил этот богато кованный руль в море, и он потонул с ужасающей быстротой.

Я собирался очень над этим разволноваться, но времени не было.

«С.К.4» торопил, и мы тронулись.

Это было путешествие... Как только «С.К.4» прибавил ходу, впереди «Speranz'ы» появилась гора [230] фосфоресцирующей воды и пены. Два бурливых огненных потока побежали по бортам... Страшно красиво, но шаланда стала в косом положении — носом к небу, кормой погружаясь в сверкающую завихруху. Я крикнул Вовке, чтобы он перебрался на самый нос... это чуть выпрямило шаланду. Но она стала бешено рыскать вправо и влево, и я с трудом удерживал ее веслом, заменявшим руль...

По счастью, это красивое испытание длилось минут двадцать... «С.К.4» стал... Последние приветствия... Затем нам бросили наш шкот, и «С.К.4» отошел, производя винтом световые эффекты. Через несколько мгновений он исчез, — мы остались одни в море.

\* \* \*

Когда не бурно и шлюпка в порядке, то, хотя бы она была такая крохотная, как эта «Speranza», — ночью в море жутко-уютно...

Но когда шлюпка отчаянно течет и, вообще, дело не ладится, тогда определенно можно сказать, что никакой уюта, а одна жуть.

А «Speranza» текла неуклонно. Один из вас, а было нас двое, все время должен был выкачивать воду. И это при совершенно спокойном море. Что же будет, если разведет зыбь!

Другой, неоткачивающий, — это был Вовка, — должен был грести. Должен был, а на самом деле он не греб, а только «привязывал»... Есть на этих шлюпках пренеприятные вещи, которые зовут «шкармами». Шкармы — это деревянные колышки, засунутые в борта... Они заменяют уключины, то есть к ним привязывают весла... но они же могут служить орудиями пыток.

Так было и в нашем случае. Эти проклятые шкармы почему-то все время вываливались из гнезд. Хорошо еще, что пока они падали в лодку. Но они грозили упасть и в море. Как их поймашь тогда в темноте? Правда, я скоро определил, почему они вываливаются, — это про — исходило потому, что борт гнилой, но от этого открытия нам не стало «уютнее»... [231]

В довершение удовольствия очень скоро перетерлись веревки, которыми привязывались весла к этим ужасающим шкармам...

Тогда наступила скверная минута. Однако, всегда есть выход. Я нащупал ремни на винтовках. Целая была история снять эти ремни, затем не менее трудно было привязать весла этими ремнями к шкармам. Я это сделал. Вовка тем временем выкачивал воду и

ругался. Действительно, есть положения, когда надо ругаться... И прежде всего, надо ругать самого себя за то, что вышли в море, не осмотрев хорошенько шаланды. Поступили чисто по-русски...

Когда, все было готово, оказалось, что грести почти: невозможно. Ибо ремни по какому-то удивительному упрямству удерживали весло именно так, чтобы его ни повернуть, ни вывернуть. Если бы мы не так сильно ругались, то, пожалуй, заплакали бы с досады.

К тому же подул ветер с берега. Да и берег этот был бог его знает где, его еще совсем не было видно. Если так грести, как мы гребем, надо было бы идти несколько часов. Между тем...

Между тем, на востоке небо подозрительно побледнело. А звезды, огромные, крупные, прогнав куда-то всю мелочь и белесоватые разводы Млечного пути, разгорелись так ярко, как они имеют обыкновение это делать перед рассветом.

\* \* \*

Это и был рассвет... Через четверть часа это стало ясным. Итак, положение было такое. До берега несколько миль. Шаланда течет бешено, весла почти не работают. Ветерок, хотя слабый, но противный. При этих условиях высадиться на большевистский берег можно было только через несколько часов, то есть при полном свете дня.

Это было явно невозможно. Поэтому, пустив в море все ругательства, какие можно было изобрести!, мы решились на позорное отступление.

Отступать, но куда? .. Конечно, на Тендру. Правда, придется идти совершенно неопределенное количество [232] времени с этими веслами я с этой течью, но у нас есть некоторые шансы, что мы найдем «Альму». «Альма» обещала ждать меня некоторое время в море в определенном пункте.

Мы взяли по компасу это направление. Шли, шли, шли, как нам казалось, бесконечно долго. Тупо гребли и обреченно выкачивали...

Солнце сияло, когда мы, наконец, ее увидели. Да, это была. «Альма», — безобразная «шмата», скользящая насадкой... Но как приятно было ее увидеть. Словно дом родной.

«Дым отечества», впрочем, не вился над нею. Еще приятнее было, когда от «Альмы» отделилась какая-то точка и явно стала приближаться к вам с большой быстротой, на глазах увеличиваясь в размерах... Ясно было, «С.К.4» спешил к нам на помощь. Кто-то там, очевидно, внимательно смотрел в бинокль, если разглядели вас с такого расстояния...

\* \* \*

Репатриированные на борт «Альмы», мы решили так: будем высыпаться, а «Speranzy» в это время починят. В четыре часа вечера мы будем пытаться счастье снова, благо «Альма» должна еще побыть в этих водах.

Но когда, отремонтированную «Speranzy» на таях спустили на воду, вода забила по всем швам.

Ничего не будет... Это ее «С.К.4», когда вчера тащил на буксире, растянул. Ведь, она гнилая...

Подошел командир «Альмы». Осмотрев, он сказал:

— Если вы непременно хотите покончить с собой, то у меня есть в каюте револьвер. Приятнее и сухо.

Хохол — матрос подошел к борту и уставился на шлюпку... Потом сказал негромко, не обращаясь ни к кому:

— Це сама смерть, — цяя шаланда... — И отошел от борта.

\* \* \*

Я понял, что действительно ничего не будет. Я сказал командиру «Альмы», что отступаю. В это время показался [233] аэроплан. «Альма» приготовилась к бою, но оказалось, что это наша «гидра». Единственная, которая была на Тендре. Она вылетала в особо важных случаях.

Зажужжав на все шмелиные напевы, гидра зашуршала по воде недалеко от «Альмы» и затем беспомощно, какими-то самодельными движениями, подползла к борту.

Из авиаторских пеленок вылезла голова, которая оказалась знакомым профилем лейтенанта К.

Оказалось, что «патриот» беспокоится, что сделалось с «Альмой» и с прочими.

Мы немедленно собрались в обратный путь. «Гидра» приготовилась лететь, но ничего не вышло. Вычертив со свирепым рычанием несколько пенных полосок на поверхности моря, мотор окончательно дал понять, что ничего не будет. Тогда решили идти кильватерной колонной: то есть собственно шла «Альма» и буксировала «С.К.4», он буксировал гидру, а гидра — «Speranzu».

Когда мы подходили к маяку, не скрывавшему на этот раз насмешки, налетели неприятельские «гидры». Начался бой во всех направлениях. Несчастливая «Альма» трепетала по всем швам, потому что — то «носовое», то «кормовое» потрясали ее дряхлеющий корпус.

Все это было очень занято, продолжалось довольно долго и, как водится, никаких последствий не имело: обе стороны разошлись восвояси без потерь.

\* \* \*

После неудачной попытки индивидуального действия, т. е. вдвоем с Вовкой и на полугнилой «Speranze», я решил вступить на «коммунистический» путь, то есть действовать сообща с другими.

\* \* \*

Вечером, 17 сентября, в гостеприимной адмиральской кают-компании был сервирован уютный стоя. Собирались кого-то фетировать, не то Любовь Надежды, не то Надежду Любви...

Увы, мы с Вовкой должны были покинуть «свет и тепло» и пуститься в Черное море. [234]

Таков уж долг солдата:  
Вставать от сладких снов  
Для распрей и для битв...

(

«Отелло» Шекспир)

\* \* \*

Было две шаланды. Та, другая, шла впереди, и мы видели ее то белым, то черным приведением, в зависимости от перемены галса. Луна делала, эти превращения. Всех нас было на обеих шаландах десять человек. Выла зыбь, но не слишком. Мы шли бесконечно долго. Наконец, берег как будто бы стал угадываться. Но еще очень далеко.

Несколько раз поднимались разговоры о том, «сбивать парус» или нет. Пока одерживало мнение: «Чего обивать! Что ж ты думаешь, его тебе видно, так и он тебя видит».

«Он» — это был большевистский прожектор. Своим циклопским взглядом он водил по морю. В те минуты, когда этот несносный луч набегал на нас, становилось совсем светло... Парус вырастал над шаландой огромной белой птицей... И видны были наши лица, казавшиеся смертельно бледными, с резко прорубленными морщинами.

Это продолжалось одно мгновение, луч проносился дальше, очевидно, не заметив нас.

Если бы он заметил, то остановился бы, держал бы нас под лучом, — сказал кто-то. — Значит, не видит...

И шли дальше. Но, наконец, наступила психологическая точка. Все как-то заволновались разом, отчаянно переругнулись в мать, Христа и в веру, и мнение «сбивать парус» одержало верх.

«Сбили», то есть спустили, говоря по-русски. Рыбаки — те же моряки, и даже моряки *par excellence*. А посему и они выражаются нечеловеческим языком.

Пошли на веслах.

Нас на шаланде было шесть. Двое отлынивали насчет гребли, в особенности один, самый здоровенный из всех нас. Ругались по сему поводу. Но все-таки шли. [235] Вдруг кто-то заметил два огонька. Красноватые, еле заметные, они где-то очень далеко мигали над самой водой.

— Это катера!..

Все переполошились. Стали спорить и ругаться. Кто-то возражал, что это не катера.

— Как же не катера!.. (В мать, Христа и веру) вот же бегут они... вот же бегут по воде!.. Назад!..

— Постой, куда же они бегут?..

— Навстречу друг другу. У них два катера и есть... Сторожевые катера!..

— А почему же, если они бегут навстречу, между ними расстояние не уменьшается?.. Огни, это — костры на берегу... Какого черта катера с огнями будут ходить?!

— А это что?!!

Рыбак Тодыка обладает каким-то удивительным голосом. Он сидит на корме у руля и иногда разговаривает по-человечески. Но в некоторых случаях он рывкает со всеми скрежетаниями, какие можно только выдумать в человеческой глотке.

— А это что?!!

Это?.. Это, действительно, было нечто... Там, за кормой, на востоке, небо чуть как будто подалось...

— Неужели заря?

— А что же такое?!!

Все звуки ада были в его голосе. Да, это была заря. И тут уже нечего было разговаривать. Катера — не катера, конечно, а костры, но заря... Заря — это заря. На эту ночь предприятие можно было считать неудавшимся. До берега грести еще бог знает сколько, — несколько часов, а это значит высаживаться при полном свете, т. е. прямо в объятия сторожевой охраны большевиков.

\* \* \*

Что делать?

Погода была приличная, а потому представлялся следующий выход. Вновь ставить парус, отойти дальше в море и там перестоять на якоре весь день вплоть до следующей ночи. Так и сделали. [236]

Две шаланды стояли рядом. Море болтало без ветра. Было нестерпимо жарко. Время тянулось томительно, прерываясь короткими минутами сна.

Иногда ели консервы. Пробив противные дырки в жестянках, выцарапывали оттуда содержимое и ели с хлебом, который уже стал подмокать. Поев консервов, зарывались всеми челюстями в корки арбузов. Конечно, ругались. Но лениво, только потому, что нельзя же без этого.

Все они были между собой на «ты», звали друг друга Ванька, Колька, Сашка, Павка, Тодыка... Тут были рыбаки и офицеры, но разобрать их было трудно. К тому же некоторые из них были родственники друг другу. Большой, который не хотел грести, очень ожил и много ел. Колька непрерывно пел какие-то шансонетки, но иногда заводился на Вертинского.

Где вы теперь,  
Кто вам целует пальцы,  
Куда ушел ваш китайчонок Ли?..

Тодька с кормы подхватывал:

Вы, может быть, любили португальца...

А затем прервал себя «скрежетом» собственного изобретения...

— Колька... Колька... «Журавля»...

И «над ленивыми волнами» несся волосы дыбом поднимающий «Журавль».

На меня это производило такое впечатление, как будто бы грядной блевотиной рвали в чистое море. Желто-коричневая мерзость струйкой опускалась в «хрустальный чертог». Впрочем, кой кого тошнило на самом деле.

\* \* \*

Мы с Вовкой чувствовали себя немножко чужими в этой среде. Но к этому можно было бы привыкнуть. Неистовый Тодька, одноглазый, помесь рыбака и апаша, положительно проявлял сквозь сетку грубости какую-то симпатичную даровитость. И, кроме того, к нему образовалось какое-то доверие, — не выдаст человек. [237]

А в общем мы довольно печально смотрели на дело. Судьба Эфема не могла не быть у нас перед глазами. Точно так, очевидно, отвалив от Тендры в такой же компании, замешавшись в их среду, высадился и «Котик», погубивший Эфема. Кто знает, из этих десяти человек, кто жертва и кто провокатор.

Поэтому я посоветовал Вовке при первой возможности перейти опять к «индивидуальной деятельности».

В три часа дня было неожиданное развлечение.

Надо сказать, что мы стояли в виду Одессы. Правда, очень далеко, так, чтобы и в бинокль нас нельзя было рассмотреть, но нам-то очертания города, были видны. И вдруг над этой полоской земли взвился огромный клуб черного дыма. Взвился сразу, как взрыв гейзера,

Это, конечно, был взрыв и взрыв сильный, судя по тому, что дымный фонтан поднялся на очень большую высоту. Через много времени глухим ударом донесся и звук.

Это было 18 сентября по старому стилю. Историки при желании докопаются, что это такое было. Но мне оно осталось неизвестным...

Между сном, убаюкиваемым морем, и бодрствованием, просоленным ругательствами, как-то почти незаметно подошел вечер.

Опять ночь, опять звезды. В десять часов вечера поставили парус и пошли.

Пошли по приметам, известным одному Тодьке, которому было указано общее направление. Впрочем, у меня был в руке компас, которым я сверял ход.

Время от времени Тодька скрежетал за моей спиной. -

Господин поручик... Посмотрите там на компас... - -

Я смотрел, но это было бесполезно, потому что он безошибочно держал направление, руководствуясь зыбью и ветром. Зыбь подкатывалась с левого борта, у которого я лежал, уютно прикурнувшись. Неприятно было то, что ноги были систематически в воде. Но к этому все привыкли. И еще с пулеметом были у меня [238] недоразумения; при большом крене он стремился переломать мне ноги... -

Почему-то не ругались. Было темно, луна еще не взошла!

Загорелся прожектор. Теперь не надо было компаса. По прожекторам это легко. По этой азбуке легко читается весь горизонт: Большефонтанский, Воронцовский, Дофиновский... Все ясно...

Шли долго. Давно взошла луна, давно потухли прожекторы. Мы стали подводить: берет, в том, что принято называть «серебристой дымкой», явственно угадывался. Но в силу того, что нам пришлось сделать несколько галсов вправо и влево, мы потеряли ориентировку. Сам Тодька не мог разобрать в этой все нивелирующей мгlistой серебрянности, где мы, т. е. против какого места, большевистского берега...

Мы все еще шли под парусом, стараясь передвинуться как можно ближе... Если слишком рано перейти на весла, то опять заря застывает.

Наконец, «сбили» парус. Впереди был берег; по-видимому, обрывистый. Но какой берег, — никто не мог определить.

Трудная штука — высадиться. Прежде всего, морская опасность. Шторм, прибой, которые могут не дать высадиться. Затем береговая большевистская охрана, — могут тут же поймать на берегу. Затем, когда преодолеешь две эти опасности, еще остается третья: внутренний враг.

Кто же их знает, — не таится ли предатель вон в той другой шаланде, что идет впереди, или, быть может, вон он лежит рядом, плечом к плечу, и рассуждает о том, «сбить» ли парус, иди нет...

\* \* \*

Тем не менее, мы гребли и подвигались, хотя медленно, но подвигались. Когда я садился на весла, я видел, что луна светила мне прямо в лицо, светила весьма энергично, и я понял, что мы находимся прямо в лунном столбе относительно берега. Мы еще далеко сейчас, но когда будем приближаться, нас легко будет видно... [239]

Близко... Берег тянется ровными голубовато-серыми обрывами, вправо и влево. Почти прямо против, по носу, какие-то домики. Что это такое, господь его ведает...

Другая шаланда, ежась, подошла ближе к нам. Поручик, который, *soi-disant*, командовал всей экспедицией, был на нашей шаланде. Он сказал той другой подойти к берегу и «попробовать»...



Шаланда пошла, но, покрутившись некоторое время против домиков, отошла обратно в море.

— Боятся, сволочи!.. Не пойдут... Я их знаю!.. Шаланда держалась на дипломатическом расстоянии и от берега и от нас. Приказать ей ничего нельзя было, потому что нельзя же вопить в таком положении, а знаков не видно... Намерения ее, впрочем, были ясны: она предоставляла нам «честь первенства».

— Ну и чорт с ними... Трам-тарарам!.. Пойдей мы... пойдём, Годька?!

— А они что же... трам-тараарам!.. Ну идем...

На корму втащили пулемет. Он притаился там злой ящерицей. На весла сели мы с Вовкой. Когда сидишь на веслах, то ешь спиной к берегу, на котором можно ожидать некоторых неприятностей, то так поневоле и тянет обернуться. А потому гребут плохо. Я шепнул на ухо Вовке:

— Давай не оборачиваться...

Мы налегли на весла сколько могли и обернулись только тогда, когда

Годька сказал:

— Кормой подходить надо...

Берег вырос над нами неожиданно-большой, высокий, обрывистый. Домики куда-то исчезли, вместо них какие-то камни, скалы. Мы притаились на несколько мгновений, пытаюсь разглядеть что-нибудь и расслышать. Но было удивительно тихо.

Сияла ночь. . . Луной был полон...

Все было полно луной... И море и весь этот берег, на котором впадины и расщелины ложились черными [290] морщинами. Маленький удобный кусочек белея впереди нас песком, а вокруг него — нависшие обрывы...

— Там можно выйти?..

— Можно... Вот там как будто бы тропинка по обрыву...

\* \* \*

Шаланда стала поворачиваться кормой к берегу. Пулемет, раскорячившийся каракатицей, установился на обрыве. Около него поместился Р. Я положил винтовку рядом с собой. Шаланда тихонько подвигалась кормой вперед к белеющему местечку...

Дальше нельзя... Шаланда уперлась не то в дно, не то в камень. Не подойдет.

— Что же, надо в воду...

Еще раз внимательный взгляд кругом, прислушивание, приглядывание. Кажется, там кто-то стоит. Нет, — это тень. Все тихо... удивительно тихо. Даже приборя никакого.

— Ну, Вовка... с богом...

Он простился со мной, взял свою тяжелую корзину, которая ему была необходима, и пустился за борт в воду.

И когда он побрел в воде почти по пояс от камня к камню, должно было бы быть очень страшно. Но в этих случаях спасает то, что все силы организма сосредоточиваются во внимании. Я держал винтовку в руках, и у меня осталась только способность смотреть и слушать. Все остальное временно анестезировалось.

Дошел... на белом кусочке появился его черный силуэт. Стал двигаться куда-то вправо и потом подыматься... Значит, там действительно оказалась тропинка. Черная еле заметная тень, которая была то, что осталось от Вовки, поднялась почти до самого верха. Потом вдруг поспешно спустилась обратно. Стало понятно, что он сбежал вниз, очевидно, что-то заметил...

Несколько мгновений, очень напряженных... Р. у пулемета.

Нет... ничего. Все тихо. Очевидно, он, поднявшись и осмотревшись, просто сошел вниз поджидать остальных. [241]

Остальные двое, которые должны были высаживаться с нашей шаланды, лежат, однако на дне ее, не выказывая никаких признаков того, что они собираются выйти.

— Ну, что же вы?

Не отвечают.

Р. начинает сердиться...

— Ну что же вы,... долго будете валяться?.. Вон поручик вышел.

Молчание. И потом ответ:

— Не пойду в воду... у меня ноги болят...

Происходит сильная сцена. Ругаются. Постепенно Р. свирепеет. Те неподвижны, — отругиваются лежа. Наконец, Р. хватается винтовку и перебегает по банкам шаланды к ним.

— Стрелять буду, тра-тарарам!.. идите, говорю... стрелять буду!..

Я перебегаю вслед за ним, хватаю его за винтовку.

— Мы их в море пристрелим... Оставьте... Ведь поручик на берегу...

В это время, как бы на выручку, подходит та, другая шаланда, которую мы на время забыли. Увидевши, что мы благополучно пристали, они приближаются. Подходят, становятся рядом, и люди оттуда один за другим спускаются в воду и бредут к берегу. Там высаживается вся шаланда, — четверо...

Когда они прошли, очевидно, совесть взяла и наших лежаков.

Не говоря ни олова, они поднялись, влезли в воду и побрели.

Теперь все... Р. говорит:

— Выйду посмотреть, как они там.

С винтовкой в руках бредет и он. Мы остаемся вдвоем с Тодькой на двух шаландах. Мне видно, как Р. доходит до белого места, потом подымается по тропиночке и исчезает где-то вверху. Все тихо... Через несколько минут он возвращается.

— Залегли там. До рассвета... Ваш поручик там в стороне. Холодно. Ну, ничего, как-нибудь... никого нет... спят большевики... [242]

— Где мы?

Он говорит... Оказывается, мы совсем не там, где ожидали, но очень хорошо.

\* \* \*

Ну, надо уходить. Мы отгребаемся немножко в море. По-прежнему все тихо, но луна светит со всем усердием. Отойдя на веслах от берега, мне вдруг становится ясным, почему так было тихо у берега, почему нет прибой. — Горышняк, — говорит Тодька. — Попутняк...

За это время ветер переменялся, стал с берега, то есть востовый, — западный... Мы пойдем великолепно.

Обнаглев, ставим парус в четверть мили от берега и с постепенно все свежающим «горышняком» идем обратно, взяв вторую шаланду на буксир. Берег быстро отходит от нас...

Где-то около рассвета я крепко заснул под разговор Р. и Тодьки.

Они иногда обменивались соображениями, нужно ли брать «пажей» или «горстей» то есть вправо или влево, при чем Тодька утверждал, что он идет верно.

— От увидите... По самой прорве будет маяк... Господин поручик, посмотрите там на компас...

Я просыпаюсь, смотрю на компас и вижу, что он держит что-то около, ста, что и требуется. Я еще крепче заснул, когда взошло солнце, хотя ветер все свежел, и зыбь становилась ощутительной.

Меня разбудил Тодька.

— Господин поручик...

Он рукой указывал мне вперед. После продолжительного приглядывания, я действительно увидел, по самой прорве, чуть виднеющуюся вертикальную черточку.

— Тендеровский... А туда посмотрите... В совершенно противоположном направлении таким же едва угадываемым столбиком я увидел другой маяк...

— Большефонтанский... [243] Через несколько часов с некоторыми скандалами, ибо зыбь разбушевалась, нас выбросило к подножию двухкольцового маяка, который сейчас же засемафорил на «Корнилов», что шаланды вернулись... 11 пересек пешком косу, которая местами превратилась и ковер каких-то красно-турецких молочаев и красивых лиловых цветов между шершаво-шелковистой осокой. Затем бот перетащил меня на «Корнилов», где меня ожидала дружеская встреча.

И горячая ванна. Нежась в теплой воде, я думал о том, удалось ли Вовке избежать «врата внутреннего», и вообще дошел ли оя благополучно...

\* \* \*

Я должен был прийти за ним через установленное число дней. Для того, чтобы не пропустить как-нибудь и все наладить, я переселился с гостеприимного «Корнилова» на маяк, то есть в один из домиков, притаившихся у его подножия.

Ах, эти дни... Задул очень свежий норд-ост, переходящий в шторм. С возрастающей тревогой я следил за этим, все усиливающимся воздушным током, холодным и упрямым. Разговоры с рыбаками становились все неприятнее.

Наконец, роковой день наступил, но их нельзя было уговорить.

Этот самый Тодька проявляя и изворотливость и упорство. Но и вообще всюду была глухая стена. Куда ни ткнешься, — там было много шаланд, — везде сопротивление. Для виду соглашаются, а на, самом деле увиливают.

Они чувствовали погоду. К тому же у меня было очень мало денег, чтобы подействовать с этой стороны. Да и что такое деньги? Вот если бы я им подарил какую-нибудь шинель или теплую рубашку, или обувь, — это они бы ценили...

Ведь все эти рыбаки жили на Тендре в собачьих условиях. Некоторые имели палатки; а другие и этого не имели. [244]

Ютились при жестком норд-осте где попало, а по ночам температура рыла уже очень низкая. Ничего у них не было, бежали они от большевиков, в чем были, и жили буквально волчьей жизнью.

В этот решающий день мне не удалось их уговорить. А в ночь, которая последовала, мне было совсем плохо я знал, что гам, на том берегу, кучка людей ждет меня до рассвета, веря моему обещанию.

И все же я ничего не мог сделать. Норд-ост свирепел с каждой минутой и гам, у того берега, накат должен был быть неистовый.

Что же было делать теперь? Теперь оставалось одно: так как условленный день или, вернее, ночь была пропущена, то нужно было высадить кого-нибудь нового для того, чтобы восстановить связь. Партия, которой надо было высадиться собиралась. Но не было среди них ни одного человека, достаточно мне знакомого, чтобы я мог ему доверить серьезные вещи. Поэтому выходило так, что высаживаться надо мне.

Норд-ост продолжал свирепствовать. Было очень холодно, хотя солнце было очень яркое.

Так прошло несколько дней вечных разговоров: «идем» — «не идем». Совсем уже решили идти, но норд-ост опять наваливался, доходя «до ракушек».

Бывает норд-ост «с песком» и «до ракушек». Если он подымает только песок, то это еще ничего. Но если летят уже мелкие ракушки, то хуже.

Развлечение в эти дни состояло в том, чтобы подыматься на маяк и следить оттуда за, «военно-морскими ужасами». К тому же под стеклом так тепло...

Дело в том, что «патриот» предпринял операцию. «Корнилов» выходил как-то вечером в море и долго систематически кого-то долбил: разрушали батарею. С ним выходила вся эскадра, и все это было очень интересно. [245] Старались тральщики, старалась «Альма» и все вообще, и в лиловом море загорались эффектные вспышки...

Наконец, 29 сентября по старому стилю (я запомнил этот день) собрались. Две шаланды снарядились, как полагается, с пулеметами на кормах, и все честь-честью. Норд-ост продолжал дуть, но надоело всем, — решили плыть.

Во время норд-остов на берегу косы, обращенной к морю совершенно тихо, — нет зыби. Поэтому усаживались очень долго и с удобствами. Все остающиеся высыпали провожать. Напутствовали всякими благопожеланиями, даже некоторыми благополучными вещами: мне, например, дали теплую рубашку и барашковую шапку такого вида, который сильно гарантировал насчет большевистских подозрений.

В два часа дня мы отошли... имел неосторожность пересчитать, сколько человек было в шаландах, — оказалось, тринадцать. К тому же кто-то засвистел на нашей шаланде.

Правда, Тодька заскрежетал на него самым невозможным образом, но, тем не менее, дело было сделано, нельзя свистеть в шаланде, — не будет удачи... К тому же из тринадцати была одна женщина, — это ж совсем плохо.

Я пересчитал также и тех, что оставались. Их было двенадцать. Они стояли все рядышком, в равных расстояниях друг от друга, ровненьким смешным строем на удаляющейся косе.

Нет, их тоже было тринадцать. За спинами людей, неподвижный, но выразительный, стоял двукольный маяк...

Он стоял дольше всех. Те двенадцать давно ушли домой, ушла и низкая коса под воду, а он все стоял и стоял, как будто не желая уйти, стоял до заката солнца, хотя шаланды, гонимые норд-остом, входили с большой быстротой.

Но, наконец, и он пропал.

Прости, двукольный...

\* \* \*

Кроме Тодьки в моей шаланде были все новые. Второй рыбак — Федюша, затем — Жорж, Яша, Коля и еще один, который тогда засвистел...

Один из них неподвижно лежал на дне шаланды, сильно страдая морской болезнью. Впоследствии этот комок в серой шинели оказался Яшей. Меня пока не укачивало, хотя норд-ост свирепел, и зыбь становилась все сильней.

Иногда две шаланды подходили ближе друг к другу и обменивались невозможными замечаниями. Впрочем, в той шаланде уже лежало несколько трупов — жертв морской болезни, в том числе и женщина, к счастью для нее, потому что говорили редкие гадости.

Без особых приключений докачало до вечера. Но ветер все усиливался. Мы шли с большой быстротой. Когда стемнело, зажглись прожекторы, и мы поняли, как мы уже близко. На этот раз, догоняемые свирепым норд-остом, мы сделали переход в несколько часов.

Луч прожектора бродил по неприятному морю.

Когда он набегал на ту, другую шаланду, видны были огромные черные валы, с закипающей на них пеной, и мертвенно-белый парус, жутко чертящий на этом фоне...

Мы приближаюсь, но было как-то плохо. Молчали... Даже тот, кто свистел, угомонился. Шаланда тяжело хлюпалась о валы, и все чаще нас окатывало гребешком, ватившим через край. Другой рыбак, Федюшка, все время откачивал воду, мы ему помотали, — те, кого не укачивало. Впрочем, надо сказать, что откачивание воды самое укачивающее занятие. Стоит наклониться с этим черпаком, сейчас же начинает мутить. Было очень холодно.

Наконец, мрачное молчание нарушил скрежещущий голос Тодьки.

— Как же будем высадку делать?! Там же такой накат теперь, что шаланду к трам-тарарам побьет...

Серый комок, который впоследствии оказался Яшей проявил признаки жизни. [247]

— Пусть ее бьет, трам-тарарам, только б качать перестало...

Тодька захохотал.

— Что тебе, Яша, хорошо?.. Качай воду!..

Комок возмутился.

— Иди ты к трам-тарарам... у меня порок сердца...

Это вызвало бурную веселость Тодьки.

— Кушать хочешь?.. Консервов, Яша, хочешь?..

Несчастный комок подымается и, бласфемирова на все лады, перегибается через борт. Слышны страдания, потом расвирепешая волна вымывает ему все лицо и окатывает всех нас.

— Сделайте тут высадку! — скрежещет Тодька. — А если и высажу, а назад как, трам-тарарам там... Как я отойду. Говорил, нельзя... Как же идти, когда шторм!.. Что это — лето? — Это же осень, — вода тяжелая...

Жорж пробует его успокоить.

— Чего ты разоряешься?..

Но Тодьку не так-то легко успокоить.

— Чего, чего... а вот к самому маяку подошли. Куда еще?!. Парус сбивать надо!..

В это время подходит другая шаланда.

Сквозь свист ветра и шелест валов, после заряда отборной брани доносится:

— Как тут высадку делать?!.. К черту шаланды побьет!.. Накат...

Шаланды подходят ближе, и через валы и всю злобу норд-оста продолжается отчаянная ругань, из которой мне ясны две вещи: 1) что высадка действительно, по-видимому, невозможна, 2) что, во всяком случае, эти люди ее делать не будут. По прошлой высадке я знаю, что Тодька смелый и ловкий, — должно быть, действительно плохо.

Ругнувшись в последний раз, другая шаланда куда-то исчезла.

— Куда они пошли? — спрашивает Жорж.

— Куда отлавировываться будет!

— Куда отлавировываться? [248]

— Куда!.. Против ветра... А куда, черт один знает, — куда...

Остается и нам делать то же. Шторм свирепеет. И теперь, когда мы идем в лавировку, то есть не с ветром, а под углом к волне, это становится особенно заметным. Бьет отчаянно и зализает поминутно.

Я тоже начинаю слабеть и чувствую, что близок мой час последовать за Яшей. Тем не менее, я размышляю, что же будет.

Будет, очевидно, возвращение на Тендру. Но когда мы туда попадем? При таком курсе ходу почти нет, потому что вся сила парусов уходит на преодоление зыби. К тому же мы идем «пузырем», это значит, что выброшено дерево, придерживающее парус. Это пришлось сделать для безопасности, но это очень уменьшает ход. Удастся ли отлавироваться? ..

После первых приступов морской болезни я засыпаю на некоторое время. Просыпаюсь от того, что что-то большое и тяжелое прыгнуло мне на грудь. Это «что-то» оказывается волною. Теперь мы мокрые с головы до ног. Откачиваемся бесконечно. «Кинбурн» свирепеет... Яша умирает от порока сердца, Жорж меланхоличен, «свистун» угомонился, а Колька, как улегся с самого начала на носу так до сих пор не подал ни малейшего признака жизни. Потом я узнал причину: он невозмутимейший хохол, которого когда-нибудь видел свет. Товарищи его называли «Петлюрой».

— Эй, ты, Петлюра...

Никакого ответа.

— Колька...

Ноль внимания.

Возмущенный Жорж колотит его прикладом.

Наконец, он подает голос.

— Ну, что?..

— Да ты умер, что ли!!..

Молчание... Он опять заснул.

Свирепый «Кинбурн» и вообще вся эта история совершенно его не тревожат. Он спит... Ах, если бы можно было мне так заснуть, чтобы не чувствовать этих мук. [249]

Мне кажется, что я скоро подарю морю свои внутренности.

Вода в шаланде прибывает, несмотря на откачивание. Тодька ругается и скрежещет хуже норд-оста — «Кинбурна», как он его называет.

\* \* \*

Утро застало нас все в том же положении. Оказалось, что мы за ночь «отлавирования» почти не подвинулись вперед. Мы предполагали, что выйдем, хотя бы на высоту Дофиновки. Но в рассвете начали вырисовываться Большефонтанские берега.

Взошло солнце и ярко осветило жуткую картину рассвирепевшего моря. Та шаланда исчезла. Куда она пошла, бог ее знает.

Наше положение скверное. Укачались все, кроме Тодьки. Даже и второй рыбак, Федюшка, лежит бледный и не в силах больше откачивать воды. Один Тодька сидит у руля, как будто ничего. На него это не действует. Он с тем большим презрением обрушивается на Фенюшку.

— Рыбалка называется!.. трам-тарарам твою перетарарам... Отливай воду!..

Федюша, бледный как смерть, сползает с банки и начинает черпать. Я вижу, что ему плохо, у меня как будто бы легкий перерыв «занятий»; я пытаюсь тоже отливать...

— Лежите, господин поручик, лежите...

Эта неожиданная заботливость со стороны Тодьки меня трогает.

Он снова обращается ко мне:

— Что будем делать?..

Я соображаю. Потом говорю:



— Если не отлавируемся, — выбросимся в Румынию.

— А не расстреляют, господин поручик румыны?..

Комок-Яша делает движение.

— Пусть расстреляют... только бы не качало...

Тодька хохочет...

— Как! У тебя порок сердца, так тебе все равно. Все равно умрешь...

Я говорю: [250]

— Нет, расстрелять не расстреляют... За что другое, не ручаюсь...

Ограбят, и все такое, арестуют, задержат, но расстрела не будет.

Жорж у мачты появляется.

— Держи «горстей», Тодька...

— Чего «горстей»?.. куда «горстей»?

— Держи «горстей», отлавируешься.

Тодька раздражается.

Он и так держит «горстей», сколько может. По-настоящему «пажей» надо держать.

— За неделю так не отлавируемся!.. Куда ж, шаланда полна воды, на волну не лезет...

Они некоторое время спорят друг с другом, сыпят названиями ветров: «Кинбурн», «Горшняк», «Молдаванка», «Низовка», «Оставая Низовка» перемешиваются у них с каким-то «пажей», «горстей» и «прорвой»... Я, наконец, понимаю, что «прорва» это нос.

— Что у меня но прорве?! — кричит Тодька.. Дофиновка? трам рарам перетрам тарарам!..  
Опять на Большой Фонтан выходим!

Затем «разговор упадет, бледнея»... Еще час мы пробуем отлавироваться. Однако, ясно, что, если ветер не переменится, — ничего не будет. Главное, что в шаланде слишком много воды, и просто нельзя ее отлить. Что отольем большими усилиями, — какая-нибудь сумасшедшая дрянь — волна, побольше других, небрежным движением наплеснет во мгновение ока. И отяжелевшая шаланда, плохо подымаясь на волнах, больше дает «дрейфу», чем «ходу».

Солнце встает все выше, и еще не покидает нас надежда, авось ветер начнет стихать к полудню.

Полдень... Норд-ост все тот же. Без меры упрямый и холодный. Опять вспыхивает разговор р Румынии.

— Господин поручик... А как же с ними говорить? ..

— По-французски... Они все знают...

— А вы можете?.. [251]

В это время «свистун» вновь появляется на сцене. Неожиданно оказывается, что он прекрасно говорит по-румынски.

Но Жорж, который чувствует себя начальником экспедиции:

— А с пулеметом как будет? С винтовками?.. А как они нас за большевиков примут!.. А и не примут, что же им подарить пулемет? Держи горстей, Тодька !..

\* \* \*

И еще... и еще...

Солнце пошло уже немножко вниз, а норд-ост еще усилился. Дело плохо. Мы не выиграли ничего у ветра, но воды все прибавляется. Тодька сидит уже сутки бессменно у руля.

Что же делать?..

Решаем держаться до вечера, и, если буря не уgomонится к заходу солнца, выброситься в Румынию.

\* \* \*

Румынский берег виден. Вот маяк, который должен быть в устье Днестра. Солнце низко. Норд-ост свиреп. Ничего не поделаешь, — надо выбрасываться.

— А как пройдем? — говорит Федюша. Накат большой...

Действительно, там под берегом творится что-то бешеное. Там море совсем желтое; это оно беснуется на мелком, замутив дно. Эта желтизна кончается мощной белой каймой, от которой нельзя ждать ничего хорошего, — это пена свирепого прибоя.

— Как пройдем? — говорит Федюша, показывая на это желто-белое.

Но Тодька скрежещет на него с бешенством:

— Рыбалка называется! А проход зачем?!. А бакан зачем стоит?!.. От найду бакан, и чтобы был он у меня справа, трам тарамтатам! Тоже — рыбалка!..

Он ругается с такой особенной яростью потому, что шаланда уже чувствует приближение этого весьма подозрительного места. Вода уже мутная. А валы не такие, как [252] в море, а с яростными гребешками и вообще совсем какой-то другой породы. И как найти этот бакан?!..

Эта желто-белая завируха надвинулась с ужасающей быстротой. Было одно мгновение, когда казалось, что эти огромные чудовища, будут все у нас на голове. Тут творилось что-то несуразное и каким образом Тодька отыскал бакан — трудно понять.

— А это что?! Рыбалка называется! Говорил тебе, есть бакан!..

Проскочили бакан. Справа и слева от нас воротило га-кие горы из желтой мути с белыми оторочками, что просто было страшно... И мы прошли... И через несколько минут очутились в совсем спокойной воде, — даже до непонятности.

\* \* \*

Низкий берег, остатки какого-то моста через не то пролив, не то устье реки, и маяк.

Сбили парус и тихонько на веслах без всяких приключений мирным образом уткнулись в песок.

Это была Румыния...

## Константинополь

*(Из дневника 18/31 декабря)*

... Если стоять вечером на мосту через Золотой Рог, на знаменитом мосту между Галатой и Стамбулом, то вдруг припоминается что-то живо-знакомое.

— Что? ..

Вот что... так стоит на Троицком или, вернее, на Николаевском мосту в Петрограде. Золотой Рог — будто Нева. По одну сторону — как будто бы Петроградская сторона, там — набережная. Не очень погоже, но есть что-то общее.

Красиво... Очень красива эта симфония огней...

Толпа непрерывно струится через мост.

Тепло...

Как в теплый вечер в начале октября в Петрограде.

Боже, где все это? .. [253]

Твой щит на вратах Цареграда...

Увидев впервые в жизни этот неистовый, но такой красивый беспорядок, эту галиматью с минаретами, именуемую Константинополем, я сказал своему спутнику по вагону:

— Боже мой!.. Теперь я только понял, что я давным давно страстный, убежденный... туркофил.

Я думаю, что это несколько утрированное утверждение в значительной мере применимо во всем русском, волей судьбы здесь очутившимся.

В летописях 1920 год будет отмечен, как год мирного завоевания Константинополя русскими.

Твой щит на вратах Цареграда...

Щит этот во образе бесчисленных русских вывесок, плакатов, афиш, объявлений... Эти щиты — эмблема мирного завоевания — проникли во все переулки этого чудовищного хаоса, именуемого столицей Турции, и удивительно в нему подошли.

Недаром:

Земля наша велика и обильна . . .

Тут тоже никакого порядка.. Наоборот, этот город производит впечатление узаконенного, хронического, векового беспорядка. Поэтому, вероятно, когда русские, голодные и нищие, обрушились огромной массой на эту абракадабру, вместо естественной ненависти, которую всегда во всех странах и веках вызывают такие нашествия, — вдруг на, удивление «всей Европе» к небу взмыл совершенно неожиданный возглас:

— Харош урус, харош...

Точно нашли друг друга... Русские и турки сейчас словно переживают медовый месяц... Случаев удивительно доброго, сердечного отношения, — не перечесть... Одного почтенного деятеля остановил на улице старый турок и, спросив «урус?», — дал ему лиру. Русскому офицеру сосед по трамваю представился, как турецкий офицер, предложил быть друзьями, дотащил к себе и [254] предложил ему половину комнаты за бесценок, лишь бы жить с «урусом». Третьего хозяин кофейни угощал, как дорогого гостя, и наотрез отказался взять плату. Все это часто очень наивно, но это есть... Русским уступают очереди, с русских меньше берут в магазинах и парикмахерских, выказывают всячески знаки внимания и сочувствия, и над всем этим, как песнь торжествующей любви, вместе с минаретами вьется к небу глас народа — глас божий.

— Харош урус, харош...

Чем все это объясняется?

Объяснений много. Во-первых, объяснение прозаическое: русские, несмотря на всю свою бедность, по обычаю предков, не торгуются в магазинах к не останавливаются перед тем, чтобы из последних пятидесяти пиастров десять бросить на чай.

«На последнюю пятерку...». И только русские щедры. Все остальные, несмотря на свое богатство (сказочное в сравнении с русскими), скупы, как и полагается культурной западной нации. А между тем, турки сейчас так бедны, в особенности чиновничество, которое, бог знает, сколько времени не получало жалованья, что еще неизвестно, чье положение хуже: этой бездомной русской толпы, которая залила все улицы и переулки гостеприимного города-галиматьи, или же самих хозяев, находящихся на краю голодной бездны.

Другое объяснение — «сытый голодного не разумеет». Значит — голодный разумеет голодного. Обе нации — русские и турки — почти одинаково несчастны. Обе почти лишены отечества. Обе включены, втоптаны в разряд побежденных «державами-победительницами».

Я помню, как профессор Петр Михайлович (международник) во всю мощь своего великолепного баритона возмущался на улицах одного города этим термином.

— «Державы-победительницы».. Кажется, в мировой истории не было случая, чтобы в официальных договорах или трактатах употреблялась такая терминология. Всегда все державы обозначались по имени: Англия, Франция, Италия... Да ведь мирный договор потому и называется [255] мирным, что война кончилась... И нет уже войны — нет побед... Мирным договором восстанавливаются «дипломатические отношения» со всем изысканным ритуалом международной вежливости. И вдруг — «державы-победительницы...».

— Дичь! Средневековье!..

И вот, по-видимому, на фоне общей обиды разыгрывается эта русско-турецкая любовь...

«Chaque vilain trouve sa vilaine», — скажут французы

Ладно... «Униженные и оскорбленные», — скажем мы. И если турки еще более унижены, то, ведь, мы еще более оскорблены.

Да, мы оскорблены, прежде всего, оскорблены... Эти константинопольские русские, эти дети бесконечных эвакуации, живее всего чувствуют оскорбление... Ибо это те, которые, несмотря ни на что, оставались верными Антанте... Это те, которые хранить союзный договор, заключенный государем императором, почитали своей священной обязанностью... Это те, которые, если не были уверены в помощи и благодарности, то все же были убеждены, что их будут уважать...

Вместо уважения...

Вот на Grand'rue de Réga французский «городовой» останавливает русских офицеров, проверяя документы... Тон, манеры, это наглое хватание за рукав, или, что еще хуже, похлопывание по плечу, этот покровительственно-небрежный тон, жест, когда — полуграмотный — он, наконец, найдет на документе французское рукоприкладство:

«Vue à l'arrivée» — все это заставляет стиснуть зубы...

На каком основании этот господин не обращается ко мне так, как полагается солдату обращаться к офицеру? Разве я не офицер?

Но, ведь, я выдержал все офицерские экзамены... Я потерял все — решительно на свете для родины, «кроме чести»...

«Sauf l'honneur»... так почему же меня оскорбляют, за что?

Ах, ведь, они «державы-победительницы»... [256]

Но, наконец, кого же они победили? .. Ведь, Россия была. с ними и если она не дошла до бруствера, то потому, что была тяжело ранена в бою... Почему ее зачислили в разряд побежденных? ..

Потому что...

Потому что французы и другие не доросли еще до того, чтобы щадить «больную нацию». В международных отношениях царит средневековье — век звериный.

Горе заболевшим!..

И вот два «больных человека», — Турция, давно заболевшая, и Россия, недавно тяжело занемогшая, — инстинктивно тянутся друг к другу... и к ним одинаково жестоки... жестоки презрением здоровых к больным...

Но помимо этого, есть, по-видимому, какое-то расположение рас. Русские и турки как будто бы чувствуют расовое влечение друг к другу. Явление противоположного свойства называется «haine de race». Не знаю, как перевести эту «расовую симпатию»... Вот, по-видимому, нравятся просто русские и турки друг другу. Только этим можно, в конце концов, объяснить этот доминирующий над всем возглас:

— Хорош урус, хорош...

Не думаю, чтобы массы были посвящены в тайны и интриги политики. Не думаю, чтобы здесь играли роль замыслы Кемаль-Паши...

Да и каковы эти замыслы — кто их знает... Хотят ли действительно, чтобы генерал Врангель занял Константинополь? ..

Во всяком случае, вчера торжественно и официально опровергалось известие, пушенной турецкими газетами:

«Генерал Врангель, во главе 10000 отряда и имея в тылу 30 000 отборного войска, занял Фракию. Греческие войска бегут в панике». При этом был помещен портрет генерала Врангеля.

Это характерно для того, в каком направлении работает мысль. Эти газеты как будто толкают «Выйдя из лагерей, [257] займи Фракию. — греки побегут... И путь на Константинополь свободен...».

— Хорош, урус, хорош...

Твой щит на вратах Цареграда . . .

\* \* \*

С непривычки кипятик большого города как будто бы пьянит. Все куда-то несется... Непрерывной струей бежит толпа... трудно выдержать, столько лиц... Тем более, что половина из них кажутся знакомыми, потому что они русские... Где я их видел всех, когда?.. В Петрограде, Киеве, Москве, Одессе... Одно время в 1914 году, во время мировой войны, я их видел всех в Галиции — во Львове. Когда большевики захватили власть в Петрограде и Москве, я видел их всех в Киеве, под высокой рукой гетмана Скоропадского... Потом их можно было видеть в Екатеринодаре... Позже они заливали улицы Ростова... В 1919 году они разбились между Ростовом, Киевом и Харьковом, но в начале 1920 г. столпились в Одессе и Новороссийске... Наконец, последнее их прибежище был Севастополь.

И вот теперь здесь...

Твой щит на вратах Цареграда . . .

Все куда-то несется... Люди, экипажи, неистово звенящие трамваи, воющие на все голоса ада автомобили...

Все блестит, все сверкает... уличные фонари, пьянящие голодный русский дух витрины, слепящие глаза фары-мотором.

Все кричит... все тревожит воздух нестройной смесью языков... но чаще всего слышен русский...

Или мне так только кажется...

Нет, русских действительно неистовое количество... И если зайти в посольство или, спаси боже, в консульский двор, — тут сплошная русская толпа... Все это движется, куда-то спешит, что-то делает, о чем-то хлопочет, что-то ищет...

Больше всего — «визы» во все страны света... [258]

Но, кажется, все страны «закрылись». Не хотят русских... никто не хочет, и даже великодушные, верные союзники...

И только тут, в столице народа, с которым мы воевали века, воевали и в последнюю войну, в столице, на которую мы столько раз и совершенно открыто претендовали, желая взять ее себе, только тут несется неумолчный крик;

— Харош урус, харош...

Чудесны дела твоя, господи!..

Русская церковь в посольстве...

Всякий знает, как бывает у всенощной... Так и было...

Но эти слова, такие знакомые, только теперь получили настоящую цену. Только мы, русские, рассеянные по всему свету, вытерпевшие все, можем их понять до конца.

— О испытывающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, миром, господи, помолимся...

— Господи, помилуй!..

Помилуй, помилуй, помилуй, господи!.. Что можно сказать больше...

— О плавающих...

Это Димка — младший... Он же сейчас плавает где-то под Африкой, в Бизерте. Оставленный мною в Севастополе, он нанялся матросом на миноносец... Мальчику пятнадцать лет...

— О путешествующих...

Вот уж сколько я путешествую... это, значит, было последний раз, когда я видел Россию 29 сентября... Последнее, что я от нее видел, был этот двукольный маяк... Прости,

двукольтчатый... И вот отчего всегда на нем была какая-то печальная и ироническая усмешка!.. Даже тогда, когда мы бежали из Одессы и ликующие подходили к нему... Он знал, что это неладного... А где Вовка?.. Тоже «путешествующий»... [259]

— Недугугощих...

Вот получил телеграмму, что Саша, брат Эфема, где-то валяется в каком-то госпитале или на судне в очень тяжелой болезни... А где, — найти не могу...

— Страждущих...

Сколько их, страждущих... но из всех них один, конечно, ближе... мне кажется, что он страдает больше других, хотя я знаю, что это не так... Он, как и все... Ляля... Если жив, выстрадал весь поход, все бои, все эвакуации и дострадывает в лагерях... Если жив... А если и жив, то, может быть, искалечен, изранен. Таким именно он приснился мне сегодня... На лбу, над левой бровью, страшный след... Другая пуля прошла, около лопатки... а еще одну, говорит, надо вынуть... Это знакомое, кажущееся мне таким замечательным лицо с глазами страдающей газели, какое-то стало другое, себя не находящее...

— Плененных...

Одного плененного уже нет... Несчастный Эфем погиб... Расстреляли... Это я уже здесь узнал...

И сколько их всех...

Господи, господи, помилуй!..

\* \* \*

Сегодня наступает Новый год... Для всего мира, кроме нас.

Кто это мы?.. Мы — «вранжелисты»...

Мы будем праздновать Новый год по-старому.

Мы одни в целом мире.

И все-таки правы мы, а не они...

Ибо старое вернется...

Мировая реакция неизбежна.

— Вовка?!..

Да, это был он.

Мы столкнулись на Grand'rue de Péga... [261]

— Как же вы? Как это случилось?!



— Моя история кратка... То есть, ее можно кратко рассказать, а было всего... Ну, словом, 30 сентября (по-старому) меня выбросило на румынский берег у Цареградского маяка... Два месяца я пробыл в Румынии... Румыны все никак не могли сначала определить, кто мы — большевики или «вранжелисты»... А потом, когда убедились, что вранжелисты, просто тянулись всякие формальности... Обращались на этот раз недурно, не то, что тогда... А иногда даже были очень милы. В начале декабря и попал в Болгарию... и затем вот вчера сюда... Ну, рассказывай...

— Все рассказывать, это очень долго...

— Ну, не все... самое важное...

— Самое важное... я старался выполнить все, что было мне поручено. Вначале все шло благополучно... Мы тогда пришли в ту ночь на берег, как условились..., Прождали... вас не было... Решили, что значит нельзя было выйти... мы так и поняли, что шторм... Затем, — затем стало хуже.

— Что-нибудь узнал про Эфема?

— Узнал. Ваше радио было получено... и даже после этого его сейчас же перевели из чрезвычайки в тюрьму, улучшили пищу и стали иначе обращаться... Даже как-то от него пришлю какое-то сообщение... он предупреждал, чтобы были осторожны, что они очень осведомлены... что он совсем было, приготовился к смерти и был спокоен и готов... Теперь у него появилась надежда... на что, он не знает: что хуже...

— Он погиб?... наверное?

— Да... в конце концов, расстреляли... Это я уже здесь узнал — из списков расстрелянных...

— Но отчего? Какая окончательная причина?

— Нельзя понять... Когда-нибудь, может быть, узнаем...

\* \* \*

— Я сделал все, что надо, и торговал шлюпку... в то время это и случилось. [261]

— Что «это»?..

— Вы говорили мне записывать интересное... этот эпизод я записал...

— Ну, хорошо... пойдём куда-нибудь... Они празднуют Новый год.

Нам нечего праздновать... все равно... за стаканом вина прочти мне...

## Рассказ поручика Л.

Я жил тогда... ну, словом, вы знаете у кого... проснулся с сознанием, что еще очень рано. Проснулся оттого, что кто-то открыл двери из передней и сказал за дверью:

— Это к вам?..

Я приподнял голову. В комнату быстро вошел чело-пек. Рассмотреть его нельзя было, так как шторы были спущены. Человек быстро пошел к окну.

— Кто это?..

Человек поднял штору и сказал громко:

— Из Чрезвычайной комиссии... Вставайте все... В эту же минуту в комнату вошел другой человек. Я не могу сказать, чтобы я испугался, — это было бы не совсем точно. Но я почувствовал во всем организме какое-то особое напряжение... Как будто бы все точки организма оказались связанными, туго натянутыми нитями... Это совсем похоже на то, как бывает, когда услышишь свист первой пули, и начинается бой.

Я рассмотрел этих людей. Вошедший первым был среднего роста, не брюнет и не блондин, полуеврейского, полувосточного типа. На нем было рыжеватое пальто и фуражка, военного образца без какого-нибудь значка или кокарды. Другой — высокий черный, моложе первого, видимо русский, в черном пальто и кепи.

Один из них начал опрашивать всех. А в этой квартире было много народа. Он спрашивал всех по очереди. Затем обратился ко мне. — А вы кто?..

Эти люди, жившие в этой квартире, дали мне приют почти случайно. Они не знали, кто я. Им рекомендовали [262] меня их друзья, просили приютить. Потому я ответил спокойно:

— Я студент такого-то университета, такой-то? Три дня тому назад приехал сюда... Меда приютили здесь, потому что мне некуда было деться.

— Это ваши знакомые?

— Да...

Один из чекистов стал перебирать и просматривать бумаги на письменном столе. Меня это не очень беспокоило; вряд ли он мог там что-нибудь найти. Когда я оделся, рыжий протянул мне какую-то бумажку. Штамп и печать одесской чрезвычайки. Я прочел:

«Товарищу такому-то. Предлагается произвести обыск в квартире гражданки такой-то, такой-то адрес, и арестовать ее и всех находящихся в квартире».

Затем последовал полусочувственный жест — ничего не поделаешь — и пояснение:

— Придется сидеть в квартире до вечера, ждать публику. А затем...

И красноречивая пауза.

Оба представителя власти шарили довольно продолжительное время по ящикам стола, по углам, приподнимали тюфяки, открывали корзинки и картонки. Извлекался откуда-то запыленный и заплесневевший номер «Единой Руси», о присутствии которого в квартире

никто раньше и не подозревал. Впрочем, они сами, кажется, не придали этому обстоятельству значения.

Самое скверное было то, что не было папирос.

Попросили разрешения послать купить папирос и хлеба. Сначала они не согласились, потом позволили пойти четырнадцатилетнему гимназисту Жене. С мальчиком отправился один из чекистов. Когда он вернулся, то рассказал, что чекист все время шел за ним, и когда одна из дворовых девочек с ним заговорила, отогнал ее в сторону.

Рыжий уселся на диване в столовой, черный — в передней. Они не обращали внимания на передвижение публики из комнаты в комнату.

Разрешили выходить и в коридор и в кухню.. Предупредили, что заперли и [263] парадную и черную выходную дверь на ключ и что ключи у них.

Я прошел в спальню. Там было несколько молодых женщин. В общем, они почти не проявляли испуганности. Больше всех была взволнована В. А. В глазах ее стояли слезы.

— Скажите же, ради бога, откуда это несчастье, зачем они пришли?

Решить это было довольно затруднительно. Если бы они искали меня, то они бы обращалась со мной иначе. Очевидно, я не внушал им особых подозрений. Не больше, чем все другие. Но если не я, то кто же? .. И хозяйка квартиры, и вся семья, и все, кто случайно у нее оказался, никакой политикой не занимались, жили изо дня в день, думая только о хлебе насущном. Я чувствовал, что здесь какая-то ошибка... Или, быть может, выследили, что здесь бывает кто-нибудь, за кем охотятся. Населению квартиры вряд ли грозит серьезная опасность, и если их арестуют, то, в конце концов, конечно, выпустят, если бы не я... Меня могли узнать, и тогда дело для всей семьи могло бы повернуться серьезно. В сущности, было очень важно, чтобы я отсюда смылся...

Хорошо было бы еще поговорить с представителями власти... Для этой цели была командирована в переднюю Е. А., как более подходящая разведчица.

Мы остались вдвоем с хозяйкой квартиры. Удивительно, что эта маленькая хрупкая женщина сохраняла все время великолепное самообладание.

— Вот в чем дело, — сказала она. — Мы ничем таким не занимались... очевидно, дело не в нас... Очевидно, они ловят кого-то, кто у меня бывает... Я в политику не хочу входить, но я не хотела бы, чтобы у меня в квартире кто-нибудь погиб...

Ее губы дрогнули в первый раз...

— Ах, боже мой... за себя я не боюсь... Ни капельки — даже странно...

Но вы все... Ока помолчала минутку. — А теперь уйдите, пожалуйста...

Она стала зажигать лампадку перед иконой. Быть может, хотела молиться...

В столовой я нашел альбом и углубился в стихи. Стук в парадную дверь. Чекист, дремавший на диване, вскочил и бросился в переднюю. Впустили бабу-молочницу. Сдав

молоко, забрав свои фляги в корзину, она намеревалась уйти, но чекист заявил, что не выпустит ее. Баба подняла отчаянный вой.

— Як же так... ой лишеньки мини... Ратуйте, добри люды... Диты ж мои дома зосталысь... Штос ными буде... Штож не такое за горе...

Плач и причитанья продолжались минут пятнадцать. Наконец, очевидно, нервы церберов не выдержали. Бабу выпустили со строгим предупреждением, чтобы она не смела говорить, что делается в квартире.

Инцидент с молочницей имел следующие последствия.

Минут через десять после ее ухода кто-то начал энергично стучать, а потом ломиться во входную дверь. Оба чекиста бросились со всех ног в переднюю. Открыли дверь и впустили банду — человек пять-шесть милиционеров ближайшего района. Оказалось, что домовый комиссар узнает либо от молочницы, либо от дворовых детей о том, что в квартире засели какие-то личности, которые всех задерживают, допрашивают и чего-то ищут. Он предположил, что это могут быть налетчики, и поспешил в район, откуда немедленно был командирован патруль. Охранная служба у большевиков несется отчетливо.

Милицейские с шумом ворвались в квартиру.

— Кто такие... Сдавай оружие...

— Осторожней, товарищи... легче...

— Да кто вы такие? чего разоряетесь, трам-тарарам, сдавай оружие...

— Мы — представители Чека... Ваш ордер!

— А ваш ордер, трам-тарарам... Много таких представителей...

Произошел обмен ордерами.

— Так чего же вы, товарищи, не предупредили домового комиссара? Правило, ведь, знаете... [265]

— Так какая же тогда будет засада, если его предупреждать!.. Если все будут знать, так кто же в эту квартиру пойдет? ..

— Да не все... а домовому комиссару нужно... надо, чтобы по закону...

Милиционеры ушли... Ушел и один из чекистов. Насколько можно было судить по фразам, которыми они обменялись, в ордере оказалась какая-то формальная неисправность, которую нужно было исправить. А, может-быть, он пошел за инструкциями. А, может-быть, по своим личным делам.

Прошло некоторое время. И вдруг в мозгу у меня мелькнула картинка, сохраненная зрительной памятью: когда один чекист уходил, другой его не провожал в переднюю. Значит, выходную дверь он не мог запереть на ключ, — ведь, не унес же ушедший ключ с

собой... Значит, дверь закрыта только на английский замок. Надо посмотреть, нельзя не посмотреть...

Стучат... Вот законный предлог: я пошел открывать. Тот чекист, что в столовой, задремал — стука не слышит.

Так и есть. Поворачиваю английский замок, дверь открыта. Sacramento, — в дверях уходящий чекист. Не вовремя вернулся... Не судьба...

Е. А. произвела артистическую атаку на вернувшегося чекиста и затем сообщила результаты разведки. По слогам представителей власти, причиной ареста был донос. Кем сделан донос и каково его содержание — они сами не знают... Это правдоподобно, ибо донос, вероятно, так же распространен в Совдепии, как в свое время в Венеции. Второе, что она узнала, это то, что около трех часов в квартиру должны явиться какие-то следователи, которые произведут вторичный обыск и допрос, и затем всех отправят в Чека.

У нас в квартире были дети. У этих детей, в свою очередь, было много приятелей и приятельниц из других квартир. Несколько из них пришли к нам в гости. Когда они хотели уходить, чекисты их не пустили. Тогда [267] младенцы сомкнулись гурьбой и ворвались в столовую с воем. Представители власти сначала обзлились, потом рассмеялись.

Один из них вытащил из кармана ключи сунул мальчику постарше:

— На, открой им дверь... Выпусти их... к черту...

Мальчик вышел в переднюю, сопровождаемый всей ватагой. Затем вернулся и возвратит ключ чекисту. Спустя минутку он отозвал меня в сторону:

— Вы можете уйти... Дверь не заперта.

Спасибо, мой маленький герой. Но я не уйду. Если бы я ушел, было бы слишком ясно, кто мне помог. И бог знает, какую плату получил бы ты за свой героизм от палачей чрезвычайки.

Но было больше двух часов. Обещанные следователи могли явиться каждую минуту.

Надо было действовать до их прихода. Я чувствовал, что мне надо во что бы то ни стало уйти, потому что я был, так сказать, единственный, кто мог потопить остальных, если бы меня узнали. Если мне удастся уйти, их хотя и арестуют, по выпустят, — против них ничего нет. Они ничего не знают, ни во что не замешаны.

Но как уйти?... Я подошел к окну. И вдруг у меня мелькнула мысль: «А нельзя ли из этого или другого окна по карнизу перебраться в какую-нибудь соседнюю квартиру?».

Я спросил хозяйку дома, маленькую хрупкую женщину...

— Может-быть, вам удастся... Ближе всего из кухни. В соседней квартире как раз никогда никого нет в это время. Дверь на английском замке...

Я колебался...

— Скажите мне совершенно откровенно: лучше для других, чтобы я ушел?..

— Если вы чувствуете что-нибудь за собой, — уходите... Нам будет лучше...

Она посмотрела мне в глаза:

Знал ли я что-нибудь за собой... Я знал слишком достаточно... И я решил бежать... [267]

Сделали так. Прошли все поодиночке через столовую, где полудремали на диване оба чекиста. Простились... Затем я прошел через столовую обратно и вышел в коридор. В момент моего драпа все должны были находиться в комнатах для получения алиби.

Я высунулся в окно и осмотрел карниз. Раньше я как-то не подумал о том, что карнизы бывают разные, — не по каждому пролезешь... Это был не особенно удобный карниз, в особенности для четвертого этажа. Узенький — ладони полторы шириной, и покатый. Попробовал стать на него ногой, держусь за раму окна. Куда там... на нем немислимо удержаться ни одной секунды. А стена совершенно гладкая, без всяких выступов, держаться не за что.

Но вот что, — внизу на уровне пола комнаты есть другой карниз. Такой же узенький и такой же покатый, правда, став на него, можно держаться за загиб того карниза, что идет на уровне подоконника. Попробовал. Да, можно удержаться, но только несколько секунд — всю тяжесть тела приходится держать на кончиках пальцев, ибо загиб карниза не более сантиметра. Острое железо режет руку... Вот в чем дело — надо упереться в нижний карниз коленями... Теперь верхний карниз приходится на уровне плеч... Так гораздо легче... Достигнуто правильное распределение тяжести тела между коленями и кончиками пальцев. Больно коленям, больно пальцам, но держаться можно. Теперь в путь...

До спасительного окна — сажени две с половиной-три...

Техника движения такая. Хватаюсь сначала правой, потом левой рукой возможно дальше вправо, а затем таким же образом передвигаю колени. В голове ничего — все ушло в мускульное напряжение. Так прополз почти половину дороги. Но что это? Дальше верхний карниз оборван — перерыв аршина два. Как я раньше не заметит этого, не рассмотрел, — не понимаю... Но не возвращаться же назад. Цепляюсь изо всей силы самыми кончиками пальцев за угол верхнего карниза и передвигаюсь коленями, сколько возможно, вправо. Теперь самый рискованный момент. Нужно выпустить карниз из рук, сильно податься корпусом вправо, схватиться за кончик карниза там, где он снова [268] начинается... Это напомнило мне поразившую меня в детстве фотографию в «Ниве». Велосипедист висит в воздухе на большой высоте вверх ногами, — это мертвая петля с прерванной наверху лентой.

Но это была лишь одна из тысячи мыслей, мелькнувших у меня в голове в это мгновение; я теперь понимаю, что значит, когда говорят, что в момент гибели разворачивается в одну секунду и проходит пред глазами вся жизнь.

Я удержался с трудом. Одно колено сорвалось с карниза, но в ту же секунду я «восстановил положение»... Теперь я уже был почти уверен, что доползу. До спасительного окна оставалось аршина полтора. Но вдруг я почувствовал, что самый железный карниз, за который я держусь, начинает оползать с выступа стены... Оказалось, что два последних гвоздя, которыми он прикреплен к выступу стены, — отсутствуют. Что

делать? Если бы на стене была хоть какая-нибудь точка опоры и я мог бы сделать еще шаг, чтобы схватиться за раму окна... Но ни опереться, ни схватиться решительно не за что... Я продвинулся еще немножко по карнизу... Железная полоска гнется и ходит у меня в руках. До окна только аршин. Но даже расстояние в сантиметр человек перелететь не может. Возвратиться обратно — невысказано. Мускулы рук и ног страшно устали, и я знаю, что место, где карниз оборван, мне уже никак не преодолеть второй раз. Оставалось одно.

Я повернул голову к окну и тихо оказал:

— Дайте руку.

Молчание. Я повторил громче.

— Дайте руку.

В окне показалась голова... ребенка. И он протянул мне руку и, напрягши все силенки, помог мне.

Я не знаю, кто был этот мальчик, и увижу ли я его когда-нибудь... Я ушел как можно скорей. Спустился по лестнице черного хода, вышел во двор, У ворот охраны не было. Я был свободен... [269]

А теперь все без подробностей... Я был свободен, но столько арестовали... Оказывается, большевики будто бы раскрыли какую-то обширную русско-польскую организацию и хватали направо и налево... Я ничего не мог сделать больше, кроме того, чтобы затруднить других укрывательством своей особы. И поэтому я решил бежать еще раз морем... Удалось... Вы можете себе представить мое состояние, когда я узнал, что вы ушли с Тендры искать меня... и погибли... Там все были уверены в вашей гибели... По обыкновению, существовало много версий на этот счет. В самом отвратительном состоянии я прибыл в Севастополь двадцать шестого октября... А через четыре дня, как вы знаете, произошла всеобщая эвакуация... Я поспел как раз вовремя.

## **Взгляд и нечто**

Комната в посольстве... Роскошный ковер на всю комнату. Красивый стол, мрамор с золотом... камин. У камина нас двое. Один бегаёт по комнате, я лежу в кресле. Он говорит:

— Да... и с этой точки зрения... поймите меня... я хочу, чтобы вы меня поняли... что?

— Ничего... я вас слушаю...

— Мне показалось, что вы не согласны... Моя мысль до вас не доходит... То, что вы говорите, неважно... неинтересно... А меж тем именно вы были правы...

— Когда?

— Тогда... когда вы приехали от большевиков... в июле, в Севастополь...

— Что я говорил?..

— Вы говорили... это очень трудно формулировать... вы указали... вы рассказали... что под этой... корой... этой оболочкой советской власти... совершается процесс... процессы стихийные... огромной важности... ничего не имеющие общего... с ней... с корой... с властью... с большевизмом. Процессы, которые у нас не поняли... к которым мы даже... не присматривались... [270]

— Конкретнее!

— Конкретнее?... конкретнее — я теперь знаю... Для меня не может быть сомнений... У меня есть свидетельские показания... которым я не могу не верить... Я знаю, что война с Польшей вызвала движение, национальное движение... подъем...

— Подъем — это слишком сильно сказано. Раскол в душе многих — да... Брусиловское воззвание произвело некоторое впечатление. Оно было написано старым языком и в силу этого действовало на нервы... «За Русскую Землю» — это было уже так много.

— Нет... в Москве было больше... Был подъем... во всяком случае, было изменение психологии... Было... быть может, первое признание совпадения путей... и мы... мы этого... недооценили... что? .. вы согласны со мной? ..

— Да... пожалуй... Но разве вы не замечали, что давно уже — давно уже ваши идеи перескочила через фронт.

Против воли моей..

Против воли твоей...

Знаете этот романс или стих, ну что-то в этом роде? Он сказал ей: «Не надо, не нужно, не должно...». Мы поставим препятствия и сделаем все, чтобы этого не было. Но если «против воли моей, против воли твоей» это будет, значит, «так в высшем решено совете...». Я говорю вздор, но все-таки это имеет отношение к делу... «Против воли моей, против воли твоей» наши идеи перескочили через фронт... И это так было. Прежде всего, мы научили их, какая должна быть армия. Когда ничтожная горсточка Корнилова, Алексеева и Деникина била их орды, — била. потому, что она была организована на правильных началах — без «комитетов», без «сознательной дисциплины», то есть организована «по-белому», — они поняли...

Они поняли, что армия должна быть армией... И они восстановили армию... Это первое... Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерется «во имя Интернационала», — но это вздор. Им только так кажется. На самом деле, они [271] восстановили русскую армию... И это наша заслуга... Мы сыграли роль шведов... Ленин мог бы пить «здоровье учителей», эти учителя — мы... И это первая наша великая заслуга... Злые силы, разрушившие русскую армию в 1917 г., мы заставили со всей энергией, на которую они способны (а, ведь они самая волевая накипь нации), мы заставили работать по нашим предначертаниям на воссоздание нашей русской армии... Мы учили их не рассказом, а «показом»... Мы били их до тех пор, пока они не выучились драться... И к концу вообще всего революционного процесса, Россия, потерявшая в 1917 г. свою старую армию, будет иметь новую, столь же могущественную... Дальше... Наш главный, наш действенный лозунг — Единая Россия... Когда ушел Деникин, мы его не то, чтобы потеряли, но куда-то на время спрятали... мы свернули знамя... А кто поднял его, кто развернул знамя? Как это ни дико, но это так... Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не говорят... Конечно, Ленин и Троцкий продолжают трубить Интернационал. И будто бы «коммунистическая» армия сражалась



за насаждение «советских республик». Но это только так сверху... На, самом деле их армия была поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области. И даже если этого настроения не было... Все равно... все равно...

— Я с вами совершенно согласен... это ясно... фактически Интернационал оказался орудием... расширения территории... для власти, сидящей в Москве... До границ... до границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких. Это и будут естественные границы будущей... Российской державы.

— Ну, конечно... Социализм смывается, но границы останутся... Будут ли границы 1914 года или несколько иные, — это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши. Сила событий сильнее самой сильной воли... Ленин предполагает, а объективные [272] условия, созданные богом, как территория и душевный уклад народа, «располагают»... И теперь очевидно стало, что, то сидит в Москве, безразлично, кто это, будет ли это Ульянов или Романов (простите что гнусное сопоставление), принужден, «мусит», как говорят хохлы, делать дело Иоанна Калиты. «Мусит» собирать воедино русские земли. «Против воли моей, против воли твоей...». И это два... А третье, что они у нас взяли, — это принцип единоличной власти. Они твердили о диктатуре пролетариата на Большом Московском Совещании в августе 1917 года. А мы говорили: «Вздор... Управление выборным коллективом в условиях войны и революции — «вздор...». И вышло по-нашему... Обе половинки России — Северная и Южная — отвергли коллектив, и перешли — Южная — к единоличной диктатуре генералов... а Северная — к «двуличной» диктатуре двух дворян: одного симбирского, а другого иерусалимского... Чтобы не надоедать вам, я кончаю...

Резюме. «Против воли моей, против воли твоей» — большевики:

- 1) восстанавливают военное могущество России;
- 2) восстанавливают границы Российской державы до ее естественных пределов;
- 3) готовят пришествие самодержца всероссийского.

— Разве вы не конституционный монархист? ..

— Если хотите, — да... Десять лет Государственной Думы — меня испортили... Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы была конституционная монархия. Но надо различать... желание от возможного... Мне кажется, что желанное невозможно... После всего, что произошло, конституционная монархия вряд ли мыслима... По крайней мере, в течение ряда лет, и, главным образом, вследствие причин экономических... Чтобы выйти из положения, придется каждые полчаса подписывать героические решения... А, ведь вы знаете, что русский парламент героических... ответственных... безумно смелых... решений принимать не может... Вы знаете... Где соберутся три немца, — там они поют квартет... Но где соберутся четыре русских, там они основывают пять политических [273] партий... Поэтому и в русской действительности героические решения может принимать только один человек...

— Это будет Ленин?... или Троцкий?...

— Нет... ибо он не будет ни психопатом, ни мошенником, ни социалистом... На этих господах висят несбрасываемые гири... их багаж, их вериги... — социализм... они не могут отказаться от социализма... они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть Они должны нести этот мешок на спине до конца... и он их раздавит... Тогда придет Некто, кто возьмет от них их «декретность»... Их решимость — принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость — проведения однажды решенною. Это нужно — значит это возможно» — девиз Троцкого... Но он не возьмет от них их мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря... И «человеческие глаза». И лоб мыслителя... Комбинация трудная — я знаю... Я помню, Маклаков часто рассказывал про Ключевского, как он говорил:

«Конечно, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления... если бы... если бы не случайности рождения...». Да, это так... и все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, — это только страшные, трудные,, ужасно мучительные...

— Что? ..

— Роды...

— Роды?!

— Да, роды... Роды самодержца... Легко ли родить истинного самодержца и еще всероссийского!..

## Новогодняя ночь

Я уснул у трубы. У трубы тепло, неудобно немножко, но, ведь, там всюду — не у трубы — так холодно. Ведь, сегодня 31 декабря. Ночь на палубе не так приятна в это время года... даже на Босфоре... [274]

Мы давно уж тут стоим, на якоре, в сплошном тумане. От времени до времени мы запускаем сирену и звоним во все склянки. Туман иногда проясняется... иногда нет. Крутом нас, невидимые и потому таинственные, воют и звонят другие суда.

Я давно уж тут сижу у трубы. То засыпаю, то снова просыпаюсь для того только, чтобы убедиться, что туман стал еще непроницаемей. Через него с трудом пробираются огни, образуя расплывчатые пятна.

\* \* \*

В полудремоте вспоминается эта, последняя неделя... мало радости она принесла мне...

\* \* \*

Вот я еду в Галлиполи. За бортом «Soglassie» мягко-мягко слышна струя... лежу, зарывшись в прессованное сено... Мерзну, но не до отчаяния. Надо мною небо, то звездное, то туманное... когда туман и ночь становится серо-мутной, делается как-то смутно на душе — плохое предчувствие...

Еду в Галлиполи. Буду искать там сына — Лялю.

Найду ли? Неужели: может быть так, что я никогда больше не увижу... не услышу, как он вдруг... Это называлось *plus quam perfectum*... Неужели я видел его в последний раз тогда, 1 августа, в Севастополе, когда он уходил своей характерной, развинченной походкой, тянущей ноги? ..

Неужели конец? ..

\* \* \*

Приехал... Долго возились... Наконец, на каком-то парусном баркасе пошли на берег.

Разбитый город... Грязь... Среди грязи толчется и топчется толпа рыжих английских шинелей, от одного вида которых щемит. Это наша армия...

Пробиваюсь сквозь нее. Одни бездельничают, другие таскают дрова. Сквозь толпу движется рота сингалезцев: губы — «полфунта», странные волосы, которые выются «отвратно»... Черны соответственно. [275]

Странно, вздеть их, этих черных, среди русской массы. Но чувствую ясно, кто здесь возьмет психический верх. Не устоят — черные. Огромный сингалез, на голову выше остальных, командует по-своему, со зверским выражением. Происходит смена караула. Исполняют, как следует. Видно, сильно боятся этого огромного, высокого.

Русская масса смотрит на них без злобы. Раздражение, которое чувствуется, направлено против кого-то другого.

По грязи добираться к русскому коменданту. Охраняют юнкера. На них, как всегда, приятно взглянуть. И здесь они твердая опора, как были во всю революцию.

Удивительно, почему та же самая русская молодежь, попадая в университеты, превращала, их в революционные кабаки, а, воспитанная в военных училищах, дала высшие образцы дисциплины и патриотизма...

Узнаю у коменданта дорогу в лагерь через горы.

\* \* \*

Иду по шоссе, потом по тропинке... Путь указывают люди в английских шинелях, месящие глину тропинки. Их много, они непрерывно идут туда и обратно. Иногда несут ветки можжевельника, очевидно, вместо елочек... Ведь сегодня сочельник...

Горы, пустые, глинистые. Грязно... Серо... Скучно... Тоскливо...

Шел несколько верст, шесть или семь... Наконец, — там, в долине... Белые домики с белыми крышами... Нет, это не домики — это такие палатки.

— Где они? ..

— Вот... тут, направо, корниловцы... налево — марковцы... там дальше — дроздовцы и алексеевцы...

\* \* \*

Вот, значит... Сейчас решится — господи, помоги.

\* \* \*

— Нет, в списке наличных такого нет...

И готов я был к этой минуте... Давно с ним простился мысленно... И все же... [276]

Но надежда еще теплится... надо расспрашивать, — может-быть, где-нибудь в госпитале.

Но как стало тяжело... пришибло... Думалось: «А вдруг здесь... вдруг сейчас увижу...».

— В числе наличных нет...

\* \* \*

Узнал все про сына... нашел офицера, который был его начальником.

Он рассказал мне всю сцену. Все, как было. Могло быть и то и другое. И жизнь и смерть..

Надежда есть. Если господь захотел, — он жив...

\* \* \*

Отыскиваю генерала Е. Это еще за четыре версты в горах. Маленький домик... каменная хижина... Есть же сердечные, славные люди... Приняли, как родного...

Сочельник... Елочка — можжевельник. Горят свечки... Маленькая комната. Но уютно. Железная крошечная печка. Белым полотном убраны стены. Не то землянка, не то палатка. Со мной так ласковы. Стараются смягчить, чем можно, удар.

\* \* \*

Я провел там неделю, в Галлиполийском лагере... Меня очень спрашивали:

— Что же будет теперь?

Они старались, чем могли, скрасить свое существование. Издавали журнал рукописный на машинке, в одном или двух экземплярах. Текст сопровождался иллюстрациями карандашом и красками. Инициаторами этого дела были полковник Х. и ротмистр Ч.

Я ответил на то, что от меня хотели, статьей... Эта статья появилась в этом своеобразном журнале, который носил название: «Развей горе в голом поле...». [277]

Еду обратно в Константинополь. Лежу где-то в трюме на грязных канатах. По-французски — *parfait*, по-русски — «наплевать»...

Откровенно говоря, я очень доволен, что, наконец, один. «Самое большое лишение каторги, — говорит Достоевский, — это отсутствие одиночества». Я так устал... И вот теперь наслаждаюсь... валяюсь на канатах.

Я зашел к французскому офицеру в каюту, чтобы показать ему свой документ, дававший мне право ехать в Константинополь на этом русском судне.

Он встретил меня фразой и жестом.

— Vous, vous restez sur le pont!

Я протянул ему бумагу и сказал:

— Votre autorisation pour embarquer... Affaires de service...

Он посмотрел бумагу и сказал:

— Parfait...

Я повернулся и ушел, pour rester sur le pont... Но тут пришел русский матрос и сказал:

— Которые желающие отдыхать — в первый номер...

Вот это и есть «первый номер» — в трюме на канатах.

— Parfait... По-русски — «наплевать»...

\* \* \*

Всю ночь наслаждался в трюме на канатах. Когда очень замерзал, вставал и ходил, потом опять ложился. Одежда, конечно, у меня нет, как и у всех нас, — и, вообще, никаких вещей. Хорошо не иметь вещей. Но когда очень холодно, хорошо бы иметь одеяло.

Зато я использовал всю роскошь одиночества. Я по-прежнему был один.

Мне спустили фонарь. На что мне фонарь? .. Крысы его не боятся. Зато хорошо думается в таком трюме ночью. Бегаешь, чтобы согреться, от времени до времени смотришь вверх в отверстие — де побледнели ли звезды к рассвету... Нет. Горят, яркие и холодные. Еще долго... [278]

И мысли бегут... Какие? Все те же... Молишь бога, чтобы он был милостив к тем, кто еще жив, и тоскуешь по тем, кого уже нет...

\* \* \*

Настало утро. Утро 31 декабря. Я вылез из своей норы. Холодно, сыро, туманно... Еще противнее. Теперь неприятно быть одному.

\* \* \*

В сплошном тумане, неистово запуская сирены и звонки во все склянки, пришли куда-то, стали на якорь. Кругом нас выли и звонили другие суда. Все это не предвещало ничего хорошего.

В одном из перерывов тумана стало ясно, что мы в Босфоре. Подошел карантинный катер. Он немедленно взял всех французов и ушел. Русских — нет... Они должны ожидать «контроля».

Я не ел уже сутки. Appetit начал ощущаться. На борту — ничего и ничего не подвозят. Холодно и голодно...

Подошел еще катер. Поговорил о чем-то с капитаном. Капитан — русский — бегло говорит по-французски, но стремится говорить совсем, как француз. Это удается ему только наполовину и потому противно.

Они кричат друг другу через борт:

— D'ou venez vous?

— De Gallipoli.

— Qu'avez vous sur bord? Bagage?

— Caisses démolies . . . Par ordre Marine Francaise... Он тянул «caise», чтобы выходило совсем по-французски. Но не выходило я было немножко неловко.

— Passagers?

— Vingt trois personnes... militaires... Он тянул «taires».

И этим все ограничилось. Катер отошел, заявив, что нужно ждать «контроля».

Затем пришел еще третий катер. Вышло два француза.

— Bagage?

— Caisses démolies... [279]

Они пошли смотреть разбитые ящики, а потом вернулись на палубу, собираясь уезжать. К ним пристали. Они заявили, что нужно ждать «controle».

Но все же взяли с собой генерала, потому что он генерал, и одного полковника, который имел находчивость сказать, что у него:

— Lettre urgente pour le général Vrangel.

— Et bien, alors, qu'il vienne, le colonel, mais lui seul...

Полковник пошел за вещами.

— Mais... qu'il se débrouille, le colonel, quoi! Тон был соответственный. Но ведь они — державы-победительницы...

\* \* \*

Отошел и этот катер. Но вокруг парохода стали снова каюки, турецкие ялики. Их зовут «кардаш».

На «кардаш», опустившись по канатам, убежало тайком несколько человек. Мне было противно спускаться по веревке, потому что она в масле и угле. Оно и к лучшему. Все-таки неловко.

«Dura lex, sed lex».

Впрочем, в данном случае «dura» надо было бы понимать не в латинском, а в русском произношении этого слова. Кому нужно было, чтобы мы непременно встретили Новый год в такой обстановке?

Туман сгущался. Становилось все холоднее и голоднее. Надежды совсем упали. Ясно стало, что контроль не приедет сегодня.

Я уселся у трубы: там теплее. Около меня сидел кикой-то простой человек. Он вдруг обратился к нам, то есть ко мне и еще трем голодающим у трубы:

— Вы господа, тоже, наверное, ничего не кушали?

— Да, как будто...

— Ну, так будем есть... Вот у меня банка, консервная... Только без хлеба... [280]

Я не отказался и с аппетитом проглотил то микроскопическое, что он мот уделить. Все-таки стало легче и от консервов, и от того, что он поделился последним...

Стемнело. Я крепче прижался к трубе. Туман падал холодной росой...

\* \* \*

И мысли снова бегут... Мне вспоминалось...

\* \* \*

Долина. Вдоль речки-ручья выстроились белые домики. Я знаю, что это палатки. Но издали они кажутся домиками. Они стоят аккуратненькими кварталами и кажутся городам. Вот по ту сторону реки — корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы... По эту — кавалерия...

Все это появилось здесь, среди совершенно пустынных гор, словно по волшебству... Этот сказочно-игрушечный город — это есть итог... Итог трехлетних страданий, борьбы, пламенной Веры, неугасимой Надежды, неисчерпаемой Любви...

Любви к России...

\* \* \*

Что же это — много или мало? Рыдать ли, или благословлять и благодарно молиться? Смерть ли Старого или рождение Нового — этот белый городок?

\* \* \*

И то и другое...

\* \* \*

Здесь умирает наш Старый Грех... Здесь нет места ни Серым, ни Грязным... Их мало пришло сюда... Они остались где-то... А те, что еще есть, — уйдут...

Здесь умирает наш старый грех: Серость и Грязь...

Здесь рождается Новое.

Здесь рождается Белый Городок, где в белых домиках будут только настоящие белые — белоснежные...

\* \* \* [281]

Много ли это или мало? Что же, это «большой итог»? ..

\* \* \*

Большой...

\* \* \*

Эта горсть в течение трех лет смогла бороться одновременно на три фронта. Красные засыпали ее снарядами... Серые своим тупым равнодушием создавали вокруг нее вязкую гущу, сковывающую движения... Грязные грязью залепливали глаза, уши, рот... И все же эта горсточка белых не дала себя сломить, не дала задушить себя, не позволила себя загрязнить...

Вот они здесь...

Их мало, но они белые...

Они белые, как и прежде... Они белее прежнего.

И это — много...

Этот итог не только большой, это итог величавый.

\* \* \*

Это горсточка белых, эта. новая столица. на берегах безымянной речки, этот белый город — он уже или победил, или победит...

\* \* \*

Он уже победил в том случае, если России суждено возродиться... через Безумие Красных...



Скажут, что это вздор. Нет, это не вздор — это так

Вы никогда, не замечали, что сыпной тиф и Белая Мысль свободно и невозбранно переходят через фронт.

Странно, как вы этого не заметили. Вы говорите: «сыпной тиф — да, но наши идеи — ничего, подобного». [282]

А я вам говорю, что наши идеи перескочили к Красным раньше, чем их эпидемия к нам. Разве вы не помните, какова была Красная армия, когда, три года тому назад ген. Алексеев положил начало нашей?

Комитеты, митинги, сознательная дисциплина — всякий вздор А теперь, когда мы уходили из Крыма? Вы хорошо знаете, что теперь это была армия, построенная так же, как армии всего мира... как наша...

Кто же их научил? Мы выучили их, — Мы, Белые. Мы били их до тех пор, пока выбили всю военно-революционную дурь из их голов. Наши идеи, перебежав через фронт, покорили их сознание.

Белая Мысль победила, и, победив, создала Красную Армию...

Невероятно, но факт...

\* \* \*

Но отчего, скажут, мы все-таки в Галлиполи, а не в Москве?

Почему мы не воспользовались тем временем, когда Красные в военном отношении еще не мыслили «по-белому» и потому были, бессильны?

Потому что нас одолели Серые и Грязные... Первые — прятались и бездельничали, вторые — крали, грабили и убивали не во имя тяжкого долга, а собственно ради садистского, извращенного грязно-кровавого удовольствия...

\* \* \*

Но ведь Красная армия под своим красным знаменем работает ради «Интернационала», т. е. работает для распространения по всему миру Красного Безумия?

\* \* \*

Это или так или не так...

\* \* \*

Допустим первое. Допустим, что это так. В таком случае, мы еще с ними скрестим оружие. Белая Армия (наша [283] русская) в союзе с другими белыми армиями будет вести бой, чтобы сломить, чтобы уничтожить Красное Безумие...

\* \* \*

Допустим и второе... Допустим, что это не так... Допустим, что им, Красным, только кажется, что они сражаются во славу «Интернационала»... На самом же деле, хотя и бессознательно, они льют кровь только для того, чтобы восстановить «Богохранимую Державу Российскую»... Они своими красными армиями (сделанными по-«белому») движутся во все стороны только до тех пор, пока не дойдут до твердых пределов, где начинается крепкое сопротивление других государственных организмов... Это и будут естественные границы Будущей России... Интернационал «смоется», а границы останутся...

\* \* \*

Если так, то что это такое? ..

Это то же самое... Если это так, то это значит, что Белая Мысль, прокравшись через фронт, покорила их подсознание... Мы заставили их красными руками делать Белое дело...

Мы победили...

Белая Мысль победила...

\* \* \*

Но, боже мой. Ведь они уничтожили, разорили страну... Люди гибнут миллионами, потому что они продолжают свои проклятые, бесовские опыты социалистические. Сатанинскую Вивисекцию над несчастным русским телом...

Это что же значит?

\* \* \*

Это значит, что на этом направлении Белая Мысль еще не победила.

Еще не пришло время... И люди гибнут, и Всеобщая, ЯВНАЯ, Равная, Прямая Нищета носятся над [284] Свято-Грешной Русской землей, заметая свой след проклятиями и слезами.

Чтобы сократить страдания своих братьев. Белая Армия три года без счета лила свою кровь. Она думала, она надеялась, что Белое Оружие работает скорее и вернее, чем Белая Мысль.

И если будет на то господня воля, мы еще раз бросимся в бой...

На помощь погибающим...

\* \* \*

Во всяком случае, Белый Городок — новая русская столица над безыменной речкой среди пустынных гор — может встретить Новый год с ясной душой...

Если Белые еще не победили, их рано или поздно поведут в бой...

А если их не поведут, то, значит, они уже победили...

Значит, в стане Красных уже настолько окрепла Белая Мысль, что восстановление России придет через Красное бессмыслие...

\* \* \*

Белая Мысль победит во всяком случае...

\* \* \*

Так было — так будет...

\* \* \*

Я заснул... Мне привиделся благовест... от этого я проснулся.

Что это такое?

\* \* \*

Ах, это сирены... Туман еще сгустился... чуть-чуть только пробиваются ближайšie огни, и то бледными пятнами. .. Поэтому сирены и звучат на всех судах Босфора.

\* \* \*

Звучат не отдельными погудками, а непрерывными упрямыми алармистскими набатными голосами, звучит [285] одна перед другой, как будто состязаясь на долготу и призывность, звучат каждая своим голосом, но все вместе, выпевая одно слово, слово, которое делается страшным, и это слово:

— Туман... туман... туман...

\* \* \*

Звучат; протяжные, глубоко-ревуче-певучие, как будто бы какие-то исполинские существа голосят со страху...

— Туман... туман... туман....

\* \* \*

Звучат разные, — то двойными голосами в стройном созвучии, то в случайно сцепившихся странных соединениях, то в нестерпимо неверных сопряжениях, от которых рождаются тяжко-мучительные перебойные биения... И слышится в них иногда благовест, чаще — набат, но более всего страшное, тоскливо-ужасное, долго-внезапно-отчаянное:

— Туман... туман... туман...

\* \* \*

Вдруг выстрел... Один, другой, третий... Что это.. Здесь, там, справа, слева, со всех сторон. Что это? .. Все затихло... Вот опять разгорелось... охватывает кругом... Что это? .. Треск винтовок становится сплошным и заслушает долгий стон сирен.

Что это?

\* \* \*

Это мы, русские, замороженные сплошным туманом, среди набатного рева в смертельном страхе тоскующих чудовищ, в тяжких мучительных судорогах перебойно-бьющих биений, — празднуем свой русский Новый год...

\* \* \*

Празднуем... Ну и слава богу... если есть силы праздновать...

\* \* \*

Привет тебе, тысяча девятьсот двадцать первый...

*В. Шульгин. 1920 год. Очерки.*

**Издание:** Шульгин В.В. 1920. Очерки — М.: Гиз, 1922.

**Иллюстрации:** нет

**Источник:** LDN — частное собрание книг (ldn-knigi.narod.ru)

**OCR и правка:** Дотан Нина и Леон (ldnleon@yandex.ru)

**Дополнительная обработка:** [Hoaxer](#) (hoaxer@mail.ru)

— М.: Государственное Издательство. Московское отделение. 1922 /// Шульгин В.В. 1920. — София, 1922. /// Шульгин В. 1920 // Русская мысль, 1921:3-4.

**Hoaxer:** Впервые очерки Шульгина опубликованы в 1921 году в журнале «Русская мысль», издаваемом в Софии Петром Струве. На следующий год там же, в Софии, вышла книга, и в 22-м же «1920» напечатаны в московском отделении Госиздата (*В. Шульгин. «1920 год». Очерки.* Государственное Издательство. Московское отделение. 1922). Воспоминания Шульгина (хотя сложно отнести их к мемуарной литературе — автор практически сразу записал свои впечатления, это скорее дневники по сути, только не датированные, тем не менее, всё же это воспоминания) мало того, что написаны хорошо, но и объективны. Шульгин, человек далеко не левых убеждений, не оправдывает белых только за то, что они не красные, и честно пишет, что видел, за что в эмиграции был многими нелюбим. А мы его любим за правду и силу письма.

*Все тексты, находящиеся на сайте, предназначены для бесплатного прочтения всеми, кто того пожелает. Используйте в учёбе и в работе, цитируйте, заучивайте... в общем, наслаждайтесь.* militera.lib.ru/cd

